

EVE

KOSOFKY SEDGWICK



Идея-Пресс
Москва 2002

Данное издание выпущено в рамках программы Центрально-Европейского Университета
“Поддержка публикаций по гейско-лесбийской проблематике”
при поддержке Центра по развитию издательской деятельности (OSI—Budapest)

This edition was published within the project for support of publications
on lesbian & gay issues supported by the Open Society Institute
with the contribution of the Center for Publishing Development
of the Open Society Institute — Budapest

Сэдживик, Ив Кософски

С97 ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ЧУЛАНА. Перевод с англ. О. Липовской,
З. Баблюяна. — М.: Идея-Пресс, 2002. — 272 с.

“Эпистемология чулана” (1990) — наиболее известная и влиятельная работа одной из крупнейших американских исследовательниц-феминисток, во многом способствовавшая укреплению авторитета гей-теории и преодолению тупика идеологической и политической псевдо-нейтральности в обширной области гуманитарных наук.

Книга содержит в себе как “теоретическое введение”, знаменитую “Аксиоматику”, где дается основополагающее понятие о переплетении двух различных, но взаимосвязанных восприятий гомо- и гетеросексуальности, что пронизывает и во многом определяет всю современную культуру, так и “методологическую часть”, где осуществлен виртуозный литературоведческий и культурологический анализ тех текстов выдающихся авторов конца XIX—начала XX вв., а именно Уайльда, Ницше, Мелвилла, Пруста и Генри Джеймса, что означили переход к современности, а также дан образец “контрастного” исследования культурных процессов, происходящих в наши дни, на фоне “Эсфири” Расина. Издание адресовано всем, кто интересуется современной феминистской и гей-теорией, а также литературоведческой и культурологической критикой в целом.

ББК 87.3

Copyright © 1990 The Regents of the University of California Press
Published by arrangement with the University of California Press

ISBN 5-7333-0042-6 © Перевод с англ. О. Липовской, (введ., гл. 1, 4), 2002
© Перевод с англ. З. Баблюяна, (с. Чулан, гл. 2, 3, 5), 2002
© Художественное оформление А.П. Пятикоп, 2002
© Идея-Пресс, 2002

Содержание

Эпистемология Чулана: <i>предисловие к русскому изданию</i>	7
Введение: Аксиоматика	9
Чулан (из “Оксфордского словаря английского языка”)	73
Эпистемология Чулана	75
Некоторые бинаризмы (I).	100
Билли Бадд: После гомосексуального	
Некоторые бинаризмы (II)	143
Уайльд, Ницше и сентиментальные отношения мужского тела	
Зверь в Чулане.	199
Джеймс и литература гомосексуальной паники	
Пруст, или Чулан как спектакль	230

Переводчики искренне благодарят автора за помощь в работе над русским изданием книги.

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ЧУЛАНА: предисловие к русскому изданию

Я полна благодарности к переводчикам, работавшим над тем, чтобы сделать эту книгу доступной русским читателям. Ее аргументация столь плотно встроена в контекст конкретного момента (конец 1980-х) в социальной, культурной, юридической и медицинской истории США, что задача их оказалась особенно сложной. Ведь даже для американцев — и даже для американцев-геев — зачастую довольно сложно целиком и полностью воссоздать в памяти ту мучительную смесь надежды и ужаса, исключенности и центральности, в которую был погружен в то время каждый аспект гомосексуальности. Начнем, разумеется, с того, что в годы, последовавшие за мятежами Стоунолла в 1969 г., лесбиянки и геи неуклонно становились все более видимыми и слышимыми; и вместе с этим новым и обнадеживающим выходом на сцену возникал болезненно острый общественный дискурс гомофобии. И особенно сильное давление на обе тенденции оказывала та особая форма, в которой СПИД развивался в США, где он был столь тесно связан с гей-сообществами, что доктора сначала называли его ГИД: геевский иммунодефицит [GRID: gay-related immune deficiency].

Однако я хочу сказать, что даже в то время, когда связанные с гомосексуальностью вопросы не слишком, на первый взгляд, занимают общественность, важно достаточно внимательно исследовать то, каким именно образом эти напряженные вопросы остаются в культурно латентном состоянии. Ведь дефиниционные напряженности и тупики в «Эпистемологии чулана» остаются неразрешенными, и у них сохраняется взрывной потенциал на уровне как субъективности, так и социальной структуры. Я надеюсь, что появление этой книги на русском языке будет способствовать новой преобразовательной антигомофобной работе в контексте и в ситуации, столь отличных от тех, в которых она была задумана.

Ив Сэджвик Кософски
12.09.2002

В «Эпистемологии чулана» предлагается та идея, что многие из главных узловых позиций мышления и знания в западной культуре двадцатого века выстраиваются — а в сущности, раздираемы — хроническим, теперь уже эндемическим кризисом в дефинициях гомо/гетеросексуальности, мужской по определению, начавшимся в конце девятнадцатого века. В книге доказывается, что понимание практически любого аспекта современной западной культуры не только не может быть полноценным, но оно ущербно в самой своей сути настолько, насколько неспособно воспринять критический анализ современных гомо/гетеросексуальных дефиниций; здесь также высказывается то предположение, что для подобного критического анализа уместно обратиться к относительно децентрализованному подходу современной гей- и антигомофобной теории.

С начала века ход времени, дар мысли и необходимая политическая борьба только расширили и углубили давнишний кризис в современных определениях пола, драматизируя, порой без меры, внутренние несоответствия и взаимные противоречия любой из форм дискурсивного и институционального «разумного подхода» к этой теме, унаследованного от архитекторов нашей нынешней культуры. Прежде всего, противоречия, которые будут рассматриваться здесь, не касаются отношений между прогомосексуальными и антигомосексуальными людьми или идеологиями, хотя одной из основных мотиваций книги является гей-утверждающая. Самыми ярко выраженными являются скорее противоречия, содержащиеся внутри всевозможных и значимых представлений о гомо/гетеросексуальности — как гетеросексистских, так и антигомофобных. Их описание и немного из их истории изложено в главе 1. Вкратце, их всего два. Первое противоречие заключается в восприятии гомо/гетеросексуальных характеристик, с одной стороны, как проблемы, имеющей высокую важность исключительно для маленького, определенного, довольно постоянного гомосексуального меньшинства (то, что я называю мноритизирующим [«меньшинственным»] подходом), и, с другой стороны, восприятие проблемы как неизменно и определяюще важной в жизни людей по всему спектру их сексуальностей (то, что я называю универсализующим подходом). Второе противоречие состоит в толковании выбора партнера своего пола как фактора порогового или транзитивного, с одной стороны, и с другой — как фактора, отражающего стремление к сепаратизму — хотя вовсе не обязательно политическому сепаратизму — в рамках любого гендера. Эта книга не стремится рассудить между полярными позициями обоих противоречий, поскольку, если наши аргументы

верны, для этого не существует эпистемологических обоснований. Напротив, я пытаюсь самым настойчивым образом поднять гипотезу об огромной значимости этих, предположительно маргинальных, с трудом концептуализируемых понятийных проблем для важных областей знания и понимания в западной культуре двадцатого века в целом.

Слово «гомосексуал» вошло в евро-американский дискурс в последней трети девятнадцатого века — как ни странно, его популяризация состоялась раньше, чем употребление слова «гетеросексуал».¹ Вполне очевидно, что сексуальное поведение, а для некоторых людей даже сознательная идентификация с тем, что означал новый термин «гомосексуал» и его современные вариации, имеет долгую историю. Это, разумеется, относится и к широкому спектру других видов сексуального поведения и поведенческих типов. Новым явлением с начала века стала фиксация картины мира, в которой каждый отдельно взятый человек, подобно изначальному приписыванию к мужскому или женскому гендеру, с этого момента рассматривался как приписываемый к гомо- или гетеросексуальности, поляризованной идентичности, которая влекла за собой какие угодно неясные последствия даже для явно далеких от секса аспектов личной жизни. Это новое явление не оставило в культуре места, свободного от мощного влияния этих противоречивых гомо/гетеросексуальных дефиниций.

Новые, институционализированные дискурсивные системы определений — медицинские, юридические, литературные, психологические, — сфокусированные на гомо/гетеросексуальном противопоставлении, начали распространяться и кристаллизоваться с исключительной быстротой в первые десятилетия двадцатого века, в десятилетия, когда немало других значимых для культуры сфер подвергались серьезным, пусть не столь быстрым и радикальным изменениям. Отношения власти между полами, равно как и отношения между национализмом и империализмом, например, находились в совершенно очевидном кризисе. По этой причине и потому, что выстраивание однополюсных связей в любой исторической ситуации, маркированной неравенством и соперничеством между гендерами, не может не стать пространством интенсивного регулирования, которое касается практически любой проблемы, связанной с властью и гендером,² мы никогда не сможем прочертить траекторию, определяющую, в границах известной нам сексуальности (что бы это ни означало), каковы могут быть последствия в изменении сексуальных дискурсов. Более того, в соответствии с доводами Фуко, чьи выводы о том, что современная западная культура отводит сексуальности все более и более привилегированное положение в отношении к наиболее ценным конструктам самоидентификации, к истине и к знанию, я принимаю за аксиому, все более верным становится то, что язык сексуальности не только пересекается с другими нам известными языками и отношениями, но и трансформирует их.

Таким образом, характерным способом прочтения в этой книге является уделение особого внимания перформативным аспектам текстов и тому, что принято вежливо называть их «отношениями с читающим», текстам как пространству дефинитивного творения, насилия и разрыва в отношении к конкретным читателям, конкретным институциональным обстоятельствам. Основной посылкой в этой книге является позиция о том, что закрытые взаимоотношения чулана — отношения знакомого и неведомого вокруг гомо/гетеросексуального — могут быть особенно разоблачительными по отношению к речи вообще. В процессе работы над книгой не проходило ощущение, что насыщенность социальным смыслом придает любому речевому действию на эту тему — и диапазон этой темы, как оказалось, весьма широк — ненужное ускорение пловца в бассейне, обутого в ласты: сила некоторых риторических воздействий никак не поддавалась калибровке.

Но в окрестностях чулана даже то, что считается речевым актом, проблематизируется даже на самом обыденном уровне. Как говорит Фуко: «... не существует бинарного разделения, которое можно произвести между тем, что говорится и что не говорится; мы должны пытаться определить различия в не произнесении этих слов... Существует не одно, а множество умолчаний, и они являются неотъемлемой частью стратегий, определяющих и пронизывающих дискурсы».³ «Закрытость» сама по себе есть действие, инициированное как таковое речевым актом умолчания — не конкретного умолчания, но умалчивания, которое накапливает свою специфичность рывками и порывами в отношении к дискурсу, который окружает и по-особому формирует его. Речевые акты, которыми осуществляется «выход из подполья», также на удивление специфичны. И они могут не относиться к приобретению новой информации. Я вспоминаю своих знакомых — мужчину и женщину, которые очень дружили, годами делились друг с другом эмоциональными перипетиями своей эротической жизни, — эротизм мужчины фокусировался исключительно на мужчинах же. Но только в одной конкретной ситуации в их беседе, через целых десять лет отношений им обоим показалось, что женщине теперь можно обращаться к нему как к *голубому мужчине*. Обсуждая эту ситуацию много спустя, оба согласились, что именно в этот момент они ясно почувствовали, что пришло время раскрыться, несмотря на то, что все годы их общения было очевидно, что он голубой. Что же было сказано, что изменило ситуацию? Разумеется, не вариант «Я голубой», что прозвучало бы нелепо в их отношениях. Что позволило этому мужчине раскрыться в данной ситуации — это использовать выражение «раскрыться», упомянутое между прочим как сообщение, что он раскрылся кому-то другому. (Точно так же футболки, продаваемые организацией ACT UP⁴ в Нью-Йорке, на которых написано «I am out, therefore I am»⁵, предназначены для того, чтобы человек, надевший такую футболку

ку, не утруждал себя постоянными заявлениями, что он/она раскрылись, но осуществлял перформативное действие выхода на люди в буквальном смысле). И как будет обсуждаться в главе 1, тот факт, что молчание в отношении к теме закрытости обладает той же четкостью смысла и перформативностью, что и речь, прочно связан и еще шире демонстрирует то, что неведение столь же могущественно и многогранно, как знание.

Знание, в сущности, не есть само по себе сила, хотя и является магнитным полем силы, невежество и глупость взаимосвязаны или соперничают со знанием в мобилизации потоков энергии, желаний, материальных предметов, значений, людей. Если господин Миттеран знает английский, а мистеру Рейгану не хватает — как это и было на самом деле — французского, именно обходительному Миттерану приходится вести переговоры на приобретенном языке, в то время как невежественный мистер Рейган может пыхиться на своем собственном. Или же в интерактивной речевой модели, в которой, как пишет Салли МакКоннел-Жине, «стандартным ... значением может считаться то, которое узнаваемо исключительно на основе совместного знания собеседников о принятых практиках интерпретации», именно собеседник, который обладает или делает вид, что обладает *менее* полным и осознанным пониманием интерпретативных практик, определяет условия информационного обмена. Так, например, поскольку «мужчины, имеющие преимущество в экстралингвистических ресурсах и привилегированные дискурсивные позиции, зачастую не желают относиться к подходам, отличным от их собственных, как равноценно доступным для коммуникации», их позиция, «следовательно, имеет большую вероятность оставить длительный отпечаток на общих семантических характеристиках языка, чем женская».⁶

Это воздействие незнания может быть используемо, сделано правомочным и регулируемым на массовом уровне до поразительно сильного эффекта — особенно относительно сексуальности, являющейся наиболее интенсивно значимой из видов человеческой деятельности. Эпистемологическая асимметрия законодательства, ведающего изнасилованиями, например, дает преимущества мужчинам и неведению одновременно, невзирая на то, чего хочет и как это воспринимает изнасилованная женщина, если мужчина, насилующий ее, может заявить, что он не обратил на это внимания (неведение, которое последовательно культивируется в мужской сексуальности).⁷ И механизм изнасилования, организованный этой эпистемологической привилегией незнания, непропорционально жестко муштрует, разумеется, стремление женщины получить больше контроля над условиями собственной свободы передвижения.⁸ Или же [приведем] известный пример искусного и глубоко поучительного способа применения незнания, когда Департамент юстиции США постановил в июне 1986 года, что работодатель вправе увольнять людей, больных СПИДом, до тех пор, пока он может утверждать о сво-

ем незнании того факта, *цитируется в постановлении*, что медицине неизвестны случаи угрозы здоровью работников от этой болезни.⁹ Опять же, в политическом смысле, совершенно ясно, что это действие нацелено на то — в данном случае трудно избавиться от чувства, что реализуемая политика тщательно продумана, — что такое постановление будет трактоваться как объявление — для частного сектора работодателей — открытой охоты на мужчин-геев.¹⁰

И хотя простого, упрямого факта или имитации неведения (одно из значений, заглавное, слова «stonewall») может быть иногда достаточно, чтобы усилить дискурсивную власть, гораздо более сложная драма неведения и знания является более распространенным основанием политической борьбы. Такая драма была разыграна, когда всего несколько дней спустя после того, как Министерство юстиции приняло решение в отношении частного сектора, Верховный суд США соответственно открыл сезон экзекуций и в секторе государственном, легитимировав национальное законодательство против содомии в деле «Бауэрс против Хардвика».¹¹ Во враждебном по содержанию постановлении, язык которого с начала до конца демонстрирует претенциозную юридическую нелогичность, — которое несогласный с ним судья Блэкмен назвал «весьма преднамеренной слепотой»¹², — одно-единственное, явно случайное слово, употребленное от имени большинства судьей Уайтом, стало для многих геев и антигомофобных читателей главным поводом, вокруг которого разгорелись страсти касательно этого решения.¹³ По мнению Уайта, «утверждение, что право заниматься содомией “имеет глубокие корни в национальной истории и традиции” или “предопределено концепцией узаконенных свобод”, в лучшем случае смехотворно».¹⁴

То, что в этом предложении придает слову «смехотворный» столь необычную силу оскорбительности, даже в контексте значительно большего, неизгладимого юридического ущерба, есть, вероятно, экономичность его воздействия как поворотного пункта в циклоподобных эпистемологических подводных течениях, сопутствующих власти в целом, и в частности в сфере гомосексуальных желаний.

Ход рассуждений здесь таков: (1) *prima facie*, на самом деле никто, даже по случайной ошибке не счел бы намерения защитников гомосексуалистов смехотворными. (2) *secunda facie*, следовательно, именно суд испытывает удовольствие, представляясь смехотворным. Принимая во внимание (3) очевидную глупость данного утверждения (и даже не просто высокомерное демонстрирование того, что сильные мира сего не обязаны быть точны или правы, но гораздо более высокомерная демонстрация — это четко ощущается в высказанном мнении большинства, но только в этих словах бьет ключом явное удовлетворение — того, как сама глупость вооружает тех, кто у власти, против их врагов), судейская шутка в данном случае (где в издевке невежд, игривой насмешке, угроза

прячется в выражении «в лучшем случае») являет собой (4) клоунскую претензию на то, что они способны «прочитывать», то есть проецировать снаружи то, что находится в головах сторонников гомосексуалов. И это не только является (5) пародией на, но и (6), более того, видом агрессивной техники подавления против (7) правдивой/параноидальной фантазии, что именно гомосексуалы способны прочитывать или проецировать свои собственные желания на сознание «натуралов».

Бесспорно, есть определенное удовлетворение в том, чтобы задуматься над тем, каких степеней достигает власть наших врагов над нами не в их владении знанием, но именно в их невежестве. Эффект совершенно реален, но в нем кроются опасности. Главная из этих опасностей — это презрительная ли, жалостливая или сопровождаемая страхом материализация «неведения»; это вытекает из неисследованной концепции Просвещения, в соответствии с которой любое явление, определяемое как «неведение», раз и навсегда помещается в демонизированном пространстве никогда точно не определяемой этической схемы. (В этой структуре оно также находится в опасной близости к более осязаемой сентиментализированной привилегированной позиции невежества как естественной пассивной невинности). Тот угол зрения, с которого политическая борьба рассматривается как борьба с невежеством, может быть источником вдохновения, открытий, но эта позиция опасна для углубленных размышлений. Работы таких авторов, как Фуко, Деррида, Томас Кун и Томас Шаш [Szasz], предлагают современным читателям достаточно возможностей для размышления о расторжении связи этическое/политическое и, более того, об излишнем простодушии этико-политической категоризации «знания», посему любой писатель, слишком напрямую отстаивающий спасительный потенциал простого повышения когнитивного вольтажа в вопросах власти, выглядит в наше время наивным. Разумеется, имеют место и сопутствующие «неведению» проблемы, но есть, однако, и дополняющие их: психологический эффект стыда, отрицания, проекции в отношении «неведения», которые делают его особенно возбуждающим для отдельных читателей, даже если они условно предполагают, что автору трудно отречься, но и опрометчиво было бы принять его.

Однако вместо того, чтобы пожертвовать понятием «неведение», я больше заинтересована в том, чтобы попытаться сделать его более плюралистичным и конкретным, как мы привыкаем поступать с понятием «знание». Это значит, что я хотела бы воспользоваться в рамках осмысления сексуальных политик деконструктивистским пониманием того, как определенные представления генерируют, взаимосвязаны и в то же время структурированы своего рода неясностями. Если неведение не является — а оно, очевидно, не является — единой манихейской, первобытной утробой тьмы, у которой герои человеческого познания могут

время от времени отвоевывать факты, прозрения, свободы, прогресс, тогда, вероятно, существует целое множество *неведений*, и мы можем начать задаваться вопросами о работе, эротике и экономике их человеческого производства и распределения. До тех пор пока неведение есть *незнание* некоего знания — знания, которое само по себе, как известно, может считаться истинным или ложным в зависимости от конкретного режима истины, — эти неведения, отнюдь не являясь частицами изначальной тьмы, есть производное от конкретного знания, взаимосвязаны с ним и распространяются как часть определенных режимов истины. Мы не должны предполагать, однако, что их сопряженность со знанием означает, что они подчиняются тем же законам или распространяются теми же путями и теми же темпами.¹⁵

Исторически основа «Эпистемологии чулана» начинается с загадки. Это поистине удивительный факт, что из множества аспектов, на основе которых генитальная деятельность одного человека отличается от другого (аспекты, включающие в себя предпочтение определенных действий, определенных зон чувствительности, определенных физических типов, определенной частоты, определенных символических значений, определенных соотношений возраста или власти, определенных особей, определенного количества участников, и т. д., и т. п.), именно этот гендер предпочитаемого объекта возник в начале века и остается важным фактором, определяемым сегодня как всеопределяющая категория «сексуальной ориентации». Такой результат трудно было бы предположить в контексте конца девятнадцатого века, в котором, как в бульоне, густо заваривался мужской садомазохизм, педофилия, аутоэротизм, не говоря о других его компонентах, которые занимали, не менее чем гомосексуальность, значимые позиции в контексте всей непрестанно обсуждаемой проблематики сексуальных «извращений», или, в широком смысле, «декадентства». Фуко, например, упоминает истерических женщин и мастурбирующих детей наряду с такими «энтомологизированными» сексологическими категориями, как зоофилы, зооэрасты, ауто-моносексуалисты и гинекомасты, как пример новой классифицирующей терминологии сексуальности, как *спецификации индивидуумов*, упрощающие эпистемологическое воздействие и контроль власти над современной системой сексуальных определений.¹⁶ При всей справедливости этого замечания оно заставляет задаться вопросом, не отвечая на него: почему категория «мастурбатора», взятая как один из примеров, полностью утратила ныне свой диакритический потенциал для определения конкретного человеческого типа, его характеристики, в то время как по-прежнему остается и все более становится верным то, что являет собой определенное поле напряжения для западного дискурса и что описано Фуко как «превращение гомосексуала в вид».¹⁷ В результате то же самое происходит с гетеросексуалом, и между *этими* видами происходит все

более явное и глубокое разделение. «Эпистемология чулана» не предлагает объяснений для такого неожиданного, радикального сужения сексуальных категорий; вместо того чтобы размышлять о причинах случившегося, книга рассматривает непредсказуемо разнообразные и остро выраженные следствия и результаты этого явления.

Как будет доказываться в этой книге, одновременно с этим процессом классификации или формирования видов происходило менее устойчивое и настойчивое в утверждении идентичностей становление и развитие представлений о сексуальном предпочтении, нередко в той же самой среде и в той же системе мышления. Опять же, в книге не предлагается (и я не считаю, что она в принципе существует) никакой позиции осмысления, с которой соперничающие утверждения универсализующего или миноритизирующего подхода к определению сексуальности могут быть обоснованно отнесены к «истине». Скорее, наоборот, именно перформативные эффекты, образованные внутренними противоречиями этих позиций и их пересечениями в дискурсивном силовом поле, являются предметом моего осмысления. И, разумеется, важным здесь является именно то, что сильное воздействие гомо/гетеросексуального разделения произошло не в пространстве широкой эмоциональной и аналитической беспристрастности, а под сильным давлением гомофобии, девальвирующей только одно из двух номинально симметричных предпочтений.

На основании некоторых формулировок, приведенных выше, одним из основных направлений аргументации в этой книге является деконструкция в довольно специфическом смысле этого слова. Аналитический подход, предпринятый здесь, показывает, что категории, представленные в культуре как симметричные бинарные противопоставления — гетеросексуальность/гомосексуальность в данном случае, — на самом деле сосуществуют в гораздо более неустойчивых и динамичных отношениях, в соответствии с которыми, во-первых, понятие *B* не симметрично, но подчинено понятию *A*; но, во-вторых, онтологически зафиксированное понятие *A* неизбежно зависит в своем значении от — одновременно — наличия и исключения понятия *B*; и, следовательно, в-третьих, вопрос о предпочтении между предполагаемой основной и предполагаемой маргинальной категорией каждой диады остается неразрешимо нестабильным, где нестабильность обусловлена тем, что понятие *B* формулируется как одновременно внутреннее и внешнее по отношению к понятию *A*. Гарольд Бивер, например, в своем убедительном эссе, опубликованном в 1981 году, дал описание такой деконструирующей стратегии:

«Задача состоит в том, чтобы перевернуть риторическое противопоставление “очевидного” и “естественного” к “производному” и “изобретенному”, продемонстрировав, что качества, присущие “гомосексуальности” (как зависимому понятию), есть на деле условие для существования “гетеросексуаль-

ности»; что “гетеросексуальность” не только не находится в привилегированном положении, но сама должна восприниматься как зависимое понятие».¹⁸

Восприятие этих концептуальных взаимосвязей как неразрешимо нестабильных не означает, что они являются неэффективными или безобидными. В этом смысле предсказание Ролана Барта о том, что, «как только затуманивается парадигма, начинается утопия: секс и смысл становятся объектами свободной игры, в сердцевине которой (полисемантические) формы и (чувственные) практики, высвобожденные из тюрьмы двойственности, обретают состояние беспредельной экспансии»,¹⁹ звучит как преждевременное. Скорее, напротив, деконструирующий подход к этим бинаризмам позволяет определить их как пространство, особенно плотно заряженное непрекращающейся возможностью мощных манипуляций — именно через механизмы противоречащих себе дефиниций или, более того, смешения понятий. В то же время деконструктивный анализ этих дефиниционных связок, пусть необходимый, не достаточен для того, чтобы лишить их силы воздействия. Как раз наоборот: я предположу, что понимание их неразрешимой неустойчивости всегда имело место и постоянно придавало дискурсивную власть как антигомосексуальным, так и гомосексуальным культурным силам нашего века. Бивер делает оптимистическое предположение, что «то, что считалось спонтанно имманентным, лишившись автономии, фундаментально децентрализует и разоблачит всю сексуальную систему».²⁰ Есть, однако, основания считать, что система сексуального подавления последнего столетия в любом случае коренится в терновых кустах (если можно сослаться на суть старой сказки дядюшки Римуса, которая не воспринимается, я надеюсь, в ее расистской версии) самых скандально известных и повторяющихся публичных разоблачений и децентрализаций.

Более того, подобная деконструктивистская полемика может происходить только в условиях большого культурного поля, состоящего из нормативных дефиниций, определений, которые сами по себе неустойчивы, но соотносятся с различными ассоциативными рядами на разных уровнях. Главенствующими понятиями в различные исторические периоды являются те, которые располагаются таким образом, что способны наиболее прочно и в то же время дифференцированно сочетать различные смысловые единицы. Утверждая, что гомо/гетеросексуальное разделение являлось основным главенствующим понятием прошлого века, имеющим такое же базисное значение для современной западной идентичности и социальной организации (и не только для гомосексуальной идентичности и культуры), как и более очевидные категории вроде гендера, класса и расы, я доказываю, что теперь уже хронически современный кризис определения гомо/гетеросексуального повлиял на нашу культуру посредством нестираемых определений таких категорий, как секретность/разоблачение, знание/неведение, приватное/публичное, мас-

кулинное/фемининное, большинство/меньшинство, невинность/инициация, естественное/искусственное, старое/новое, дисциплина/терроризм, каноническое/неканоническое, целостность/декаданс, обходительность/провинциальность, национальное/иностранное, здоровье/болезнь, тождественное/различное, активное/пассивное, внутри/наружу, познание/паранойя, искусство/кич, утопия/апокалипсис, искренность/сентиментальность и произвольность/зависимость.²¹ И вместо того чтобы отдалиться идеалистической вере в неизбежную, имманентную, саморазрушительную эффективность противоречий, присущих этим дефинитивным бинаризмам, я буду пытаться доказать, что соперничество за дискурсивную власть можно обозначить как состязание за материальное и риторическое управление, необходимое для установления правил и получения выгоды от такого рода несогласованности понятий.

Возможно, мне следует сказать что-нибудь о моем проекте построения гипотезы о том, что некоторые бинаризмы, структурирующие значения и смыслы в культуре, могут быть «нестираемо маркированы» ассоциациями с этой конкретной проблематикой — нестираемо, даже если и невидимо. Строить гипотезы проще, чем доказывать, но я с трудом представляю себе свод правил, по которому такие гипотезы могут *доказываться*; их следует расширять и углублять — это дело не одной книги — и использовать, но не доказывать или опровергать с помощью нескольких примеров. Собрание случаев относительно каждой бинарной пары, в которой «здравый смысл» не усмотрит маркировки гетеро/гомо-сексуальной дефиниции, на мой взгляд, не может считаться хорошей проверкой такой гипотезы. Как-никак требуется определенное умение для нахождения самых выразительных интерпретаций этой эпистемологически раздвоенной культуры, чем вряд ли может похвастаться «здравый смысл». И если только процесс усердного накопительного чтения и исторической де- и реконтекстуализации не придаст этим гомологическим рядам смысла и продуктивности, то это единственное испытание, которое они могут провалить, единственное, которому они должны быть подвергнуты.

Структура данной книги особенно подвержена воздействию этого интуитивного открытия — ощущения, что те культурные положения, которые следует принимать за обязательные, будут тривиализированы или обесмыслены, на этой ранней стадии, до такой степени, что это будет восприниматься как априори. Я хотела, чтобы эта книга была привлекательной (как и настоящей), но, в конечном итоге, не алгоритмической. Задачей книги *не является знание* о том, насколько ее открытия и проекты сводимы к общим законам, не попытка сказать заранее, в каком месте семантическая специфика этих проблем открывается для синтаксиса более «общего» или более абстрагирующегося критического проекта (или сама его структурирует?). Более всего эта книга старается противостоять всеми способами глухой надуманной осведомленности публичного дис-

курса, которая пытается загнать острие современного дефиниционного кризиса гомо/гетеросексуальности как можно глубже с глаз долой.

Именно с целью противостоять этому в книге не только присутствует, но и намеренно формируется такое развернутое введение. Она структурирована не как хронологический пересказ, а как серия эссе, тесно увязанных с общим проектом и возобновляющимися темами. Введение, локализирующее этот проект в более расширенном контексте, и глава 1, описывающая его основные понятия, это единственные части книги, не включающие в себя широкий спектр дополнительной литературы. Глава 2 (о повести «Билли Бадд») и глава 3 (по Уайльду и Ницше), изначально составлявшие единое целое, предлагают другой вариант введения: в форме эссе, демонстрирующих через специфичность этих текстов и авторов наиболее выразительный список противопоставляемых культурных понятий, о которых в других местах книги говорится в более обобщенном виде. В главе 4 через прочтение джеймсовского «Зверя в джунглях» подробно обсуждается постоянно и повсюду возникающее поле мужской гомосексуальной тревоги. И глава 5, о Прусте, еще больше концентрируется на основной теме книги об отношениях речи-действия вокруг проблемы «чулана».

Созвучно с моей акцентацией на перформативных взаимосвязях двойственных и конфликтующих определений действует и предписание практических политик, явственно проступающее в этой книге, нацеленное в разные стороны, где идеалистические и материалистические порывы, стратегии миноритарной и универсалистской модели и, соответственно, гендерно-сепаратистский и гендерно-интегративный анализ будут существовать на равных, не обладая никаким преимуществом в поле идеологической рационализации. В сущности, это то, как структурировалось движение геев в двадцатом веке, если не то, как его нередко воспринимали и оценивали. Широта и глубина политического гештальта в борьбе, отстаивающей гей-культуру, придает мощный резонанс голосам всех ее составляющих частей. И огромная жертва — идеологической непреклонностью, — как бы ни была она высока, оказывается неизбежной: в этом концептуальном ландшафте вряд ли возможна идеологическая жесткость, на любом уровне, в любой части сообщества, как бы желанна она ни была.

Нечто похожее присутствует и в сфере познания данной проблемы. В процессе написания этой книги я всякий раз чувствовала, что, несмотря на то, что моя самоидентификация, интуиция, ситуация, ограничения и талант вели меня к интерпретациям, отдающим предпочтение конструктивизму перед эссенциализмом, к универсализации, а не миноритизации, к гендерно-транзитивному, а не гендерно-сепаратистскому толкованию сексуального выбора, тем не менее пространство свободы, предоставленное этой работе, и глубина интеллектуального осмысления

этой темы влекли меня к богатству эссенциалистской, миноритизирующей и сепаратистской интеллектуальной позиции и борьбе. Подобное замечание можно сделать и в отношении ограниченности этой книги в том, что может показаться в нынешнем климате глубочайших «межтканевых» исследований в области литературы, социальной истории и «культурных исследований» нереконструированным прочтением канонических текстов. Мне остается надеяться, что каноническая сущность того, что формирует литературный текст, его прочтение, его значимые интерпретирующие влияния, становится все более непрочной под этим новым давлением, что сила сохраняемости этих специализированных практик (я использую здесь «специализированных» не в коннотации с «экспертными» техниками, но в коннотации с расточительной, высокоценной пристрастностью сексуальной перверсии) станет восприниматься не как тыловая оборона, но как нечто подверженное пересмотру и одновременно бросающее вызов. Еще более это относится к тому, как осуществляется описательная спецификация сексуального определения мужчины и евро-американского мужчины как субъекта этой работы. Любой критический труд прибегает к бесконечной серии выборов фокуса и методологии исследования, и эти предпочтения очень трудно интерпретировать иначе, чем в категорическом императиве: тот факт, что здесь эти вопросы решаются таким образом, воспринимается априори как основание для того, что так это должно интерпретироваться где угодно. Я хотела бы, однако, чтобы, несмотря на это возникающее впечатление, данная книга не прочитывалась подобным образом. Как раз наоборот, реальной мерой успеха подобного анализа является его способность, в руках пытливого исследователя с разными потребностями, способностями, позицией, определить конкретные виды сопротивления, возникающие из разных сфер социального пространства, невзирая на то, что подобный проект предполагает пересмотр или деструкцию изначального аналитического подхода. Единственным императивом этой книги является очень широко трактуемая концепция антигомофобного аналитического взгляда. Если этой книге удастся осуществить ее самую высокую задачу, она предоставит читателям весьма специфический текст для чтения и осмысления, возможно, новый, эвристический, продуктивный способ для трактовки литературных и социальных текстов, в идеале приводящий к неожиданным результатам. Значение, легитимность и, во многом, даже возможность доброй надежды на успех этой книги зависят от ее восприятия/продвижения другими антигомофобными читателями, которые пока находятся вне поля ее действия, в самых, на теперешний момент, непредвиденных пространствах.

Это также, или даже в особенности, относится к исторической периодизации, предполагаемой структурой данной книги и ее последствиями. Гипотетический выбор столетия между 1890-ми и 1990-ми года-

ми, как отдельного периода истории в определении мужской гомо/гетеросексуальности чреват тем, что иные ключевые моменты будут оставлены без внимания. Некоторые считают, например, что события, известные под названием «Стоунволл» — массовые беспорядки в Нью-Йорке в июне 1969 года, возникшие как протест против полицейского произвола против владельцев бара для геев, — являются началом и исторической датой возникновения современного гомосексуального освободительного движения. Некоторая идеалистская тенденциозность по поводу *определения*, просматриваемая в книге, позволяет слишком легко сгладить, как будто с позиции воображаемого птичьего полета, неисчисляемое — включая познавательное — воздействие политических движений как таковых. Даже само понятие «чулан» (the closet) как публично признанное означающее, эпистемологически и тематически связанное с геями, стало таковым определено только благодаря политическим действиям геев после Стоунволла, направленным на *выход* (coming out) из чулана. Другими словами, хочется надеяться, что доводы этой книги о ценности и значимости всего спектра политических действий именно после Стоунволла вполне очевидны. Только в этом контексте, при допущении альтернативной, перекрывающей исторической периодизации проблемы определений, можно воспринимать данную работу.

В книге, предшествовавшей этой, — «Между мужчинами: английская литература и мужское гомосексуальное желание», — была сделана попытка продемонстрировать имманентность мужских однополых связей и их запретительных построений по отношению к женско-мужским связям в английской литературе девятнадцатого века. Эта книга отличается от предшествующей прежде всего тем, что рассматривает более поздний временной период. Однако в данной работе также по-другому рассматриваются взаимоотношения между феминистскими и антигомофобными мотивами. «Между мужчинами» заканчивается кодой, где утверждается, что «в мужском гомосексуальном спектре возникает зияющая и непреодолимая пропасть» в конце девятнадцатого века, после которой «обсуждение мужского гомосоциального желания в целом действительно уступает место обсуждению мужской гомосексуальности и гомотобии в нашем нынешнем понимании». ²² (Подробнее о пресловутом «в нынешнем понимании» см. дальше, в Аксиоме 5.) «Эпистемология чулана», которая аналитически основывается на выводах, сделанных в «Между мужчинами», начинается именно с этого момента, и в этом смысле ее можно точнее назвать книгой, антигомофобной по сути, по тематике и позиции. Это значит, что в понятиях, которые я объясню более подробно в Аксиоме 2, книга фокусируется прежде всего на сексуальности, а не на гендере (и даже порой в оппозиции к нему). В «Между мужчинами» акцент сделан на подавляющем воздействии на женщин и мужчин той культурной системы, в которой желание мужчины к муж-

чине стало широко восприниматься благодаря тому, что трактовалось через отношения в треугольнике, включающем женщину. Ущерб, нанесенный этой системой, не только не перестал существовать, но был адаптирован и принял изощренные формы. Но определенно вынужденные непосредственные связи феминистских и мужских гомосексуальных проблем и позиций, которые были представлены в «Между мужчинами», здесь были менее доступны для аналитического рассмотрения, поскольку в культуре двадцатого века, пусть в некоторых версиях, однополые желанья стали широко артикулироваться без посредничества гетеросексуальности.

«Эпистемология чулана» — феминистская книга по большей части в том смысле, что ее аналитика исходит от автора, чьи идеи макро- и микроскопически впитывали феминизм длительное время. Во многих точках пересечения, где явно феминистские (то есть гендерный фокус) и явно антигомофобные (то есть фокус на сексуальности) изыскания расходятся, эта книга тем не менее пыталась последовательно отстаивать вторую позицию. Я сделала этот выбор в основном потому, что считаю в настоящее время феминистский анализ гораздо более разработанным, чем гомосексуальный мужской или антигомофобный анализ, — теоретически, политически и институционально. Гораздо больше людей занимаются феминистским анализом, он существует дольше, он менее сомнителен и опасен (хотя все еще сомнителен и опасен), и на сегодняшний день в наличии имеется гораздо больший набор инструментов для его употребления и развития. Это действительно так (несмотря на невероятный расцвет в последнее время гей-лесбийских исследований, без которых, как я говорила, настоящая книга была бы невозможна), что эти цветы еще слишком молоды, хрупки и подвержены огромной опасности как внутри, так и вне академических институтов и все еще неизбежно зависимы от ограниченности парадигм и материалов для чтения. Вполне устоявшаяся ныне жизнеспособность убедительного феминистского проекта интерпретации гендерных соотношений, подавления и сопротивления в евро-американском модернизме и современности с начала века послужила условием для появления этой книги, но также дала разрешение или даже обязала последовать совершенно иным путем. Воистину, когда передо мной маячило очередное перепутье — в выборе между преждевременной реинтеграцией феминистских и геевских категорий анализа, рискуя не преуспеть в этом, с одной стороны, и с другой — оставить эти отношения пока еще открытыми, откладывая еще раз их взаимную ответственность друг перед другом, — я следовала по второму пути. Для некоторых читателей это может выглядеть отступничеством, но, я надеюсь, они воспримут это как естественную задержку (а не как нежелание) в интересах предоставления пространства для гей-ориентированного (мужского) анализа, у которого могут быть собственные при-

тизания на проясняющие открытия. В конечном счете, я считаю, что очень многое зависит — для всех женщин, для мужчин-геев и, возможно, для всех мужчин — от развития нашей способности прийти к такому пониманию сексуальности, которое признает определенную несводимость к к гендеру и неуязвимость ее с гендером.

Немного о терминологии. Мне кажется, что не существует удовлетворяющего всех правила, где и когда использовать «гомосексуал» и «гей», вне контекста пост-Стоунволл, в котором слово «гей» предпочтительнее, так как является явным выбором огромного числа людей, к которым оно относится. До недавнего времени казалось, однако, что [термин] «гомосексуал», несмотря на риск стать анахронизмом в любом применении до конца девятнадцатого века, был, пожалуй, менее ограничен во временном использовании, чем «гей», поскольку воспринимался как более официальный или даже как диагноз. Эта аура безвременности слова тем не менее скоро улетучилась — не столько из-за его манифестируемой неадекватности когнитивным и поведенческим картам эпох, *предшествующих* его фиксации в языке, сколько из-за того, что источники его авторитетности в течение века *после фиксации* стали казаться все более тенденциозными и устаревшими. Таким образом, «гомосексуал» и «гей» стали все чаще считаться понятиями, применяемыми по отношению к конкретным, не пересекающимся историческим периодам истории явления, для которого по-прежнему не найдено обобщающего термина. Соответственно, я пыталась использовать каждое из понятий применительно к контекстам, где историческая дифференциация между более ранним и поздним периодами столетия была важна. Но в случаях, где требовалось обозначить явление (проблематичное понятие) в его исторической протяженности, я использовала и то и другое попеременно, чаще всего в контрасте с непосредственным исторически релевантным значением. (То есть «гей» в контексте начала века или «гомосексуал» в контексте 1980-х означают предположительное общее значение, достаточно широкое, чтобы включить в себя другой исторический период.) Я не стала следовать традиции, свойственной некоторым исследователям, определять различие между «геем» и «гомосексуалом» на основании того, персонифицирует ли данный текст или личность (соответственно) гей-утверждающую позицию или интернализированную гомофобию; задачей этой книги как раз не является беспроблемная легкость в различении этих понятий. Главным дополнительным затруднением в использовании этих понятий в книге является нежелание употреблять «гей» или даже «гейство» в качестве существительного (в английском языке слово «gay» — изначально означавшее «веселый», «радостный» — в новом употреблении тоже трактуется как прилагательное, из которого можно образовать существительное «gayness», обозначающее свойство, качество человека. — *Прим. перев.*). Я думаю, что это предпочтение возника-

ет из ощущения, что ассоциация однополого желаяния с традиционным, восхитительным значением прилагательного «веселый», по-прежнему являет собой мощное самоутверждающее действие, не так уж легко поддающееся рутинным правилам грамматической адаптации.

Гендер становится все более проблематичным понятием в этом терминологическом поле, проблемой, для которой у меня нет окончательного решения. «Гомосексуал» считался относительно гендерно-нейтральным понятием, и я использую его в этом смысле, хотя в нем всегда ощущался, хотя бы отчасти, мужской оттенок — либо от ассоциации с латинским «homo» = мужчина, прячущейся в этой макаронической этимологии, или просто из-за большего внимания, уделяемого мужчинам в этом дискурсе (как и во многих других). Со словом «гей» — более сложная история, поскольку оно претендует на оба гендера, но часто употребляется в паре с «лесбийский», как будто оно не имело отношения — и все более не имеет — к женщинам. Как я предполагаю в Аксиоме 3, это терминологическое осложнение является непосредственной реакцией на реальную неопределенность и противоречия в гей/лесбийских политиках и идентичностях: а именно есть женщины, любящие женщин и считающие себя лесбиянками, но не геями, и другие, которые считают себя женщинами-геями, но не лесбиянками. Поскольку строение этого исследования делает невозможным предположить ни общности, ни различия в женских и мужских меняющихся и одновременно варьирующихся гомосексуальных идентичностях, и поскольку основным (но не единственным) его объектом является все же мужская идентичность, я иногда использую понятия «геевский» и «лесбийская», но гораздо чаще просто «гей», «геевский» — и последнее, как ни странно, именно для описания явления однополого желаяния, которое трактуется как определено, но не исключительно мужское. Когда я имею в виду более расширенное, равнозначное явление, касающееся двух полов, я упоминаю «мужчин и женщин геев» или «лесбиянок и мужчин-геев»; в более конкретизирующих случаях — «мужчин-геев».

И, наконец, я остро ощущаю, насколько различными могут быть представления автора и читателя о том, как лучше сформулировать аргументы в защиту того, что кажется очень важным для обоих. Я старалась быть настолько ясной, насколько могу по поводу развития идей, мотивов и предположений в этой книге; но, даже невзирая на изначальную сложность ее тем и текстов, стиль ее изложения неизбежно не будет соответствовать удовлетворяющему всех идеалу ясности. Тот факт, что — в случае, если книга верна по сути, — наиболее важные установки культуры увязываются с откровенно изменчивой, изломанной, опасной очевидностью и артикулированием возможности гомосексуальности, делает весьма возможной перспективу неправильного ее прочтения; от

предсказуемого эгоистического страха, что она останется незамеченной, до пугающей возможности ее деструктивного воздействия.

Приведу пример. Есть основания полагать, что «ремонт» (gay-bashing — то есть хулиганские избиения геев. — *Прим. перев.*) это наиболее распространенное и все более увеличивающееся из известных преступлений в США, основанных на ненависти к чужакам. Нет сомнения, что воздействие этого жестокого, унижительного и часто фатального насилия, не подверженного юрисдикции, гораздо сильнее, чем идущие в упрядке с этим более уважаемые институционализированные санкции, применяемые против гомосексуального предпочтения, образа жизни и способов самовыражения. Эндемическая близость между внесудебными и юридическими формами наказания гомосексуальности очевидна, например, из аргументов законодателей, которые, штат за штатом, боролись за то, чтобы исключить насильственные действия против геев из списка преступлений, квалифицируемых как преступления на основе предубеждений, — аргументируя это тем, что вычленение в отдельную категорию наказания за индивидуальное насилие над людьми, считающимися геями, лишает юридического обоснования государственное осуждение гомосексуализма. До сей поры эти аргументы пользовались успехом в большинстве штатов, где поднимался этот вопрос; и, фактически, в некоторых штатах (таких, как Нью-Йорк), где антигеевское насилие не было исключено из категории преступлений на почве ненависти, прежде сплоченные коалиции расовых/этнических групп распались именно на этой почве, отчего многие изначально популярные законопроекты постоянно отклонялись законодателями. Отношение государства к негосударственному антигеевскому насилию, таким образом, является полем постоянных терминологических споров и столкновений, которые оказывают критическое влияние на геев, и не только на них.

В этом весьма нагруженном контексте отношение к тем, кто избивает геев (gay-bashers — «ремонтники» — русское слэнговое слово, определяющее хулиганов, нападающих на геев. — *Прим. перев.*) и оказывается в суде, порождает проблему дефинитивного порядка. Одно из наиболее опасных выражений — «гомосексуальная паника», стратегия защиты, часто используемая, чтобы избежать осуждения или смягчить приговор «ремонтнику», — понятие, определяющее один из аналитических инструментов данного исследования. Юридически «гомосексуальная паника», используемая защитой подсудимого (как правило, мужчины), обвиняемого в антигеевском насилии, предполагает, что его ответственность за совершенное преступление снижается по причине патологического психологического состояния, возможно, вызванного нежелательным сексуальным вниманием со стороны мужчины, на которого он напал. В дополнение к неподтвержденному предположению, что все мужчины-геи могут оправданно обвиняться в сексуальных притязаниях

к посторонним людям, и, хуже того, что насилие, часто доходящее до убийства, является легитимной реакцией на сексуальные притязания, желательные или нет, защитная стратегия «гомосексуальной паники» базируется на ложно индивидуализированном и патологизированном предположении, что ненависть к гомосексуалам — настолько частное и нетипичное явление в этой культуре, что может быть классифицирована как болезнь, снижающая ответственность преступника. Однако широкая распространенность такого рода защиты демонстрирует, скорее, обратное, то, что ненависть к гомосексуалам гораздо более распространена и свойственна обществу, более типична и что трудно найти другие социальные группы, испытывающие тот же уровень неприятия. «Расовая паника» или «гендерная паника», например не принимаются в качестве защитного аргумента в случаях насилия против цветных или женщин; не говоря уже о «гетеросексуальной панике», о которой Дэвид Вертхеймер, исполнительный директор гей-лесбийского антинасиельственного проекта города Нью-Йорка, сказал: «Если бы каждая гетеросексуальная женщина, которая подверглась сексуальному вниманию мужчины, имела право убить его, улицы этого города были бы завалены трупами гетеросексуальных мужчин». ²³ Юрист из Национальной коллегии адвокатов за права геев явственно демонстрирует отличие в правовой квалификации этих преступлений от тех, что основаны на других видах предубеждения: «Не существует ни фактического, ни правового обоснования для использования этой формы защиты [гомосексуальная паника]. Точно так же как наше общество не позволит подзащитному использовать расовые или гендерные предрассудки как оправдание своих насильственных действий, гомофобия подзащитного не является основанием для оправдания насильственного преступления». ²⁴

Следовательно, высокая популярность стратегии «гомосексуальной паники» зависит во многом от возможности допустить и «утвердить», через патологизирование, реализацию социально санкционированного предубеждения против одного гонимого меньшинства, особенно попираемого среди множества других. Ее особая обоснованность, однако, зависит также от различия между антигеевскими преступлениями и другими преступлениями в отношении меньшинств: различие в том, насколько менее проявлены, может быть, почти невозможны границы определения миноритизирующей гей-идентичности. В конце концов, причина, по которой защита использует название (ранее весьма туманное и редко диагностируемое) психиатрического определения «гомосексуальная паника», кроется в предполагаемой неуверенности правонарушителя по поводу его собственной сексуальной идентичности. То, что это становится характерным сценарием защиты «ремонтников» (поскольку неуверенность в собственной расовой, этнической, гендерной принадлежности не имеет места в других преступлениях по предубеждению), еще

раз показывает, как перекрывающиеся защитные механизмы миноритизирующего и универсализирующего представления о мужском гомо/гетеросексуальном самоопределении способны удвоить виктимизацию геев. В сущности, защита гомосексуальной паники осуществляет двойное действие миноритизирующей классификации: она утверждает, что существует некое определенное меньшинство — геи и другое меньшинство, явно отличное от большинства населения, «латентные гомосексуалы», — чья «неуверенность в собственной мужественности» настолько аномальна, что позволяет служить юридическим поводом для снижения норматива моральной ответственности. В то же время действенность этого судебного хода увязана с его универсализирующей силой, с тем, насколько он может, как говорит Вертхеймер, «создать такой климат, при котором присяжные способны стать на место преступника и воскликнуть: “Боже мой, возможно, и я действовал бы так же”». ²⁵ Апеллирование защитников гомосексуальной паники к тому факту, что мужской кризис самоидентификации — явление систематическое и эндемическое, становится возможным только благодаря отрицанию самого же факта.

В работе над книгой «Между мужчинами», ничего не зная о судебном использовании «гомосексуальной паники» (в то время не столь широко известная и употребляемая формула защиты), мне нужно было найти название для «структурного осадка от возможности террора, от *шантажируемости* западной мужественности посредством нагнетания гомофобии», и меня привлекла совершенно подобная фраза, заимствованная из того же самого, довольно редкого психиатрического диагноза. Через эту лингвистическую кражу, насильственность которой, как я считала, будет очевидна в каждом случае ее употребления, я попыталась превратить то, что являлось таксономической, миноритизирующей медицинской категорией, в структурный принцип, применимый к определению целого гендера, а следовательно, и ко всей культуре. Я использовала ее для обозначения «наиболее приватного, психологизированного состояния, в котором многие западные мужчины двадцатого века переживают свою незащищенность перед социальным давлением гомофобного шантажа» — как «единственного способа контроля, дополняющего общественные санкции через институты, описанные Фуко и другими как определяющие и регулирующие аморфную территорию “сексуального”». ²⁶

Судебное использование аргумента «гомосексуальной паники» опирается на медицинскую фразеологию, способную утаивать смешение индивидуальной патологии с системной функцией. Причина, по которой меня привлекла эта фраза, — прямо противоположная: я думала, что она способна драматизировать, сделать видимой и даже скандализировать эту самую подмену. Набор представлений, сконцентрировавшийся в использовании пресловутой «мужской гомосексуальной паники» в «Между мужчинами», оказался продуктивной функцией для других критиков,

особенно для тех, кто занимается гей-теорией, и я продолжила свои исследования этой самой фразы, используя ее в том же значении в «Эпистемологии чулана». Однако я также чувствую, с возрастающим беспокойством, в распространяющейся с 1985 года гомофобности общественного дискурса, что работа, проделанная для акцентуации и прояснения объяснительной силы этого сложного понятийного узла, не может надежно отмежеваться от использования его в смыслах диаметрально противоположных. Например, не надо искать откровенно гомофобного читателя, чтобы воспринять эти рассуждения о центральности и мощи мужского гомосексуального страха как действующие в пользу обоснованности патологизирующей стратегии судебной защиты «гомосексуальной паники» тех, кто нападает на геев. Для этого потребуется только неспособность или нежелание понять, насколько неизбежно эти рассуждения вписываются в свой контекст — то есть в контекст анализа, основанного на всеобъемлющем скептицизме по отношению к позитивистской таксономической нейтральности психиатрии, классифицирующей последовательности (т. е. в отношении «индивидуальной ответственности») закона. И если, предвидя эту возможность непосредственно такой интерпретации, я, надеюсь, смогла прибегнуть к объяснениям, чтобы предотвратить это, все еще остается слишком много других неожиданностей.

Конечно же, умалчивание этих проблем действует как усиление «статус-кво» гораздо более предсказуемо и неумолимо, чем любая попытка анализа. Все-таки напряженный труд и удовольствие, которые, пусть в идеале, дают возможность автору вложить в такой проект свои лучшие мысли, могут отличаться от усилий, которые приложит читатель.

* * *

В последней части Введения я постараюсь артикулировать некоторые пока непроясненные методологические, дефиниционные и аксиоматические обоснования этого книжного проекта и также объяснить свое представление о его положении в пространстве более общих проектов, занимающихся пониманием сексуальности и гендера.

Любой работающий в области гей-лесбийских исследований в культуре, где однополое сексуальное желание все еще структурируется по его различительному статусу публичного/приватного, одновременно маргинально и центрально, как *открытый секрет*, обнаруживает, что черта, проходящая между шепетильностью в отношении истин, которые оказываются до идиотизма очевидными, и изречением банальностей, которые вполне способны возбуждать и разъединять, загадочно непредсказуема. Имея дело с конструкцией открытого секрета, мы можем попасть в пространство изменяющегося только благодаря бесстыдству рисковать очевидным. В этом Введении я должна буду методично вкапываться в некоторое нагромождение отдельных, прежде неартикулиро-

ванных предположений и выводов, относящихся к длительному проекту антигомофобного анализа. Все эти гвозди и куски проволочного ограждения: наскучат ли они, шокируют ли?

По правилу привилегии самого очевидного:

Аксиома 1: Люди отличаются друг от друга.

Поразительно, как мало мы имеем достойных концептуализирующих инструментов, чтобы разобраться с этим самоочевидным фактом. Лишь малая толика невообразимо грубых тесаков для категоризации были с усердием сотворены для современной критической и политической теории: гендер, раса, класс, национальность, сексуальная ориентация — пожалуй, все, из доступных характеристик. Вместе с соответствующими демонстрациями работы механизмов, с помощью которых они конструируются и воспроизводятся, они необходимы и могут, в сущности, преобладать над всеми или некоторыми другими видами различий и сходств. Но сестра или брат, лучший друг, одноклассник, родитель, ребенок, любимый, бывший, наши семьи, пристрастия и неприязни, не говоря уже о странных отношениях на работе, на отдыхе и в общественной активности, доказывают, что даже те люди, которые разделяют большинство наших характеристик, вырубленных этими тесаками, могут отличаться от нас, друг от друга как представители разных видов.

Я полагаю, каждый понимает, и, возможно, каждый, кто вообще живет, обладает достаточно богатым, несистематизированным запасом соответствующей месту и времени таксономии для нанесения на карту возможностей, опасностей и стимулов своего человеческого и социального ландшафта. Возможно, именно люди, испытавшие угнетение или подчинение, особенно *нуждаются* в этом знании; и я имею в виду великодушное, бесценное искусство сплетничать, издавна ассоциирующееся в европейском сознании со слугами, женственными мужчинами и геями, со всеми женщинами, которое служит не столько для распространения значимых новостей, сколько для оттачивания необходимых навыков для постановки, апробирования и использования нерационализированных предварительных гипотез о том, *какие же люди* бывают в этом мире.²⁷ Творчество Пруста и Генри Джеймса является здесь примером: проекты таксономии для *здесь и сейчас*, для формирования и расформирования и *перереформирования* и *переразложения* сотен старых и новых категорийных образов, относящихся ко всему, из чего строится мир.

Я не предполагаю, что все геи-мужчины и все женщины обладают навыком в сиюминутной таксономической работе, совершающейся посредством досужей болтовни, но будет разумно предположить, что нашим конкретным потребностям может повредить их недооценка. Для некоторых людей в эпоху СПИДа постоянное, навязчивое давление утраты может прояснить эту потребность: когда человек пытается пред-

ставить себе утрату любимых людей или справиться с ней, попытки склониться к теоретической тривиализации или к сентиментальности кажутся абсурдными, когда необходимо отдать должное многогранному набору качеств этого самого друга. Еще более драматично то, что, несмотря на высокую вероятность обратного, — всякий теоретически или политически интересный интеллектуальный проект в послевоенные годы в конечном итоге действовал как обеззаконивающий нашу возможность задаться вопросом или детально осмыслить множественные неустойчивые ситуации, в которых люди могут быть похожими друг на друга или отличаться друг от друга. Этот проект не становится бесполезным благодаря демонстрации того, как разительно люди отличаются друг от друга и даже от самих себя. Деконструкция, созданная как наука *diffé(e/a)nce*, одновременно настолько фетишизировала идею различия и настолько расплыла ее возможные воплощения, что ее самые бескомпромиссные последователи будут последними, к кому стоит обращаться за помощью, чтобы понять, что такое конкретные различия. То же самое, похоже, относится к теоретикам постмодернизма. Теория психоанализа, разве что через почти астрологически богатую множественность ее пересекающихся таксономий физических зон, стадий развития, репрезентационных механизмов и уровней сознания, казалось, обещала создать подходящую амплитуду в дискуссии о том, что такое отличающиеся люди, — и вместо этого превратилась, в траектории ограничительного русла всевозможных институтов, в лошеную систему элегантных операционных субстанций наподобие *матери, отца, доэдипального, эдипального, другого* или *Другого*. В рамках менее теоретизированного контекста внутри психоаналитического дискурса, в сущности жестко и узко, нормативная этическая программа надолго обрела убежище под крышей эволюционных нарративов в метафорическом ряду здоровья и патологии.²⁸ Более решительными способами марксистский, феминистский, постколониальный и другие ангажированные критические проекты углубили понимание некоторых основополагающих инструментов различия, возможно вынужденно за счет более эфемерных или менее глобальных побуждений к группированию на основе отличий. В каждой из этих попыток так много было приобретено в смысле нахождения путей для деконструкции категории *индивидуума*, что нам стало легко читать, скажем, Пруста как лучшего эксперта, владеющего современными технологиями по демонтажу таксономий отдельной личности. Однако мы не обладаем теоретической базой для все возрождающейся и устойчивой живительной энергии таксономии, от которой зависит сам Пруст. И эти декларации наших неизбежных антигуманистических дискурсов определенно сдали позиции глубинных, комплексных вариаций на откуп гуманистической либеральной «терпимости»,

или репрессивной тривиализации в лучшем случае, в худшем — реакционному подавлению.²⁹

Это, помимо всего прочего, способ сказать, что существует огромная система явлений, которые *мы знаем* и должны знать о самих себе и друг о друге, для которой мы, насколько я вижу, почти не создали теоретического пространства. Меняющееся граничное сопротивление «литературы как таковой» в отношении «теории» может маркировать, попутно с другими значениями, поверхностное напряжение в этом резервуаре нерационализированных, нетаксономических энергий; однако, будучи определенно репрезентативными, эти энергии ни в каком смысле не являются непосредственно литературными.

В конкретной сфере сексуальности, например, я полагаю, многие из нас знают о тех вещах, которые могут дифференцировать даже людей идентичного гендера, расы, национальности, класса и «сексуальной ориентации», каждая из которых тем не менее, будучи принята всерьез как чистое *различие*, сохраняет неопределенный потенциал разрушения многих форм привычного представления о сексуальности.

- Даже идентичное генитальное действие имеет разное значение для разных людей.
- Для некоторых людей ореол «сексуального» вряд ли распространяется дальше границ отдельных генитальных актов; для других оно находится с ними в свободной связи или же находится в свободном от них состоянии.
- Сексуальность составляет большую долю самоидентификации у одних людей и малую — у других.
- Некоторые люди очень много думают о сексе, некоторые — мало.
- Некоторые предпочитают много секса, другие — мало или никакого.
- Многие люди испытывают богатейшие ментальные/эмоциональные переживания по поводу сексуальных актов, в которых они не участвуют или даже не хотят участвовать.
- Для некоторых людей важно, чтобы секс был включен в контекст, созвучный со значением, нарративом и связанностью с другими аспектами жизни; для других важно, чтобы не был включен; третьи даже не представляют, что такое возможно.
- Для некоторых людей предпочтение конкретного сексуального объекта, акта, роли, зоны или сценария настолько незабываемо и длительно, что может переживаться как единственно свойственное им; для других это запоздалое переживание и ощущается как случайное, произвольное.
- Для некоторых людей возможность плохого секса настолько неприятна, что они всячески избегают его; для других это не так.

- Для одних людей сексуальность является пространством невероятных открытий и когнитивной гиперстимуляции. Для других сексуальность обеспечивает необходимое пространство рутинного обитания и когнитивную пустоту.
- Некоторые люди любят спонтанные сексуальные сцены, другие предпочитают прописанные сценарии, третьи любят то, что выглядит спонтанно, но в то же время абсолютно предсказуемо.
- Сексуальная ориентация некоторых людей ярко помечена аутоэротическим удовольствием и историями — порой даже больше, чем любые аспекты аллоэротического выбора объекта. Для других аутоэротика кажется вторичной или невыраженной, если вообще существует.
- Некоторые люди — гомо-, гетеро- и бисексуалы — ощущают свою сексуальность глубоко вписанной в матрицу гендерных значений и гендерных различий. Сексуальность других абсолютно иная.

Список индивидуальных различий легко можно продолжить. То, что многие из них могут меняться в зависимости от периода жизни одного человека, от одного человека к другому, что многие из них обладают отличительными свойствами, переходящими от одного человека к другому, я думаю, не умаляет их право прокладывать разграничительные линии; демаркация имеет место в более чем одном пространстве, на более чем одном уровне. Влияние этого перечня различий сильно зависит от веры в собственные представления, самосознание или самоотчет отдельного человека, в той сфере, которая печально известна своим сопротивлением здравому смыслу и самоанализу: где оказалась бы вся поразительная и видоизменяющаяся западная романтическая традиция (я включаю сюда и психоанализ), если бы человеческое сексуальное желание, помимо всего прочего, хотя бы на мгновение оказалось прозрачным для самих людей. Впрочем, меня больше впечатляет скорее то нахальство, с которым можно было бы отрицать существование этих различий, чем склонность верить в них. Решительное дефиниционное отчуждение от кого бы то ни было, с любых теоретических позиций, право определить и назвать свое собственное сексуальное желание — это узурпация, ведущая к серьезным последствиям. В двадцатом веке, когда сексуальность стала выражением как идентичности, так и знания, это может явиться наиболее интимной формой насилия. Подобное действие несет в себе потенциальную угрозу институционального и светского давления. И оно, разумеется, является центральным в современной истории гомофобного угнетения.

Более надежной практикой было бы предоставление как можно большего доверия тем, кто считает возможным взять на себя ответственность за сексуальные различия — взвешивать собственную веру, ко-

гда это вообще необходимо, в пользу менее нормативного, а следовательно, более рискованного, дорогостоящего самоотчета. Применение такой практики означает включение в широко защищенное пространство на карте соперничающих сексуальных дефиниций не только простого агностицизма, но и более активного потенциального плюрализма. Если, например, те многие, кто идентифицирует себя как геев, воспринимают гендер избранного сексуального объекта или некую другую протоформу индивидуальной гендерной идентичности как совершенно неизменяющую и постоянную компоненту индивидуума, я не вижу оснований ни для субординации этой позиции, ни для надления привилегиями в отношении тех самоидентифицирующихся геев, чей опыт идентификации или выбора сексуального объекта проявился для них относительно поздно или даже является произвольным. В такой гомофобной культуре любой принявший опасное решение геевской самоидентификации должен, по крайней мере, обладать правом на признание его добросовестности и права на самообозначение. Поскольку определено существуют риторические и политические основания, по которым имеет смысл в конкретной ситуации делать выбор между артикулированием, например, эссенциалистской и конструктивистской (или миноритизирующей и универсализующей) позиций гей-идентичности, с той же определенностью существуют риторические и политические основания для формального признания обеих позиций. Помимо всего этого, существуют основополагающие причины для уважения. Я чувствовала, что для того, чтобы это исследование было наиболее четким, мне необходимо оформлять его вопросы таким образом, чтобы сделать минимально возможной любую делегитимизацию ощущаемых и отмечаемых различий, а также максимально облегчить давление платонических дефиниций. Моей принципиальной стратегией было постоянно вопрошать себя, как действуют определенные категоризации, какого рода постановления они производят и какие отношения возникают в этом случае, а не то, что они, в сущности, означают.

Аксиома 2: Изучение сексуальности не сопряжено с изучением гендера; соответственно, антигомофобное исследование не сопряжено с феминистским исследованием. Но мы не знаем заранее, как они будут различаться.

Секс, гендер, сексуальность: три понятия, чьи утилизирующие взаимосвязи и аналитические взаимосвязи почти непоправимо неопределенны. Составление карты пространства между чем-то, называемым «пол», и чем-то, называемым «гендер», стало одним из самых важных и успешных предприятий феминистской мысли. Для целей этого предприятия «пол» являл собой обозначение определенной группы неизменных биологических дифференциаций между членами вида *homo sapiens*, у которых имеются XX и XY хромосомы. Это включает в себя (или обычно

считается, что включает) более или менее характерные диморфизмы генитального строения, волосяного покрова (в популяциях, имеющих волосы на теле), распределение жира, гормональные функции и репродуктивную способность. «Пол» в этом смысле — это то, что я вычленила как «хромосомный пол», — рассматривается как относительно минимальное сырье, из которого происходит социальное конструирование *гендера*. Гендер, в свою очередь, это гораздо более детально продуманное, более полно и жестко дихотомированное социальное производство и воспроизводство мужской и женской идентичностей и форм поведения — личностей мужского и женского пола — в культурной системе, для которой «мужское/женское» действует как некий изначальный эталон бинаризма, оказывающий влияние на формирование и значение многих многих других бинаризов, чья видимая связь с хромосомным полом нередко незначительна или просто не существует. По сравнению с хромосомным полом, который рассматривается (в этих дефинициях) как нечто неизменное, имманентно присущее индивидууму и биологически основанное, значение гендера видится как культурно изменяемое и вариативное, высоко относительное (в том смысле, что каждый из бинаризованных гендеров определяется преимущественно по отношению к другому) и неотделимое от истории разделения властных полномочий между гендерами. Эта феминистская схематизация того, что Гейл Рубин определяет как «систему пол/гендер»,³⁰ систему, посредством которой хромосомный пол превращается в и воспроизводится как культурный гендер, была склонна минимизировать атрибуцию разных форм человеческого поведения и разных идентичностей к хромосомному полу и преувеличивать их атрибуцию к социализованным гендерным конструктам. Целью этой стратегии было накопление аналитических и критических средств для описания социального устройства, неблагоприятного для женщины, превалирующего в данное время в данном обществе, ставя под вопрос их узаконивающие идеологические обоснования в биологически обусловленных нарративах «природного».

«Пол» («sex»), однако, — это понятие, далеко превосходящее границы хромосомного пола. То, что история его употребления нередко перекрывает понятие, более корректно обозначаемое нынче как «гендер», всего лишь одна проблема. («Я могу любить только человека моего пола». Не следует ли «полу» стать гендером в этой фразе? «М. стало ясно, что подходящий человек был противоположного пола». Гендеры — постольку, поскольку их два и они определяются в противопоставлении, — могут считаться противоположностями; но в каком смысле ХХ противоположен «полу» ХУ?) Помимо хромосом, впрочем, ассоциирование «пола» именно через физическое тело, с воспроизводством и с генитальной деятельностью и ощущениями, бросает новые вызовы концептуальной ясности и даже возможности дифференцирования пол/гендер.

Есть очень мощный аргумент, что первостепенной (или самой главной) проблемой в гендерном разделении и гендерной борьбе является вопрос о том, кто должен контролировать специфическую женскую (биологическую) репродуктивную способность. Действительно, ассоциативная близость между некоторыми из самых знаменательных форм гендерного подавления и «фактов» относительно женского тела и женской репродуктивной деятельности сподвигла некоторых радикальных феминисток более или менее серьезно усомниться в необходимости разделения пол/гендер. По этим причинам даже употребление концепций с использованием «системы пол/гендер» в феминистской теории позволяет использовать «пол/гендер» только для того, чтобы очертить проблемное поле, а не дать четкое определение. Мое собственное, весьма нечеткое использование этих выражений в данной книге только обозначает проблематизированное пространство системы пол/гендер, и весь набор физических и культурных отличительных признаков мужчин и женщин описывается просто под рубрикой «гендер». Я делаю это для того, чтобы уменьшить вероятность путаницы между «полом» в значении «пространство различий между мужской и женской особью» (то, что я группирую под названием «гендер») и «сексом» в значении сексуальности.

Поскольку в то время, как целая область того, что современная культура относит к «сексуальности», но *также* называет «сексом» — совокупность действий, ожиданий, нарративов, удовольствий, формирования идентичностей и знаний как у мужчин, так и у женщин, того, что стремится особенно плотно группироваться вокруг определенных генитальных ощущений, но не определяется ими адекватно, — этот конгломерат практически невозможно расположить на карте, ограниченной феминистским обозначением пол/гендер. В том смысле, в каком она (сексуальность) концентрируется, или отталкивается от определенных физических позиций, действий и ритмов, связанных (пусть условно) с рождением потомства или его возможностью, «сексуальность» в этом смысле может сопрягаться с «хромосомным полом»: биологически необходимой для выживания вида, имманентной индивидууму, социально неизменной данностью. Но в той степени, в которой, как доказывал Фрейд и предполагал Фуко, явно сексуальная природа человеческой сексуальности стремится превосходить примитивную хореографию воспроизводства или отличаться от нее, «сексуальность» может оказаться прямой противоположностью тому, что мы изначально определили как (базирующийся на хромосомах) пол: она скорее может занимать, даже более, чем «гендер», полярную позицию относительного, социального/символического конструкта, переменной величины, репрезентативного (смотри Таблицу 1). Принять во внимание, что, согласно этим различным открытиям, *нечто* обоснованно названное сексом или сексуальностью распространяется по всему пространству концептуального и эмпирического,

значит зафиксировать проблему менее разрешимую, чем необходимость выбора аналитических парадигм или обусловленное снижение семантического значения; это скорее верно по отношению к целому набору современных мировоззрений и интуиций — считать, что секс/сексуальность способен репрезентировать весь спектр между самыми интимными и самыми социальными, самыми предопределенными и самыми случайными, самыми физическими и самыми символическими, самыми врожденными и самыми приобретенными, самыми автономными и самыми отношенческими характеристиками человеческого существа.

Биологическое	Культурное
Присущее	Конструкт
Имманентное индивидууму	Относительное
<i>Конструктивистский феминистский анализ</i>	
хромосомный пол -----	гендер
	гендерное неравенство
<i>Радикальный феминистский анализ</i>	
хромосомный пол	
репродуктивные отношения-----	отношения воспроизводства
половое неравенство	половое неравенство
<i>Анализ под влиянием Фуко</i>	
хромосомный пол-----	воспроизводство-----сексуальность

Таблица 1. Картография пола, гендера и сексуальности.

Если все это верно в отношении дефиниционной связи между сексом и сексуальностью, насколько еще более проста эта связь между сексуальностью и гендером. Одной из посылок этого исследования будет то, что всегда существует по крайней мере хотя бы возможность для аналитического дистанцирования между гендером и сексуальностью, даже если конкретные манифестации или черты конкретных видов сексуальности относятся к тому, что неотвратимо погружает женщин и мужчин в дискурсивные, институциональные и телесные тенета гендерных дефиниций, гендерных отношений и гендерного неравенства. Этот вопрос также был поднят Гейл Рубин:

«Я хочу поспорить с утверждением, что феминизм является или должен быть привилегированным пространством для теории сексуальности. Феминизм — это теория гендерного угнетения. ... Гендер влияет на деятельность сексуальной системы, а сексуальная система всегда имела гендерные проявления. Но, хотя пол и гендер взаимосвязаны, они не одно и то же».³¹

В этой книге, как и у Рубин, развивается гипотеза о том, что вопрос гендера и вопрос сексуальности, несмотря на то, что они неотделимы друг от друга настолько, что каждый из них может быть выражен только в понятиях другого, все же не один и тот же вопрос; что в западной культуре двадцатого века гендер и сексуальность представляют собой две аналитические оси, которые вполне продуктивно можно представить как отличные друг от друга, наподобие, скажем гендера и класса или класса и расы. Другими словами, различны минимально, но с пользой.

Таким образом, исходя из этой гипотезы, так же как мы научились предполагать, что каждая проблема, касающаяся расы, должна воплощаться через специфику классового положения — а каждый классовый вопрос неизбежно воплощается через специфику гендерного положения, — так же каждый вопрос о гендере неизбежно воплощается через специфику конкретной сексуальности и наоборот; тем не менее имеет смысл сохранять аналитические оси нетронутыми.

Можно возразить на эту аналогию так, что гендер *по определению* встроен в детерминанты сексуальности в том смысле, что ни один из них не переплетается дефиниционно с, например, детерминантами класса или расы. Совершенно очевидно, что без концепции гендера попросту не могло бы существовать концепции гомо- или гетеросексуальности. Но многие другие аспекты сексуального предпочтения (авто- или аллоэротика, в рамках одного или разных поколений, видов и т.п.) не имеют таких явных, ярко выраженных дефиниционных связей с гендером; более того, некоторые проявления сексуальности могут быть привязаны не к гендеру, а, *наоборот*, к различиям или сходству по расе или классу. Предпринимаемое в двадцатом веке дефиниционное сужение сексуальности как таковой к бинарному исчислению гомо- и гетеросексуальности — весомый факт, но факт чисто исторический. Использование этого *fait accompli* как причины для аналитического смешения сексуальности как таковой с гендером делает неясным то, до какой степени сам этот факт требует разъяснений. Также существует риск утратить понимание тесной связи между всеми этими аналитическими концептами, формирующими друг друга: приняв за данность *интимность* отношений между сексуальностью и гендером, мы рискуем впасть в ошибку допущения дефиниционной *отделенности* каждого из них от детерминант, скажем, расы или класса.

Возможно также, что в самой концепции гендера присутствует разрушительное предубеждение в отношении гетеросоциальных или гетеросексистских установок. Это предубеждение может встраиваться в любую гендерно основанную аналитическую проекцию в том смысле, что гендерные дефиниции и гендерная идентичность должны быть взаимосвязаны внутри самих гендеров — то есть в любой гендерной системе женская идентичность или принадлежность конструируется по анало-

гии, принципу дополнительности, или противопоставлению мужской, как и наоборот. Хотя многие гендерно основанные формы анализа включают в себя порой весьма глубокие описания внутригендерных отношений и поведения, окончательной дефиниционной задачей любого гендерного анализа неизбежно становится диакритическая граница между двумя разными гендерами. Это дает гетеросоциальным и гетеросексуальным отношениям концептуальную привилегию с непредсказуемыми последствиями. Несомненно, следы, знаки, признаки и наследие этой диакритической границы между гендерами присутствуют повсюду, действуя изнутри и предопределяя опыт каждого гендера и его внутригендерные отношения; нельзя обойтись без гендерного анализа даже в чисто внутригендерном контексте. Тем не менее можно предположить, что аналитическая острота притупляется и рассредоточивается, когда увеличивается дистанция между субъектом анализа и социальной границей, разделяющей два гендера. Было бы нереалистично ожидать глубокого, детального анализа однополых отношений, используя оптику, калиброванную прежде всего на более грубой структуре гендерных различий.³² Следовательно, создание альтернативного аналитического стержня — назовем его сексуальностью — может стать особенно актуальным проектом для гей/лесбийского и антигомофобного исследования.

Естественным следствием Аксиомы 2 будет предположить, что гей/лесбийское и антигомофобное исследование все еще много может почерпнуть из той системы постановки вопросов, которые научилось задавать феминистское исследование, — но ровно до тех пор, пока мы не требуем получения тех же ответов в обоих диалогах. Если сравнить феминистскую и гей-теорию в их нынешнем состоянии, новизна и соответствующее относительное недоразвитие гей-теории наиболее явственно просматриваются в двух проявлениях. Во-первых, как феминистки, мы уже привыкли задаваться вопросом, который еще не умеем задавать как антигомофобы: как всевозможные формы угнетения систематически переплетаются друг с другом и, в особенности, как человек, ущемленный одними формами подавления, может, оставаясь в том же положении, обладать всеми полномочиями в других? Например, приниженный статус образованных женщин в нашем обществе маркирует, с одной стороны, их отличие от образованных мужчин и в то же время — их преимущества перед женщинами и мужчинами более низших классов. Опять же, принятие женщиной имени мужа в браке демонстрирует одновременно ее подчиненность как женщины и ее привилегированность как гетеросексуалки. Опять же, особая чувствительность общества к изнасилованию женщин стала в этой стране мощным инструментом для расистского давления со стороны белых мужчин и женщин. То, что один человек является или угнетателем, или угнетенным или же если он является и тем, и другим, то это не взаимосвязано, все еще остается при-

знанным убеждением, высказываемым в мужской гей-литературе и в активизме,³³ в отличие от того, как это давно описывается в феминистской литературе.

Действительно, это был долгий и болезненный путь к осознанию, но не того, что все виды угнетения сравнимы, а того, что они структурированы по-разному и, следовательно, перекрывают друг друга в комплексных формах реализации, и первый эвристический прорыв в социалистической феминистской теории и открытие женщин небелой расы.³⁴ Это понимание приводит к следствию о том, что сравнение разных стержней угнетения является основополагающей задачей вовсе не для того, чтобы ранжировать виды угнетения, а, наоборот, потому, что каждый из этих видов подавления находится в определенном отношении к конкретным узлам культурной организации. Я буду доказывать здесь, что особая центральность гомофобного притеснения в двадцатом веке есть результат неотделимости от системы знания и процесса познания в современной западной культуре в целом.

Второй и, возможно, более эвристический скачок феминистской мысли заключается в осознании того, что категории гендера и, следовательно, гендерного угнетения могут обладать структурирующей силой для мыслительных построений, для основ культурной дискриминации, которые тематически совсем не связаны с гендером. Через событийный ряд, построенный посредством деконструктивного осмысления и методик, описанных выше, мы поняли теперь, как знатоки феминизма, противопоставляемая природе, публичное, противопоставляемое приватному, разум, противопоставляемый телу, активность, противопоставляемая пассивности, и т. д., и т. п., являются, при определенном давлении культуры и истории, приемлемым основанием для проведения имплицитных аналогий в отношении мужчин и женщин; и, более того, что способность анализировать такие номинально негендерные понятия может явиться ошибкой пристрастности в гендерной политике прочтения. Это дало нам возможность задавать гендерные вопросы касательно текстов даже там, где культурно «маркированный» гендер (женский) не представлен ни как автор, ни как тематика.

Похоже, что дихотомия гетеросексуал/гомосексуал, появившаяся в западном дискурсе двадцатого века, довольно удачно приспособилась к набору аналитических ходов, усвоенных из деконструктивного периода феминистской теории. Фактически, дихотомия гетеросексуал/гомосексуал вписывается в деконструирующий шаблон гораздо искуснее, чем даже мужчина/женщина, и, следовательно, что важно, по-другому. Самое драматическое отличие между гендером и сексуальной ориентацией — то, что практически все люди публично и неизменно с самого рождения приписаны к одному или другому гендеру, — похоже, означает, что это

скорее сексуальная ориентация с ее гораздо большим потенциалом для изменения, неопределенностью и репрезентативной двойственностью может быть более удачным объектом деконструкции. Первичная сущность сексуального предпочтения сохраняется с гораздо меньшей легкостью, ее неясность более очевидна, гораздо чаще подчеркивается и оспаривается на каждом шагу в культуре, чем первичная сущность гендера. Это не аргумент в защиту любого эпистемологического или онтологического предпочтения стержня сексуальности гендерному стержню, но мощный аргумент в пользу их потенциального разграничения.

Даже задавшись целью конструирования контекста сексуальности, не редуцируемой до гендера, должно быть ясно тем не менее, что существуют определенные отклонения у гей/лесбийской и антигомофобной теории по отношению к более крупному проекту создания теории сексуальности. Они вряд ли сопрягаются друг с другом. И это верно не потому, что «гей/лесбийская и антигомофобная теория» не может включать в себя гетеросексуалов столь же успешно, как выбор сексуального объекта своего пола (так же, как «феминистская теория» якобы не может включать в себя мужчин наряду с женщинами), но скорее потому, что, как мы отмечали, сексуальность простирается в очень многих измерениях, которые отнюдь не могут быть описаны в терминах гендера сексуального объекта. Некоторые из этих измерений привычно сводятся под рубрику выбора объекта, так что конкретная дискриминация осуществляется (например) по отношению к *акту* или (другой пример) к *эротической локализации*, явственно или неявно, в случае мобилизации выбора объекта. Нередко приходится слышать о стадии развития, называемой «гетеросексуальная генитальность», как будто кросс-гендерный выбор объекта автоматически исключает желания, направленные на рот, анус, грудь, ступни и т. п.; известно, что анальная эротика в мужской гомосексуальности усиливается под взглядом гетеросексистской СПИ-Дофобии; и вообще, всякого рода другие исторические влияния привели к дегенитализации и телесной диффузии во многих популярных, тем более в лесбийских представлениях о лесбийской сексуальности. Другие измерения сексуальности, однако, выделяют другую классификацию выбора объекта (например, человек/животное, взрослый/ребенок, одиночный/множественный, аутоэротический/аллоэротический) или даже не относятся к выбору объекта (например, оргазматический/неоргазматический, некоммерческий/коммерческий, только с использованием тела/используя искусственные средства, приватно/публично, спонтанно/по сценарию).³⁵ Некоторые из этих других измерений сексуальности имели высокое диакритическое значение в разных исторических контекстах (например, человек/животное, аутоэротический/аллоэротический). Другие, такие как выбор объекта взрослый/ребенок, очевидно, имеют сегодня высокую значимость, но не полностью отнесены к бинаризму гете-

ро/гомосексуального. В то же время другие, включая массу тех, что я не упомянула или не могла вспомнить, существуют в этой культуре как недиакритические отличия, отличия, которые мало отличаются вне своей группы — кроме того, что гиперинтенсивное структурирование сексуальности в нашей культуре располагает некоторые из них на самой границе между законным и незаконным. Я хочу в любом случае подчеркнуть, что подспудная конденсация «теории сексуальности» в «гей/лесбийскую и антигомофобную теорию», что неким образом соотносится с нашим доньше неоспоренным прочтением фразы «сексуальная ориентация» как «выбор гендера объекта», в лучшем случае серьезно искажена специфичностью исторического контекста.

Аксиома 3: Невозможно решить заведомо, насколько имеет смысл концептуализировать лесбийскую и мужскую гей-идентичность разом. Или по отдельности.

Хотя с самого начала проекта этой книги было ясно, что ее центральной темой будет определение мужской сексуальности, теоретический инструментарий для очерчивания периферических границ вокруг этого центра оказался довольно слабым. Подходы ощутимо менялись даже в процессе написания. В особенности интерпретационные рамки, в которых лесбийские авторы, читательницы и респондентки склонны воспроизводить мужские рефлексии о гомо/гетеросексуальности, находятся в фазе постоянной дестабилизации ожидания.

Лесбийский интерпретирующий контекст возник в начале этого проекта со стороны феминисток-сепаратисток в начале 1970-х годов. В соответствии с этим контекстом не существует значимых оснований для сравнения мужского геевского и лесбийского опыта и идентичности; напротив, женщины, любящие женщин, и мужчины, любящие мужчин, находятся абсолютно на разных концах гендерного спектра. Позиции, на которых строилось это убеждение, были весьма радикальными: наиболее важным явилась, как мы будем рассматривать в следующей главе, потрясающе действенная ревизия, с позиции женского, однополого желания как именно определяющего центра для каждого гендера, в противовес кросс-гендерному, или пограничному, местоположению. Таким образом, женщины, любившие женщин, рассматривались как *более* женщины, мужчины, любившие мужчин, как, вполне возможно, более мужчины, чем те, кто желает пересекать границы гендера. Стержень сексуальности, с этой точки зрения, не только сопрягался со стержнем гендера полностью, но и именно в самом сущностном смысле: «Феминизм — это теория, лесбейство — практика». По аналогии, мужская гомосексуальность могла представлять собой практику (и зачастую так и трактовалась), для которой мужское превосходство было теорией.³⁶ Соответственное прочтение современной гендерной истории неявно предполагалось и, в свою очередь, продвигалось далее этой гендерно-

полагалось и, в свою очередь, продвигалось далее этой гендерно-сепаратистской схемой. Согласно, например, представлениям Адриенн Рич о многих аспектах женской взаимосвязанности, формирующей «лесбийский континуум», эта история обрела свое идеальное воплощение в работе Лириан Федерман, скорректировавшей дефиниционные непоследовательности и пертурбации между более или менее сексуализованными, более или менее запретными и более или менее ориентированными на гендерную идентичность формами женской однополой привязанности.³⁷ Поскольку лесбийский выбор объекта рассматривался как выражение специфичности женского опыта и сопротивления, поскольку в результате возникало симметрично противоположное толкование мужского геевского выбора объекта и поскольку феминизм неизбежно определил мужской и женский опыты и интересы как различные и противоположные, напрашивался вывод, что понимание мужского гомо/гетеросексуального определения вряд ли может предложить что-либо полезное или интересное для лесбийского теоретического проекта. Более того, мощный импульс гендерно поляризованной феминистской этической схемы дал возможность глубоко антигомофобного толкования лесбийского желания (как квинтэссенции женского), провоцировав соответственное гомофобное толкование мужского гомо-желания (как квинтэссенции мужского).

С конца 1970-х, однако, стали появляться критические реакции на трактовку того, как лесбийское и гомосексуальное мужское желание и идентичности располагаются по отношению друг к другу. Каждый такой вызов порождал то освежающее ощущение, что лесбиянки и мужчины-геи могут поделиться друг с другом важными, пусть и спорными аспектами своих историй, культур, идентичностей, политик и судеб. Эта критика возникла из «сексуальных войн» внутри феминизма по поводу порнографии и садомазохизма, что воспринималось многими феминистками из лагеря «за секс» как обнажение разрушительной взаимосвязанности между определенным, то есть привилегированным, феминистским толкованием сопротивляющейся женской идентичности, с одной стороны, и наиболее репрессивными буржуазными конструктами чистой женственности, восходящими к девятнадцатому веку. Подобные возражения исходили и от тех, кто напоминал и требовал признания отважной истории трансгендерных лесбийских ролей и идентичностей.³⁸ Вместе с этим новым историческим обретением видимости самоопределяющихся мужеподобных лесбиянок обнаружили новые особенности, показывающие, насколько мужские и женские гомосексуальные идентичности фактически конструировались посредством и в связи друг с другом — в течение двадцатого века — через различные гомофобные дискурсы профессиональной экспертизы, но также не менее активно самими лесбиянками и геями.³⁹ Неукротимая, почти бесклассовая популярная культура,

в которой Джеймс Дин являлся не менее обожествляемым идолом для лесбиянок, чем Грета Гарбо или Марлен Дитрих для мужчин-геев, оказалась способной сопротивляться чистому феминистскому теоретизированию.⁴⁰ Именно в этом контексте возникла и стала развиваться потребность для осмысления стержня сексуальности, отличного от гендера. И после того как либеральные феминистки из лагеря «антисадомазохизм, антипорнография» начали вешать ярлыки и клеймить отдельные виды сексуальности, объединив свои силы с истеблишментом в установлении санкций против всех форм сексуальной «девиантности», достаточно было случиться эпидемии ВИЧ и возникнуть ужасающему дискурсу непредопределенности геноцида от СПИДа, чтобы реконструировать категорию извращения, достаточную для признания гомосексуалов любого гендера. Новое озлобление гомотофобии 1980-х, направленное одинаково против женщин и мужчин, несмотря на то, что, по медицинским обоснованиям, исходя из элементарной логики, лесбиянок следовало освободить от этих обвинений,⁴¹ грубо напомнило, что скорее для друзей, чем для врагов, мужчины и женщины-гомосексуалы являются различными группами. Точно так же внутреннее развитие движения гомосексуалов показывает, что мужчины и женщины все больше, пусть не на равных и не без противоречий, работают вместе с общей антигомофобной повесткой дня. Вклад лесбиянок в современное геевское и антиСПИДовское движение является весомым не вопреки, а благодаря прошлым урокам феминизма. Феминистские взгляды на тему здоровья, гражданского неповиновения, на классовую, расовую политику и на сексуальность играли центральную роль в становлении антиСПИДовского активизма. То, что лесбиянки могут почерпнуть из этого, включает в себя обогащенное, плюралистичное понимание границ гендера и сексуальной идентичности.

Таким образом, уже нет смысла, если он когда-либо был, просто считать, что мужской анализ гомо/гетеросексуальных характеристик не имеет значения или интереса для лесбиянок. В то же время не существует алгоритма для априорных представлений о том, в чем же заключаются эти интересы и какое значение это имеет для лесбиянок. Я думаю, это неизбежно, что работа по определению периферийных границ любого теоретизирования о мужчинах-геях, *vis-a-vis* к лесбийскому опыту и идентичности, может быть проделана только с точки зрения альтернативного феминистского теоретического осмысления, а не из сердцевины мужского проекта.

Как бы ни была я заинтересована в понимании этих границ и важности их последствий, проект этой книги также не в состоянии претендовать на описание их географии и не может их определить. Это ограничение, можно сказать, несет в себе ущерб, особенно потому, что повторяет и продолжает уже скандально затянущееся умолчание: то, до какой степени женские сексуальные и особенно гомосексуальные опыт и

определение были поглощены мужскими на рубеже веков, которым я в основном посвящаю эту книгу, должны быть вновь поглощаемы в *этой* работе. Если бы можно было провести четкие границы этого поглощения, оно было бы менее деструктивно, но «поглощение» — это субстанция, не допускающая точности. Проблема очевидна здесь даже на уровне терминологии и оказывает свое влияние в этой работе не менее, чем в других; я уже обсуждала выше свой выбор употребления терминологии. В соответствии с этим выбором «гей-теория», которую я сравниваю с феминистской теорией, не означает исключительно мужскую гей-теорию, но с целью сравнения она включает и лесбийскую теорию постольку, поскольку (а) она не так просто сопрягается с феминистской теорией (т. е. в ней гендер не поглощает сексуальность *полностью*) и (б) не отрицает априори теоретическую преемственность между мужской гомосексуальностью и лесбийством. Но, опять же, пределы, конструкция, значение и в особенности история такой теоретической преемственности — не говоря уже о последствиях для практической политики — должны быть открыты для любых вопросов. То, что гей-теория, оставаясь в этом определении и настойчиво концентрируясь на лесбийском опыте, все же может включать в себя сильные феминистские идеи, можно продемонстрировать на трудах таких разных авторов, как Гейл Рубин, Одри Лорде, Кэйти Кинг и Черри Морага.

Аксиома 4: *Извечные, почти ритуализованные дискуссии о природном или усвоенном происходят на очень зыбкой почве смутных представлений и фантазий об усвоенном и природном.*

Если и существует обязательный шаблон для введения в любую книгу на тему геев, написанную в конце 1980-х, это будет медитация на тему и попытка вынесения приговора по поводу конструктивистской или эссенциалистской теории происхождения гомосексуальности. Данное исследование вряд ли первое, пытающееся решительно отказаться от этой задачи, хотя я могу только надеяться, что этот отказ может быть достаточно решительным, чтобы стать одним из последних, что все еще необходимо будет сделать. Мой отказ имеет два основания. Первое, как я уже отмечала и буду обсуждать в последующих главах, это то, что подобный приговор невозможен, поскольку между этими двумя противоположными взглядами образовался концептуальный тупик, который делает невозможным применение любого теоретического инструмента для решения этой задачи. Второе основание уже очевидно из терминологического выбора, который я сделала, предпочтя использовать концепции «миноритизирующий» в противоположность «универсализующему» вместо эссенциалистского против конструктивистского понимания гомосексуальности. Я предпочитаю первый тип терминологии, потому что он как будто бы формулирует следующий вопрос (и пытается на него

ответить): «В чьей жизни гомо/гетеросексуальное определение является постоянной центральной проблемой, создающей значительные трудности?»; но ни один из тех вопросов, которые объединены в конструктивистской/эссенциалистской дискуссии: с одной стороны, можно задаться филогенетическим вопросом — «Насколько полно значение и опыт сексуальной деятельности и идентичности обусловлены в своем взаимном структурировании другими исторически и культурно изменчивыми аспектами данного общества?»; и, с другой стороны, онтогенетическим — «Что является причиной гомо- (или гетеро-)сексуальности индивидуума?». Я специально предлагаю миноритизирующий/универсализующий контекст как *альтернативу* (но не эквивалент) эссенциалистской/конструктивистской позиции в том смысле, что он может проделать часть той же аналитической работы, но более эффективно. Я думаю, он может изолировать области, где вопросы филогенеза и онтогенеза пересекаются естественным образом. Я также думаю, как я говорила в Аксиоме 1, что эта позиция более уважительна по отношению к разнообразию проприоцепций многих признаваемых индивидуумов. Но я также особенно заинтересована в том, чтобы доказывать анахроничность позиции «эссенциалистский/конструктивистский», поскольку меня мучают сомнения в способности даже самых гей-позитивных мыслителей отделить эти понятия, особенно когда они относятся к вопросу онтогенеза, от изначально гей-геноцидных корней мышления, из которых они проросли. Более того, даже там, где мы думаем, что нам хорошо знаком этот концептуальный ландшафт их истории, достаточно для того, чтобы проделать тонкую, всегда опасную работу по высвобождению от их исторического прошлого, я боюсь, что особая летучесть постмодернистских телесных и технологических связей может привести такую попытку к трагической осечке. Таким образом, мне кажется, что работа по утверждению прав геев становится успешной, когда она стремится минимизировать зависимость любого отдельного рассматриваемого случая от источников сексуального предпочтения и идентичности индивидуумов.

В особенности мое опасение заключается в том, что сегодня не существует системы представлений, позволяющей задаться вопросом об истоках или развитии индивидуальной гей-идентичности, которая уже не структурирована имплицитной, трансиндивидуальной западной фантазией или проектом уничтожения этой идентичности. Это выглядит опасно симптоматичным, что под зловещим гнетом гомофобии последних лет и во имя христианства тот коварный конструктивистский аргумент, что сексуальные устремления являются, по крайней мере для большинства людей, не жестко обусловленной биологической данностью, а скорее социальным фактом, глубоко внедренным в культурные и лингвистические формы, в течение многих десятилетий низводится до того жизнерадостного указа, что люди «имеют право в любой момент»

(т.е. немедленно должны) «выбрать» принадлежность к некоей конкретной сексуальной идентичности (скажем, чисто случайно, гетеросексуальной), а не к другой. (Здесь мы наблюдаем опасно немаркированное пересечение филогенетического и онтогенетического нарративов.) В той степени — и она достаточно высока, — в которой геи участвуют в дебатах об эссенциалистском/конструктивистском, которые соотносятся по форме и содержанию со всей историей других дискуссий на тему природное/усвоенное или природа/культура, они принимают участие в традиции видения культуры как пластичного родственника природы: то есть считается, что культура, в отличие от природы, это нечто, что может меняться; нечто, во что «человечество» имеет право или даже обязательство вмешиваться. Это, разумеется, было основанием для, например, феминистской формулировки системы пол/гендер, описанной выше, из чего следует, что чем более полно можно продемонстрировать, что гендерное неравенство присуще человеческой культуре, а не биологической природе, тем более оно подлежит замене и изменению. Я помню тот радостный энтузиазм, с которым феминистские исследовательницы приветствовали открытия друг друга, подтверждающие, что та или иная брутальная форма угнетения оказывалась не биологической, а «всего лишь» культурной! Я всегда задавалась вопросом, откуда берется это оптимистическое представление о податливости культуры какой-либо группе или программе. В любом случае, насколько я знаю, не существует такой достаточно мощной позиции, с которой можно утверждать, что такие манипуляции, каким бы сильным не был их этический императив, не являлись правом, принадлежащим любому, кто имеет власть их реализовывать.

Количество людей и институтов, которые видят существование геев — оставим тему существования *более чем геев* — как весьма желаемое, необходимое условие жизни, очень мало даже в сравнении с теми, кто считает, что те, кто уже существуют, заслуживают достойного отношения. Советы о том, как обеспечить вашим детям возможность стать геями, не говоря уже об учениках, прихожанах, пациентах, младших по званию, встречаются гораздо реже, чем вам кажется. И наоборот, количество институтов, чья программная задача — предотвратить распространение геев, невообразимо велико. Ни один весомый институциональный дискурс не предлагает устойчивого сопротивления этой задаче; в Соединенных Штатах, во всяком случае, большая часть военных, образовательных, юридических и пенитенциарных институтов, церковь, медицина, массовая культура и индустрия психического здоровья неуклонно проводят ее в жизнь, без доли сомнения и даже доходя до оправдания агрессивного насилия. Следовательно, для геев и тех, кто им симпатизирует, несмотря на то, что концепция культурной изменчивости является единственно возможным театром для эффективности нашей

политики, каждый шаг в сторону этого конструктивистского аргумента о природе/культуре несет в себе опасность: слишком трудно изменить якобы естественную траекторию, которая начинается с определения места, откуда изменяется культура, продолжается изобретением этических или терапевтических полномочий на культурную манипуляцию, и заканчивается всеобъемлющей, гигиенической западной фантазией о том, что в мире больше нет гомосексуалов.

Это одна из опасностей, и я думаю, что именно для противостояния ей эссенциалистское толкование сексуальной идентичности обретает высокую значимость. Сопротивление через концептуализацию неизменяемого *гомосексуального тела*, которое оказывается идее социальной инженерии, встроенной в любую из гуманитарных наук Запада, может быть весьма убедительным. Более того, оно глубоко и в каком-то смысле в целях защиты проникает в мрачное пространство борьбы жизни и смерти, которое было отчасти покинуто конструктивистской гей-теорией: это вопрос о детях-геях или протогеях. Возможность для любого в этой культуре поддерживать и уважать детей-геев может зависеть от возможности называть их таковыми, невзирая на то, что многие взрослые геи никогда не были геями в детстве, а некоторые дети-геи могут не стать взрослыми геями. Вполне возможно, что масса эмоциональной энергии, вложенная в эссенциалистскую работу по историческому возрождению, направлена не столько на то, чтобы утвердить пространство и эрос героев Гомера, художников Ренессанса и средневековых монахов-геев, сколько на то, чтобы отстоять гораздо менее дозволенный и более необходимый проект признания и уважения творческого потенциала и героизма женственного мальчика или девочки-сорванца пятидесятих (или шестидесятих, семидесятих, восьмидесятих), проект, способность которого пробить *брешь* в дискурсивной ткани «данности» до сих пор не получила признания в конструктивистской позиции.

В то же время, однако, как только возникает сомнение в том, что культурные конструкты обладают особой податливостью, становится также проблематичным предположение, что биологическая природа идентичности, или ее «сущностная природа», может быть надежным способом оградить ее от социального вмешательства. Во всяком случае система допущений, включенных в дискуссию природное/усвоенное, может стать своей противоположностью. Опять же, именно допущение, что определенная характеристика базируется на генетике или биологии, а не то, что она «всего лишь культурно» обусловлена, похоже, дает толчок течке манипулятивной фантазии технологических институтов нашей культуры. Относительная депрессивность по поводу эффективности социальной инженерии, высокая мания по поводу биологического контроля: картезианский психоз биполярности, который всегда содержится в дискуссии о природном/усвоенном, сменил положение полюсов, не ус-

тупив своей власти над коллективной жизнью. И в этом неустойчивом контексте зависимость от идеи, что *гомосексуальное тело* способно противостоять любому антигеевскому проявлению, становится уязвимой позицией. Даже СПИД, хотя и используется для того, чтобы каждодневно предлагать охочей для новостей публике кристаллизованный образ мира без гомосексуалов, не смог бы сам по себе сотворить этот мир. Представление биологически обоснованных «объяснений» девиантного поведения, почти однозначно определяемого в терминах «излишества», «неполноценности» или «дисбаланса» — в гормонах ли, в генетическом материале или, как это теперь модно, в эндокринной среде эмбриона, — вот что оттачивает эти фантазии до опасной остроты, поскольку делается в обходительной манере и нередко в искренне гей-позитивном контексте. Если бы мне когда-либо хоть однажды, в любой среде попался исследователь или популяризатор, обсуждающий любые предполагаемые гей-производящие обстоятельства как *правильный* гормональный баланс или *формирующую* эндокринную среду для генерирования геев, мне было бы легче переносить холод этой технологической уверенности. Так получается, что медиализованная мечта о предотвращении возникновения гомосексуальных тел кажется менее видимой, гораздо более почтенной на фоне подогретой СПИДом всеобщей мечты об их полном истреблении. В этом неустойчивом равновесии между понятиями природы и культуры, во всяком случае под мощной эгидой желания этой культуры, чтобы геев *не было*, не существует безопасного, не представляющего опасности пространства для концепции происхождения геев. Поэтому у нас есть все основания поддерживать наши представления о происхождении гей-идентичности, о гомосексуальном культурном и материальном воспроизводстве — плюралистичными, мультикапиллярными, всегда настоroje, уважительными и бесконечно нам дорогими.

Аксиома 5: Исторические поиски Великой Смены Парадигмы могут исказить нынешние условия сексуальной идентичности.

Начиная с 1976 года, когда Мишель Фуко ради полемической бравады назвал 1870 год датой рождения гомосексуальности,⁴² была проведена самая углубленная исторически ориентированная работа в гей-исследованиях, предлагающая более точное датирование, были обнаружены более детальные нарративы развития гомосексуальности, «какой мы ее знаем сегодня».⁴³ Особой ценностью этого исследовательского движения было извлечение из того, «что мы знаем сегодня», двойственной позитивистской установки: (1) что должна существовать некая внеисторическая сущность «гомосексуальности», доступная современному знанию, и (2) что история познания однополых отношений является историей все более конкретного, истинного знания или понимания этой сущности. Современная историзирующая позиция предполагает, напро-

тив, что (1) различия между гомосексуальностью, которую «мы сегодня знаем», и предшествующими механизмами однополых отношений могут быть настолько глубоко и неразрывно связаны с нашими культурными различиями, что, возможно, не существует *познаваемой*, континуальной, определяющей сущности «гомосексуальности»; и (2) что современная «сексуальность» и, следовательно, современная гомосексуальность настолько тесно вписаны в конкретные исторические контексты и структуры, что можно считать *знанием* то, что такое «знание» вряд ли может служить прозрачным окном в отдельный мир сексуальности, но скорее само формирует эту сексуальность.

Эти события обещали быть захватывающими и продуктивными в том смысле, что наиболее важная историческая, или, в данном случае, антропологическая, работа по разрушению привычного восприятия и денатурализации может являться не только прошлым и отдаленным, но и настоящим. Но в одном смысле этот анализ все еще не завершен — тем, что он неумышленно восстанавливал привычное восприятие и заново натурализовал, непоправимо материализуя, некую субстанцию, которую следовало бы скорее подвергнуть анализу, — он противопоставил представлениям прошлого относительно унифицированную гомосексуальность, которую «мы» *действительно* «знаем сегодня». Кажется, что топос «гомосексуальности, которую мы знаем сегодня», или, если конкретнее употребить антипозитивистские откровения фукианской революции, «гомосексуальности, как мы ее *представляем* сегодня», обеспечил необходимую точку отсчета для работы по денатурализации прошлого, проделанной многими историками. Но неудачным побочным эффектом этого шага явилось то, что безоговорочная артикуляция понятия «гомосексуальности, как мы ее представляем», сама по себе формирует когерентное дефиниционное поле, а не пространство пересекающихся, противоречивых и конфликтующих дефиниционных сил. К сожалению, это больше, чем проблема излишнего упрощения. Насколько отношения власти, включающие в себя современные гомо/гетеросексуальные дефиниции, сформированы самой невыраженностью нечетких силовых полей конфликтующих определений — насколько, как будет подробнее описано в главе 4, самонадеянное житейское убеждение «мы знаем, что это такое» является «особой ложью, которая воодушевляет и продлевает деятельность механизма (современного) гомофобного мужского самоотрицания и насилия, и манипулируемости» — настолько эти исторические проекты, во всей их невероятной осторожности, ценности и возможностях, все еще способны поддерживать опасный консенсус всезнайства об изначально *неизвестном*, пока еще более чем рудиментарно противоречивое структурирование современного опыта.

В качестве примера такого эффекта противоречивости позвольте мне противопоставить два программных заявления из тех, что считаются па-

раллельными и согласующимися проектами. В основополагающем пассаже Фуко, который я упоминала выше, современная категория гомосексуальности, датируемая 1870 годом, описывается как «характеризующаяся... не столько типом сексуальных отношений, сколько определенным качеством сексуальной чувствительности, определенным способом инвертирования маскулинного в фемининное в самом себе. Гомосексуальность появилась как одна из форм сексуальности, когда была перенесена из содомической практики в некую внутреннюю андрогинию, гермафродитизм души. Содомит был временной aberrацией, гомосексуал стал уже видом».

В описании Фуко однонаправленное появление «гомосексуала» как «вида» в конце девятнадцатого века, а гомосексуальности как миноритизирующей идентичности рассматривается как возникшее и привязанное к также однонаправленному пониманию гомосексуальности как гендерной инверсии и гендерной транзитивности. Это толкование, именно в соответствии с Фуко, появляется для того, чтобы обосновать и сформировать распространенное представление о гомосексуальности, «которую мы знаем сегодня». С другой стороны, более свежее описание Дэвида Гальперина, явно в духе и под влиянием Фуко, но построенное также на основе другого исследования, проделанного Джорджем Чонси и другими, конструирует весьма отличающийся нарратив — но конструирует его так, как будто он точно такой же:

«Гомосексуальность и гетеросексуальность, как мы понимаем их сейчас, есть современная, западная, буржуазная продукция. Ничего похожего нельзя найти в классической античности... В Лондоне и Париже в семнадцатом и восемнадцатом веках появляются... общественные места для встреч людей одного пола с одинаковым социально девиантным отношением к сексу и гендеру, которые хотят общаться и вступать в сексуальные отношения друг с другом... Это явление способствует формированию богатейшего опыта девятнадцатого века — опыта “сексуальной инверсии”, или перемене половых ролей, и тогда некоторые формы сексуальных девиаций интерпретируются как гендерная девиантность или объединяются с ней. Возникновение гомосексуальности из инверсии, формирование сексуальной ориентации вне зависимости от условного уровня фемининности или маскулинности происходит во второй половине девятнадцатого века, и она становится самой собой только в двадцатом столетии. Наивысшее ее проявление есть “играющий натурала и являющийся геем мужчина (strait-acting and -appearing gay male)”, то есть мужчина, не отличающийся от других ничем, кроме своей “сексуальности”».⁴⁴

Гальперин предлагает некоторые аргументы, почему он пришел к другим выводам, чем Фуко, в описании «инверсии» как стадии, которая, в сущности, предшествовала «гомосексуальности». То, что он не обсуждает, — это его собственное прочтение «гомосексуальности», как «мы ее теперь понимаем», — его презумпция о житейских представлениях чи-

тателей, современная концептуализация гомосексуальности, та точка, с которой должны начинаться мысленные эксперименты по дифференциации — фактически противоположна позиции Фуко. Для Гальперина то, что принято считать современной гомосексуальностью, «как мы ее понимаем», заключается в играющем натурала и являющемся геем мужчине, то есть гендерной не-транзитивности; для Фуко это феминизированный мужчина или мужеподобная женщина, то есть гендерная транзитивность.

Различие позиций этих двух историков здесь неочевидно, я думаю, из-за базовой структурной конгруэнтности обеих историй: каждая является однонаправленным нарративом замены. Обе включают в себя общее представление о полном концептуальном отличии ранних моделей однополых отношений. В каждой истории одна модель однополых отношений замещает другую, которая снова может быть заменена другой. В обоих случаях замещенная модель выпадает из поля рассмотрения. Для Гальперина сила и привлекательность пост-инверсионного понятия о «сексуальной ориентации вне зависимости от условного уровня фемининности или маскулинности», похоже, означает, что это понятие должно восприниматься как замещающее инверсионную модель; далее он, похоже, считает, что любые элементы инверсионной модели, все еще появляющиеся в современных представлениях о гомосексуальности, могут рассматриваться как остатки исторического прошлого, чье постепенное, неважно сколь долгое исчезновение не заслуживает исследовательского внимания. Последняя мысль гальперинского изложения отличается от Фуко, но не ход его мыслей: так же как Гальперин, обнаруживший *промежуточную* модель, предполагает существование *преимущественной* модели, Фуко уже предположил, что вмешательство миноритизирующего дискурса сексуальной идентичности в существующий ранее универсализующий дискурс «содомитских» сексуальных актов должно означать, несмотря на цели и намерения, затмение последнего.

Это предположение имеет значение только тогда — как я буду доказывать, — когда наиболее действенные последствия современного гомо/гетеросексуального определения произрастают именно из неясности или отрицания разрыва *между* давно сосуществовавшими миноритизирующим и универсализующим, гендерно-транзитивным и гендерно-не-транзитивным пониманиями однополых отношений. Однако если этот аргумент верен, тогда предписания, исполненные этими историческими нарративами, влекут за собой тревожные последствия. Для тех, кто живет, как и я, например, в штате, где определенные действия, называемые «содомией», являются преступлением независимо от гендера, неважно, гомо- или гетеросексуальная «идентичность» у человека, опасность при-совокупления к этому запрету против *действий* дополнительного, нерационализованного набора санкций по отношению к *идентичности* может только увеличиться из-за настойчивости гей-теории в утвержде-

нии, что дискурс действия не представляет из себя ничего, кроме рудиментарного анахронизма. Проектом этой книги является показать, как проблемы современных гомо/гетеросексуальных дефиниций структурируются не через замещение и соответствующее угасание другой модели, а, напротив, через отношения, усиленные посредством нерационализированного сосуществования различных моделей во времена их сосуществования. Этот проект не предполагает конструирование исторических нарративов, альтернативных тем, что произвели на свет Фужо и его последователи. Скорее он требует перераспределения внимания и акцентов в рамках этих значимых нарративов — пытаясь, возможно, де-нарративизировать их, сместив фокус на перформативное пространство противоречий, которое они очерчивают и, будучи сами перформативными, обходят молчанием. Таким образом, я пыталась в последующих главах не подчеркивать отличие исчезнувших или предположительно чуждых нам теперь представлений об однополых отношениях, а, наоборот, привлечь внимание к тем неожиданно многочисленным, многообразным и противоречивым историческим представлениям, чья остаточная — а в сущности, обновленная — мощь кажется особенно осязаемой сегодня. Моя первая цель — денатурализовать настоящее, а не прошлое, и, как результат, получить менее деструктивную предполагаемую «гомосексуальность, какой мы ее знаем сегодня».

Аксиома 6: Отношение гей-исследований к дискуссиям о литературном каноне является — и было вынуждено быть — неисскренним.

В начале работы над «Эпистемологией чулана», в поисках текста, на котором можно было бы остановиться, чтобы найти первый пример для аргументации этой книги, я обнаружила, что постоянно возвращаюсь к тексту 1891 года, нарративу, который, несмотря на его относительную краткость, оказался стойким и убедительным образцом мужской гееской интертекстуальности и, конечно же, предоставил мне стойкий и убедительный образ мужского гомосексуального желания. В нем рассказывается история молодого англичанина, известного исключительной красотой лица и фигуры, выдающих его аристократическое происхождение — происхождение, отмеченное, однако, загадочностью и классовым мезальянсом. Хотя книга названа именем прекрасного юноши и помечена его телесной красотой, нарратив тем не менее скорее является историей мужского треугольника: второй, старший мужчина мучительно желает молодого, но не может выразить это желание, и третий, образец светскости и обходительности, осуществляет дискурсивную власть, пока молодой убивает своего агонизирующего поклонника и сам в свою очередь к концу книги становится жертвой ритуального убийства.

Возможно, подумала я, один такой текст окажется недостаточным основанием для культурных гипотез. Может быть, взять два? Это еще не

стало обыденностью — читать «Дориана Грея» в контексте «Билли Бадда» и наоборот, но это может только свидетельствовать о власти принятых литературных канонов английской и американской литературы изолировать и деформировать чтение политически значимых текстов. В любом мужском гееском каноне две современные друг другу экспериментальные работы должны быть связаны в пару как обобщающие исходные тексты нашего времени, и их условно очевидные различия в стиле, литературной ориентации, национальной принадлежности, классовых характеристиках, структуре, тематике должны перестать приниматься во внимание и должны, вместо этого, высветиваться в контексте их поразительной эротической согласованности. Книга о прекрасном английском мужском теле, изображенном на интернациональном холсте; книга, прописывающая и возрождающая его через трио мужских фигур — очаровательный мальчик, страдающий сластолюбец, искушенный властитель дискурсивного контроля над их желаниями; история, в которой любовник убит юношей и сам юноша принесен в жертву; авторитетное изложение, которое в конце концов выстраивает, сохраняет, эксплуатирует и десублимирует мужской телесный образ: эта книга — и «Дориан Грей» и «Билли Бадд».

Год 1891-й — это удачный момент для поперечного разреза на утвердившемся дискурсе современной гомо/гетеросексуальности — в медицине и психиатрии, в языке и в юрисдикции, в кризисе положения женщин, в развитии империализма. «Билли Бадд» и «Дориан Грей» относятся к текстам, которые установили условия современной гомосексуальной идентичности. И в евро-американской культуре того века примечательным является то, что основополагающие для современной гей-культуры тексты — такие, как, например, «В поисках утраченного времени» и «Смерть в Венеции», вместе с «Дорианом Греем» и «Билли Баддом» — часто являлись идентичными текстами, мобилизовавшими и пропагандировавшими наиболее сильные образы и категории для (что сейчас уже очевидно) канона гомофобного господства.

Ни «Дориан Грей», ни «Билли Бадд» не являются малоизвестными текстами. Оба доступны в многочисленных карманных изданиях, оба относительно короткие, оба по-своему каноничны в своих национальных контекстах, оба включены в стандартные академические программы. Но то, чему они должны учить, и то, что канонизируется в них, настолько приближено к дисциплинарному прочтению каждого из них, что даже одновременность обоих текстов («Дориан Грей» был опубликован в том же году, когда «Билли Бадд» был написан) поражает. То, что каждый из главных персонажей в архетипической американской «аллегории добра и зла» является англичанином; что архетипическая английская *fin-de-siècle* «аллегория жизни и искусства» была настолько американским событием, что появилась в журнале филладельфийского издателя за де-

вать месяцев до выхода в Лондоне в виде книги — каноническое единообразие, которое стирает эти интернациональные связи, означает то, как велики масштабы стирания интертекста и интерсексуального. Как может оперировать стратегия нового канона в этом пространстве?

Современные дискуссии по вопросу литературного канона структурируются либо вокруг темы возможности изменения, переаранжировки и перераспределения текстов, в рамках общего мастер-канона литературы — стратегия присовокупления Мэри Шелли к «Антологии Нортонна»⁴⁵ — или, сегодня более теоретически оправданно, вокруг представлений о взрывании мастер-канона, чьи обломки производят потенциально бесконечное множество мини-канонов (или хотя бы оставляют возможность для этого), мини-канонов, специфичных по признаку тематического, структурного или авторского контекста: франкофонный канадский или инуитский каноны, например; кластеры магического реализма или национальной аллегии; традиции блюза; пролетарский нарратив; каноны возвышенного или саморефлексии; афро-карибские каноны; каноны англо-американских женщин-писателей.

На самом деле, наиболее продуктивные канонические эффекты, имевшие место в современных литературных изысканиях, произошли не от механизмов мастер-канона или плюрализма малых канонов после его разрушения, но от взаимодействия этих двух моделей. В этом взаимодействии новые плюрализованные мини-каноны по большей части не смогли оторвать мастер-канон от его эмпирической центральности в таких институциональных практиках, как издательское дело и преподавание, хотя и позволили включить в мастер-канон некоторые отдельные работы и авторов. Более важным результатом, однако, явился вызов, брошенный если не эмпирической центральности, то концептуальной анонимности мастер-канона. Самый известный пример — феминистские исследования в литературе, которые, с одной стороны, противопоставляя мастер-канону альтернативные каноны женской литературы, с другой — по-новому критично прочитывая образцы мастер-канона, не только перераспределили список произведений мастер-канона, но, более того, дали ему название. Даже если он все еще является *единственным* мастер-канонам, он не может избежать называния себя со всей четкостью произношения *определенным* канонам, канонам господства, в данном случае канонам мужского господства над женщинами — и против женщин. Возможно, уже больше никогда женщинам — и, надеюсь, никому — не понадобится дожидаться приветствия при включении в «Антологию Нортонна», составленную в основном из литературы белых мужчин, с подразумеваемым высокомерным обращением — «Я никто. А ты — ты кто?»⁴⁶.

Это вдохновляющая история о формировании женского канона, работающего чуть ли не пинцетом над процессом феминистского поиме-

нования канона, о которой уже много сказано на сегодняшний день. Сколь многим, однако, обязана такая вдохновляющая ясность этой истории пугающей грубости и очевидности, с которой мужчины и женщины в большинстве, если не во всех обществах публично и раз и навсегда отделены друг от друга, становится понятно, только когда сделаны попытки применить ту же самую модель к совсем по-другому структурированной, хотя и очень близкой форме угнетения, современной гомофобии. Это случилось совсем недавно — и я доказываю, пусть не столь последовательно и совершенно, хотя довольно агрессивно и грубо, — что некоторая комбинация дискурсов создала, для женщин и мужчин, вероятную и весьма запретную гомосексуальную идентичность в евро-американской культуре. Поскольку теперь можно проследить эту идентичность, у нас есть явная возможность, признаваемая в литературной критике, для составления альтернативных канонов лесбийской и мужской геевской литературы как канонов меньшинства, как литературы угнетения, и сопротивления, и выживания, и героизма. Это современное представление о геях и лесбиянках как об отдельном меньшинстве населения, разумеется, существенно анахронично по отношению к ранним литературным произведениям; и даже в отношении к современной литературе оно серьезно хромает в предлагаемом им имплицитном анализе механизмов гомофобии и однополрого желания. Именно в свете этой проблематичности отношения между лесбийской и геевской литературой как канона меньшинства и процессом вычленения гомосоциальных, гомосексуальных и гомофобных натяжений и скручиваний в уже существующем мастер-каноне становятся особенным откровением.

Это откровение доступно, однако, только тем из нас, для кого отношения внутри и между канонами являются активными отношениями осмысления. От хранителей мертвого канона мы слышим риторический вопрос — скажем, вопрос, поставленный с высокомерным намерением остаться в неведении. Есть ли, спрашивает Сол Беллоу, Толстой у зулу-сов? Был ли, спрашивают защитники монокультурного учебного плана, не намеренные дожидаться ответа, был ли когда-либо Сократ Востока, афро-американский Пруст, женский аналог Шекспира? Каким бы оскорбительным или дурацким ни был этот вопрос, в контексте данной дискуссии его нельзя считать непродуктивным. Чтобы ответить на него добросовестно, потребовалось начать исследования многих критических областей: прежде всего, канонических и исторически признанных в мире текстов не-евро-американских культур; но также и задаться вопросом о не-универсальной функции чтения и письма, о случайной и неравномерной системе секуляризации и сакрализации эстетической сферы, об отношениях публичного и приватного в ранжировании жанров, исследовать культ индивидуального автора и организацию обучения гуманитарным наукам в дорогостоящей форме театра шедевров.

Более того, этот пошлый высокомерный вопрос дразнит тем, как по-разному он резонирует в разных проектах ответа: он стимулирует, или раздражает, или осеняет по-разному в контексте устной или письменной культур; в контексте колонизированных или колонизаторов, или культур, имевших оба эти опыта; народов, живущих на одной территории или в диаспоре; традиций, частично внутренних или совершенно внешних по отношению к доминирующей культуре конца двадцатого века.

С точки зрения этого относительно нового и зарождающегося академического присутствия, движения гей-исследований, как наиболее четко мы могли бы задать этот вопрос — и дождаться ответа? Послушаем, как это звучит:

Существовал ли гей Сократ?
Существовал ли гей Шекспир?
Существовал ли гей Пруст?

Носит ли Папа [римский] платье? Пусть эти вопросы шокируют, они всего лишь тавтология. Коротким ответом, хотя и далеко не полным, мог бы быть тот, что существовали не только геи Сократ, Шекспир и Пруст, но и что имена их были Сократ, Шекспир, Пруст; и даже больше, легион — дюжины или сотни самых центральных канонических фигур в том, что монокультуралисты радостно считают «нашей» культурой, как и, разумеется, всегда в других формах и смыслах, в любой другой.

Что имеет место, напротив, в большинстве научных исследований и большинстве учебных программ — гораздо более короткий ответ на подобный вопрос: не задавайте вопросов. Или, менее лаконично: вам незачем знать. Преобладающая позиция в гуманитарных науках и преподавании, таким образом, даже в среде либеральных академиков — лучше не спрашивать и не знать. Для особенно настойчивых существует целый набор способов отсечь подобные вопросы на основании того, что:

1. Эмоциональный язык однополого влечения был весьма распространен в данный (любой изучаемый) период — и, следовательно, не имеет значения. Или

2. Однополые генитальные отношения были абсолютно обычным делом в данный (любой изучаемый) период — но, поскольку для них не было соответствующего языка, они абсолютно не имели значения. Или

3. Отношение к гомосексуальности в прошлом было не толерантным, в отличие от нынешних — поэтому люди ничего не делали. Или

4. Запреты на гомосексуальность не существовали в прошлом, в отличие от наших дней, — поэтому, если люди и делали что-то, это абсолютно ничего не значило. Или

5. Слово «гомосексуальность» не было в обиходе до 1869 года — так что все до этого были гетеросексуалами. (Разумеется, гетеросексуальность существовала всегда). Или

6. Известно или говорят, что обсуждаемый автор испытывал привязанность к человеку другого пола — так что их чувства по отношению к людям своего пола абсолютно не важны. Или (следуя другим правилам принятия свидетельских показаний)

7. Не существует реального доказательства гомосексуальности, такого как сперма, извлеченная из тела другого мужчины, или фотографии в обнаженном виде с другой женщиной, — следовательно, автора можно смело считать исключительно гетеросексуальным. Или (как последнее прибежище)

8. Автор или близкий автору человек вполне могли быть гомосексуалами — но это провинциализм — позволить такому незначительному факту влиять на наши представления о любом серьезном жизненном, литературном или мыслительном проекте.

Эти ответы отражают, как мы уже видели, некоторые реальные проблемы сексуального определения и историчности. Но они только отражают и не рефлексируют: семейное сходство в этой группе исключительно распространенных ответов вытекает из их близости к корневой грамматике ответа *Не спрашивайте; Вам не надо знать*. Этого не было; какая разница; это не имело значения; это не содержит интерпретативных последствий. Просто перестаньте спрашивать об этом; перестаньте спрашивать немедленно; мы заранее знаем, в чем разница, если поднять вопрос об *этой* разнице; нет никакой разницы; это ничего не значит. Наиболее откровенно репрессивные проекты цензуры, такие как буквально убийственное сопротивление Уильяма Беннетта углубленному образованию по проблемам СПИДа в школах на основании того, что оно разовьет терпимость по отношению к гомосексуалам, через мобилизацию мощных механизмов открытого секрета, секрета Полишинеля, вполне удачно реализуются вместе с их ровным высокомерным всезнайством вежливости или псевдовежливости.

И все же абсолютно каноническая центральность тех авторов из списка, о которых можно задать эти вопросы — Что из себя представляла структура, функция, историческое окружение однополой любви для Гомера, или Платона, или Сафо? Что сказать об Эврипиде и Вергилии? Если Марлоу — гей, кто тогда Спенсер или Мильтон? Шекспир? Байрон? А кто же Шелли? Монтень, Леопарди...? Леонардо, Микеланджело, но...? Бетховен? Уитман, Торо, Дикинсон (Дикинсон?), Теннисон, Уайльд, Вулф, Хопкинс, но Бронте? Витгенштейн, но... Ницше? Пруст, Музиль, Кафка, Кэтер, но... Манн? Джеймс, но... Лоренс? Элиот? Но... Джойс? Сама центральность этого списка и его почти бесконечная эластичность предполагают, что никто не *может* знать *заранее*, где проходит граница любопытства по поводу гей-принадлежности или куда может завести или заведет нас теоретизирование на тему геев в даже господствующей высокой культуре евро-американской традиции. Возник-

новение, пусть в последние год-два, новоявленных, но амбициозных программ и курсов по гей-лесбийским исследованиям в университетах, даже тех, что входят в Лигу Плюща, может, вероятно, теперь позволить впервые задать эти трудные вопросы в самом сердце этих авторитетных культурных институтов, к которым они принадлежат, но и с самых маргинальных небезопасных позиций, откуда так давно инициировалась эта отважная деятельность.

Более того, как я уже говорила, резко противоречивые и изменчивые энергии, которые, как доказывает нам каждая утренняя газета, циркулируют и в данный момент в нашем обществе вокруг проблемы гомо/гетеросексуального определения, показывают вновь и вновь, насколько нелепа чья-либо вежливая претензия на то, что у них есть простое и ясное объяснение основных черт и свойств гомосексуалов и гетеросексуалов. Быть геем или быть потенциально классифицируемым как гей — то есть быть сексуальным и гендеризованным — в этой системе означает подпасть под радикально налагающиеся друг на друга эгиды универсализующего дискурса действий или связей и в то же время миноритизирующего дискурса типологизации личности. Из-за путаницы понятий, возникающей в пространстве перекрытия универсализующей и миноритизирующей моделей, вопрос дефиниционного контроля является очень значимым.

Очевидно, что из этого исследования вытекает то, что одним из необходимых подходов к традиционному евро-американскому канону в педагогике является обращение с ним ни как с чем-то уже взорванным, ни как с чем-то вполне устойчивым. Канон, который видится как изначально унифицированный через поддержание определенного напряжения гомо/гетеросексуальной дефиниции, вряд ли может быть легко демонтирован; но вряд ли следует к нему относиться как к хранилищу надеждающих «традиционных» истин, из которых можно создать основу для любой стабильной консолидации или непрерывного торжества. До тех пор пока проблематика гомо/гетеросексуальной дефиниции в очень гомофобной культуре рассматривается как свойство, присущее центральным основам этой культуры, к этому канону всегда следует относиться как к некорректному. Очевидно, что рассмотрение канона, само по себе необходимое, не должно замещать вопросы педагогических отношений вокруг и внутри этого канона. Каноничность сама по себе, похоже, является необходимой прокладкой для ханжеской забывчивости, обеспечивающей передачу от одного поколения к другому текстов, способных демонтировать спрессованный фундамент, на котором покоится данная культура.

Я предполагаю, что собеседнику вроде Уильяма Беннетта такая точка зрения покажется посягательством на мрачное величие, знакомое тем из нас, кто получал образование в темные времена университетских кампу-

сов конца шестидесятых. Должна признаться, что эта демографическая характеристика абсолютно верна по отношению ко мне. По правде говоря, я могла бы точнее указать, откуда у меня это представление о высокой изменчивости канонических текстов. В печально известном Корнелле печально известного конца шестидесятых я имела счастье учиться у преподавателей, которые отдавали свою самую горячую страсть и студентам и текстам. Подобно многим интеллектуально честолюбивым студентам, я попала в орбиту Аллана Блума; мои друзья и я сама очень увлеченно и более чем поверхностно имитировали вторжение в каждый проект прочтения его собственный образ и его «ст-т-т-страсть» — как его татуировка на взрывном согласном, отчасти невольный, отчасти театральный, всегда захватывающий, драматизирующий для нас взрывной потенциал, который он придавал каждому интерпретативному ядру. Именно от Блума, как и от многих более явно литературных и деконструктивистских или более левых теоретиков, я и некоторые другие из поколения поздних шестидесятых научились необходимости и удовольствию чтения влиятельных текстов глубже поверхностного слоя. Так называемая консервативная практическая политика, которая, уже тогда столь часто, казалось, превращала живые, непокорные интерпретационные откровения в грубоватые и уродливые стереотипы, и уже не хватало рецептов, по крайней мере временно, чтобы затмить то усвоенное знание, что истинным грехом против святого духа будет чтение без риска для себя, написать или произнести, не открыв себя как угодно эзотерически, интерпретировать, не создавая реальной опасности привести в действие противоречивые силы любого полудомащенного канонического текста.

Теперь, когда я читаю *The Closing of American Mind*, я снова ощущаю высокое педагогическое очарование этого великого популяризатора (то есть этого великого учителя). Вместе с чувством благодарности за то, что он также сделал возможными скандальные, но основополагающие проекты прочтения, я особенно осознаю, оглядываясь назад, что стало для меня антигомофобной канонической реконструкцией. Для Блума, как и в любом конкретном проекте гей-исследований в рамках традиционного канона, история западной мысли непременно сформирована и мотивирована бесценной историей педагогических или педерастических отношений мужчины к мужчине. В кульминационной главе, заманчиво озаглавленной «Наше невежество», например, Блум инкапсулирует западную культуру в нарратив, который движется от «Федра» к «Смерти в Венеции». Кризис ашенбаховской современной культуры рассматривается как умерщвляющая сила прочтений, которые осуществляются внутри ее изначально взрывного канона. Как объясняет это Блум:

«Ашенбах, охваченный все большей страстью к мальчику на пляже, начинает вспоминать цитаты из «Федра». «Федр», возможно, был одним из произведений, которые Ашенбах должен был читать, изучая греческий язык. Но его

содержание, дискурсы любви мужчины к мальчику не должны были повлиять на него. Этот диалог, как того требовало немецкое образование, являлся еще одним обрывком “культуры”, исторической информации, которая не стала частью живого, взаимосвязанного целого. Это симптоматический признак безжизненности культурной реальности Ашенбахса.⁴⁷

Блума пугает окаменение этих страстей в рамках традиции. Другая опасность, угрожающая жизни культуры, по мнению Блума, заключается не в том, что эти желания могут быть убиты, но в том, что они могут быть выражены. Для Блума, и здесь, я думаю, он дает прямое и искреннее представление западной доминирующей культуры, стимуляция и приукрашивание энергии мужского желания к мужчине (и кто станет отрицать, что он проделывает завидную работу по ее восхвалению?) — это непрекращающийся проект, который должен, ради сохранения этой внутренне противоречивой традиции, сосуществовать с равно непрекращающимся проектом отрицания, откладывания или умалчивания их удовлетворения. С механистической гидравличностью, более упрощенной, чем та, которую он осуждает у Фрейда, Блум обвиняет движения шестидесятых за сексуальную свободу — все до единого, хотя, конечно же, в его философском контексте главное обвинение направлено в адрес движения геев — за опустошение резервуаров энергии катарсиса, которые должны быть репрессированы и находиться в возбужденном состоянии, чтобы быть в свое время использованными в культурных проектах. Вместо этого, когда платоновское «многообразие проявлений эротического» (237) растрачено на просто секс, предположительно дозволенный, «лев, рычавший за дверью чулана», превратился «в маленькую домашнюю кошку» (99). По мнению Блума, печально, что «сексуальная страсть внутри нас перестала таить опасность» (99); «все эти освободительные действия растратили великолепную энергию и напряжение, опустошив и изнуриив души студентов» (50–51).

Итак, Блум, не испытывая угрызений совести, защищает святость чулана, это любопытное пространство, которое располагается одновременно внутри и на краю культуры: центрально репрезентативное в своих мотивациях страсти и противоречиях даже тогда, когда маргинализируется через собственную ортодоксальность. Современное нормализующее, миноритизирующее движение за равные права людей с различными сексуальными идентичностями, по мнению Блума, является понижением прежней *привилегированной* позиции, когда «существовало уважаемое место для маргинальности, бегемота. Но она должна была оправдывать свои неортодоксальные практики интеллектуальными и артистическими достижениями» (235). Хрупкое, особо ценное репрезентативное соглашение, в соответствии с которым небольшая, слабо определяемая группа как открывала скрытые, возможно, опасные истины о культуре себе самой, так и зависела от ее скудной толерантности, явля-

ется в его изложении повторением позиции Сократа или, если продолжить, любого другого философа/учителя — того, кто открывает взрывные истины в теле культуры для молодой, всегда сменяющейся аудитории, чей голод по такой инициации скорее всего, в лучшем случае, всего лишь фаза, которую следует пройти. «И он, следовательно, — пишет с горечью Блум, — неизбежно находится в напряжении со всеми, кроме таких, как он. Он относится ко всем остальным иронически, то есть сочувственно и сохраняя игровую дистанцию. Изменение характера его отношения к ним невозможно, потому что диспропорция между ним и ними глубоко коренится в его натуре. Следовательно, он не ожидает реального прогресса. Терпимость, а не право — самое большее, на что он может надеяться, и он постоянно должен быть настороже, осознавая изначально хрупкость своей ситуации и философии» (283).

Сократ в жизни греков, как персонифицированный сосуд однополого желания в рамках гомоэротической традиции гомофобной западной высокой культуры, в целях выживания должен зависеть от того самого нераспознавания, что его престиж исходит от его власти демистификации. Более того, соглашение между философом и молодежью сохраняется не только благодаря любви, но, возможно, благодаря неизбежно элитному сообществу, объединенному общим бесчестьем. Ему позволено презирать их за то, что они не видят в нем, как он думает, того, кто он есть («Критон, семейный мужчина, думает о Сократе как о примерном семьянине. Лахет, солдат, думает о Сократе как о хорошем солдате» [283]). В то же время им дозволено снисходительное отношение к спектаклю, который играют обе стороны, думая, что между ними существует окончательная, непреодолимая разница. Неудивительно, что такие тугие узлы заряженного желанием самовосхваления за счет другого трудно объединить.

То, что предлагает Блум, убедительно в качестве анализа — если это действительно анализ — престижа, магнетизма, уязвимости, самоотторжения, способности кооптироваться и, возможности пренебрежения, которые присущи канонической культуре чулана. Однако это далеко не вся история. Например, есть нечто, что может быть сказано о движении геев после Стоунволла: поскольку оно определило геев, мужчин и женщин, как отдельное меньшинство, облеченное правами наравне с другими меньшинствами, оно формально заявило, что, по крайней мере, некоторые люди оказались вправе требовать пересмотра или аннулирования репрезентационного соглашения между чуланом и культурой. Очевидно, что для многих важных решений этот шаг был необходим. Беспокойство Блума до боли преждевременно, по меньшей мере, в отношении запрета на гомофобию, и времена отнюдь не те, что все дозволено и что «сексуальная страсть внутри нас перестала таить опасность». Наша культура по-прежнему следит за тем, чтобы было опасно, чтобы женщины и мужчины, которые обнаруживают или боятся, что они гомосексуалы или

другие считают их таковыми, были подвержены умственному и физическому страху, нагнетаемому через институты права, религии, психотерапии, массовой культуры, медицины, армии, коммерции, бюрократии и жестокого насилия. Политический прогресс, связанный с этой и схожими с ней проблемами жизни и смерти, абсолютно зависел от эффективности модели меньшинства, используемой в гей-активизме; именно нормализующая, убедительная аналогия между требованиями студентов геев/лесбиянок и черных или евреев и развитие навыков в использовании соответствующих политических техник способствовали прогрессу на этой арене. И *эта* сторона необходимого прогресса не может быть мобилизована ни из какого чулана; для этого требуются рискованные позитивные действия многих людей, демонстрирующих самоидентификацию принадлежности к меньшинству.

То же самое на уровне канона. Бесценные образцы критики и демонстрация в рамках официальной традиции, называние своими именами доминирующего гомозротического/гомофобного мужского канона в культурном господствующем дискурсе и навязываемой эротической путаницы могут быть только частью стратегии антигомофобного проекта. Это должна быть работа с тонким пинцетом, который я уже упоминала, для восстановления гей-канона меньшинства из неканонического современного материала. Самоочевидно, это необходимо для того, чтобы поддерживать лесбийские предпочтения, таланты, восприимчивость, жизнь и анализ на том же уровне культурной центральности, что и у геев: поскольку любые женщины стоят в стороне от доминирующих канонов культуры, тем более это касается женщин-геев, и это та огромная цена, которую нужно заплатить за жизненность и богатство культуры. Мужчины, которые в открытую пишут как геи, также нередко исключались из консенсуса традиционного канона, и теперь они могут действовать с большей убедительностью в рамках особого гей/лесбийского канона. Внутри любого другого миноритарного канона должно быть проделано гей/лесбийское исследование. Мы не можем заранее знать о гарлемском Ренессансе, не больше, чем мы можем знать о Ренессансе Новой Англии или об английском или итальянском Ренессансе, где могут быть проложены границы открытий, как только мы начнем спрашивать — как спрашивают теперь о каждом из этих ренессансов, — где и как в них проявлялась сила гомосексуальных желаний, людей, дискурсов, запретов и энергий. Мы уже достаточно знаем для того, чтобы быть уверенными, что в каждом из этих ренессансов они занимали центральное место. (Нет сомнений, что именно так мы научимся узнавать Ренессанс, когда видим его).

Аксиома 7: Пути алло-идентификации вполне могут оказаться странными и мятежными. То же самое относится к ауто-идентификации.

Во вступлении к «Между мужчинами» я ощущала неловкость, предлагая краткое изложение того, как я вижу политическое/теоретическое позиционирование «женской и феминистской литературы (частично) о мужской гомосексуальности»;⁴⁸ я сообщала, что это была неразвитая теория и настало время, чтобы кто-нибудь дал себе труд об этом задуматься. Тематика мужской гомосексуальности, очевидно, еще более существенна для этого труда, и прошедшие годы дали мне еще лучше понять, насколько важно, даже необходимо существование такого описания — равно и то, насколько это почти запретительно сложно. Я не трагиваю здесь вопрос чьего-то «права» думать или писать на темы, о которых кому-то есть что сказать; и если вообще право можно измерить, я думаю, что данное право может измеряться тем вкладом, который вносит работа, и для кого этот вклад. Помимо трудностей с использованием языка права, однако, я нахожу, что абстрактные формулировки в «Между мужчинами» всегда чреватые подтекстом категорического императива, который может опасно скрывать те направления, по которым развиваются политические приверженности и идентификации. Рассуждая реалистично, вряд ли меня сподвигло на эту работу то, что я просто женщина или просто феминистка, — но то, что я именно такая женщина и феминистка. Основания, по которым подобная книга может быть убедительной или привлекательной для вас, в свою очередь, вряд ли обращены к вашему благодушию, подобно равномерному распределению освещения для вашего незаинтересованного внимания. В реальности требуются глубоко укорененные, стойкие и часто непроницаемые энергии, чтобы написать книгу; возможно, они нужны и чтобы прочитать ее. Они нужны и для того, чтобы принять любое политическое решение, имеющее хоть какую-то ценность для кого-либо.

Что же тогда будет хорошим ответом на подспудные вопросы о чьей-то стойкой групповой идентификации, проходящей через политически заряженные границы гендера, класса, расы, сексуальности, нации? Точно уж не версия типа «Но ведь каждый *должен* иметь возможность осуществить эту идентификацию». Возможно, каждый должен, но не каждый это делает, и почти никто не выбирает больше, чем пару безопасно огороженных протоптанных путей. (Нынче в чести академическая идеология, утверждающая, что все, кто обладают классовой привилегией, *должны* идентифицироваться через классовые границы; но кому неизвестно, что из очень немногих ученых в США моложе 50, которые смогли это успешно осуществить, большинство также «случайным образом» оказались выросшими из красных пеленок?) Если этическое предписание может что-либо объяснить — а я сомневаюсь в этом, — то это

далеко не полное объяснение. Мне часто кажется, что, как раз наоборот, эти подспудные вопросы требуют в ответ нарратива, и откровенно персонального. Когда я экспериментировала с подобными нарративами в связи с этим продолжающимся проектом, я имела в виду достичь нескольких целей.⁴⁹ Я хотела разоружить категорический императив, который старательно содействует лицемерию и мистификации мотивов в мире политически корректной академии. Я хотела попытаться открыть поле видимости — в сторону говорящего в данном случае, — которое могло бы служить противовесом ужасной однонаправленной театризации мужчин-геев, в которой почти невозможно не участвовать в любом сильном проекте, касающемся геев. Я думала, в каком-то смысле, отдать в жертву заложников, хотя мне страшно думать о том, как кто-то из них стукнется об асфальт возможных будущих конфликтов. Я также хотела предложить (но только на своих условиях) любые инструменты, с помощью которых заинтересованный читатель начнет развязывать узлы слишком перегруженных и тенденциозных аргументов, неизбежных в такой работе. И, наконец, я использовала этот нарратив потому, что я желала его и нуждалась в нем, потому, что его конструкция очень интересовала меня, и то, что я узнала из него, всегда меня удивляло.

Примечание, отнесенное к одному из таких подходов, содержало еще одну причину. «Частичной мотивацией для моей работы над этим, — написала я, — была фантазия, что читатели или слушатели — из-за гнева, идентификации, удовольствия, зависти, “дозволенности”, отлучения — получают стимул для написания изложения, “подобного” этому (что бы это ни означало), о самих себе и будут готовы поделиться с другими».⁵⁰ Мне думается, что некоторые читатели этого эссе действительно сделали это. Подтекстом этого пожелания было то, что не только идентификации *через* дефиниционные границы способны пробудить, или поддержать, или даже потребовать сложных и конкретных разъяснений нарратива; скорее, то же самое верно по отношению к любой идентификации человека, с его или ее «собственным» гендером, классом, расой, сексуальностью, нацией. Я думаю, в частности, о выпускном курсе, на котором я преподавала литературу геев и лесбиянок несколько лет назад. Половина студентов в классе были мужчины, половина женщины. В течение семестра все женщины, включая меня, испытывали сильный дискомфорт по поводу динамики группы и большие затруднения при артикуляции лесбийского контекста в ракурсе мужской гомосексуальности, объясняя этот дискомфорт отклонением от нормы взаимоотношений в аудитории между нами и мужчинами. Но к концу семестра стало ясно, что мы оказались в тисках гораздо более тесного диссонанса. Получалось, что именно в женской группе, довольно однородной по общим параметрам, где все были феминистками, завибрировал нерв индивидуальных внутренних различий, заражая всех нас. В процессе, который

начался, но *только* начался, через принятие некоторых различий среди наших почти неявных, часто невыкристаллизованных сексуальных самоопределений, оказалось, что каждая женщина в группе располагала (или, скорее, чувствовала, что мы все захвачены) способностью заставить одну или нескольких женщин глубоко и мучительно усомниться в праве самоопределиться как женщине, как феминистке и как субъекту с определенной сексуальностью.

Я думаю, это вполне вероятно, что большинство людей, особенно тех, кто связан с любым айдом политики, касающейся проблем идентичности — расы, например, равно как и сексуальности и гендера, — были наблюдателями или соучастниками в этом процессе внутреннего отторжения, как и в обратном процессе. Политическая и педагогическая польза деструктивности этих диссонансных движущих сил вряд ли является данностью, хотя, возможно, испытывать эти ощущения всегда отвратительно. Эта динамика — отрицание одних и консолидация с другими — не является побочным явлением в политике идентичностей, но именно формирует ее. В конечном счете, идентифицировать себя *как* должно включать и множественные процессы идентификации *с кем-то*. Но это включает и идентификацию *от противоположного*; но даже если бы этого не было, отношения, проявленные через *идентификацию с кем-то*, с позиций психоанализа, весьма нагружены интенсивностью инкорпорирования, заниженной оценки, гордыни, угрозы, потери, компенсации и отречения. Для политики вроде феминизма, более того, эффективная моральная позиция заключалась в способности осознанно и неформально включать в свой круг женщин, которые в противном случае разобщены между собой практически в любой другой жизненной ситуации. В этом случае наличествует очень сильный мотив маскировки любой возможности разделения между собственной идентификацией *как* (женщина) и идентификации *с* (женщинами, находящимися в совершенно другом положении, — для буржуазных феминисток это означает радикально менее привилегированными). По крайней мере для относительно привилегированных феминисток моего поколения символом веры, и очень поучительным, было то, что для принятия себя как женщины в принципе нужно было пытаться принять себя снова и снова как будто через множество инкарнаций, в каждой все более уязвимых ситуациях и воплощениях. Цена этого давления в сторону мистификации — непрерывного воссоединения, в одном монолитном действии во имя *идентификации с/как*, — я думаю, очень высока для феминизма, хотя и награда тоже немалая. (Ее политическая эффективность в смысле расширения основ феминизма, с моей точки зрения, остается предметом для дискуссии.) *Идентификация с/как* явно созвучна с парадоксальной проблемой сочетания старой идеологии, утверждающей женскую «самоотверженность», с новой феминистской идеей, которая начинается с открытия се-

бя, но легитимизируется только при сознательной маскировке границ этой репрезентации себя.

Хорошо это или плохо, но основное течение в мужской гей-политике не выстраивалось таким же образом, как феминизм, под давлением этического принципа. Однако, как я буду подробно рассматривать в главе 3, есть целый ряд причин, почему проблематика *идентификации* с/как сильно созвучна с темой мужской гомо/гетеросексуальной дефиниции. «Между мужчинами» было попыткой продемонстрировать, что современная гомофобная конструкция мужской гетеросексуальности концептуально связана с различием между мужской *идентификацией* (с мужчинами) и мужским *желанием* (к женщине), различием, искусственность которого латентна там, где она не очевидна. Акцентация (относительно недавняя) на «гомо-», на измерении тождества, встроенная в современное понимание отношений сексуального желания внутри одного гендера, обладала устойчивой и активной силой обнажать эту искусственность, показывать, как близко может быть слияние и даже смешение идентификации и желания. Таким образом, вся социальная область заместительного оказывается странным образом нагружена ассоциациями с гомо/гетеросексуальной дефиницией. В главе 3 будет доказываться, что процесс гомосексуального атрибутирования и идентификации характеризуется особой центральностью в двадцатом веке для многих презираемых, но крайне значимых видов отношений, задействующих проективные цепи заместительной инвестиции: сентиментальность, кич, кэмп, познающий, сладострастный, лукавый, болезненный.

Вполне возможно, что существует ярко выраженная особенность заместительности, встроенная в гей-дефиницию. Я отмечаю это не для того, чтобы придумать оправдание для иного, открыто замещающего катехизиса, написанного извне, который мотивирует это исследование; в нем нет нужды, и без него можно обойтись. Но это, в свою очередь, может позволить обнаружить пути, по которым я могла отклониться от цели. Я могу сказать в целом, что заместительные инвестиции, наиболее для меня очевидные, относились к моему опыту как женщины; как толстой женщины; как бездетного взрослого человека; как человека, который в нескольких различных дискурсивных режимах оказывается сексуальной извращенкой; и в других — еврейкой. В качестве примера: я размышляла о своей способности генерировать идеи на тему «чулана» по сравнению с относительной неспособностью найти новые идеи о существенных изменениях, внесенных постстоунуолловскими императивами в дело вторжения в это пространство или освобождения его. (И все это несмотря на все убедительные аргументы, преподанные бесценной политикой «выхода» геев «наружу», изменившей многие жизни вокруг меня.) Может ли на меня не влиять тот факт, что мое отношение как женщины к мужскому геевскому дискурсу и мужчинам-геям резонирует

сильнее с временами до Стоунолла, с самоопределением геев до (скажем) 50-х годов? — с чем-то, что носит столь экзотические имена, чье звучание слишком грубо и уничижительно, чтобы претендовать на признание, не говоря уже о признании достоинства; пространство бесславия и отказа в признании может тоже быть наполнено эфиром неназванного, но проживаемого эксперимента.

Пруст: «Книга, иероглифы которой не прослежены нами, — это единственная книга, которая нам принадлежит». Я чувствую, что именно так эта книга принадлежит мне; я надеюсь, что некоторым из ее читателей она принадлежит как-то иначе.

¹ На эту тему см. Jonathan Katz, *Gay/Lesbian Almanac: A New Documentary* (New York: Harper & Row, 1983), pp. 147—50; для продолжения дискуссии, David M. Halperin, *One Hundred Years of Homosexuality* (New York: Routledge, 1989), p. 155n.1 and pp. 158—9n.17.

² Это аргументация из моей работы *Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire* (New York: Columbia University Press, 1985).

³ Michel Foucault, *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*, trans. Robert Hurley (New York: Pantheon, 1978), p. 27.

⁴ ACT UP — одна из крупнейших общественных организаций в США, занимающихся просвещением по вопросам СПИДа, безопасного секса, оказывающая поддержку жертвам этой болезни. — *Прим. перев.*

⁵ «Я вышел, следовательно, я существую» — слоган, использующий двойное значение выражения «to be out» — «выйти на улицу» и «выйти из подполья», «обнаружить свою гомосексуальность». — *Прим. перев.*

⁶ Sally McConnell-Ginet, «The Sexual (Re)Production of Meaning: A Discourse-Based Theory,» manuscript, pp. 387—88, quoted in Cheris Kramarae and Paula A. Treichler, *A Feminist Dictionary* (Boston: Pandora Press, 1985), p. 264; emphasis added.

⁷ Кэтрин МакКиннон (Catherine MacKinnon) аргументирует эту позицию более основательно в работе «Feminism, Marxism, and the State: An Agenda for Theory,» *Signs* 7, no.3 (Spring 1982): 515—44.

⁸ Сьюзен Браунмиллер (Susan Brownmiller) наиболее сильно и убедительно продемонстрировала эту ситуацию в книге *Against Our Will: Men, Women and Rape* (New York: Simon and Schuster, 1975).

⁹ Robert Pear, «Rights Laws Offer Only Limited on AIDS, U.S. Rules,» *New York Times*, June 23, 1986. То, что это постановление сформулировано с целью разрешить, спровоцировать и узаконить нанесение вреда и оскорбления, становится очевидным из его текста, процитированного в статье. «Лицо, — говорится в постановлении, — не может рассматриваться в качестве недееспособного (а следовательно, получать федеральную поддержку) только на основании того, что другие избегают его общества. В противном случае обладатели дурных личных качеств, от плохого характера до несоблюдения личной гигиены, могут рассматриваться как недееспособные».

¹⁰ Это не означает, что только мужчины-гомосексуалы были жертвами этого постановления. Даже в самом добросовестном дискурсе, относящемся к проблеме СПИДа в США, существовала проблема, которую данное эссе не предполагает разрешить каким-либо образом, — проблема воздаяния должного одновременно и относительной (и возрастающей) гетерогенности жертв СПИДа, и той специфичности, с которой дискурс о СПИДе на каждом уровне до самого недавнего времени был сфокусирован на мужской гомосексуальности. В контексте мировой эпидемиологии, разумеется, СПИД не ассоциируется с гомосексуалами, и, собственно, то же самое верно в отношении этой страны. Осознание этого факта/манипуляция им отражены в неожиданном изменении курса кампании масс-медиа в 1987 году. Та степень, до которой дошла СПИДофобия, сделавшая козлами отпущения мужчин-геев, вынеся (среди всего прочего) их сексуальные практики и образ жизни на суд общества, привела к совершенно неожиданным результатам — исключению из поля видимости других жертв этой фатальной болезни. Таким образом, те самые жертвы относились к уже наиболее уязвимым группам — наркоманам, использующим внутривенные средства, работникам сферы секс-услуг, женам и подругам скрытых гомосексуалистов, — к тем, чья позиция относительно мужчин-геев в глазах общества оставалась невидимой, а следовательно, полностью незащищенной. (Стоит отметить тот факт, например, что статьи в прессе о проститутках, больных СПИДом, не демонстрировали озабоченности здоровьем самих женщин — а только их способностью заразить мужчин. Точно так же кампания по предоставлению бесплатных одноразовых шприцев для наркоманов до начала 1987 года не получила даже самой скудной государственной поддержки по сравнению с программой обучения безопасному сексу для мужчин-геев.) Ущерб, наносимый гомофобией, с одной стороны, и классовым/расовым/гендерным неравенством — с другой; интенсивной регуляторной видимостью, с одной стороны, и дискурсивным затиранием — с другой: эти пары не только несопоставимы (но почему мы соизмеряем их друг с другом, а не с теми несущими куда больший освободительный потенциал возможностями, что они исключают?), но и очень плохо концептуально сочетаются друг с другом. А максимально головокружительным становится этот эффект, когда эти несопоставимые виды ущерба падают на одного и того же человека — например, на цветного гея. В центре внимания данной книги находится специфический ущерб от гомофобии; но в той степени, в которой она вызвана общественным давлением СПИДофобии — и стремлением ему сопротивляться, — я должна хотя бы прояснить, насколько даже то, что составляет самую суть ее намерений, тем не менее исключается из ее области рассмотрения.

¹¹ Графическое оформление этого события на первой странице «Таймс»: внизу под тремя колонками главной статьи номера, посвященной данному постановлению, фотография, рассказывающая о наплыве военных моряков в гостеприимный Нью-Йорк на празднование «Дня Свободы», изображает двух озабоченных, но очень привлекательных моряков в белоснежной униформе, «спрашивающих дорогу у офицера полиции» (*New York Times*, July 1, 1986).

¹² «The Supreme Court Opinion, Michael J. Bowers, Attorney General of Georgia, *Petition v. Michael Hardwick and John and Mary Doe, Respondents*,» text in *New York Times*, no. 196 (July, 14, 1986): 15.

¹³ Это слово цитируется отдельно, например, в шестом предложении заглавной статьи в «Таймс», анонсирующем это решение (July 1, 1986). В редакторской статье «Таймс», осуждающей это решение, отмечается грубость этого слова до того, как описывается действительная оскорбительность самого постановления. *The New York Native* и процитированные в нем лидеры гей-движения также широко обыгрывали это слово, сразу после принятия постановления (например, no. 169 [July 14, 1986]: 8, 11).

¹⁴ *New York Native*, no. 169 [July 14, 1986]: 13.

¹⁵ Более подробное развитие этих позиций см. в моей работе «Privilege of Unknowing», *Genders*, no. 1 (Spring 1988): 102–24, прочтение «Монахини» Дидро, из которой взяты шесть предыдущих абзацев.

¹⁶ Foucault, *History of Sexuality*, pp. 105, 43.

¹⁷ Foucault, *History of Sexuality*, p. 43.

¹⁸ Harold Beaver, «Homosexual Signs», *Critical Inquiry* 8 (Autumn 1981): 115.

¹⁹ *Roland Barthes by Roland Barthes*, trans. Richard Howard (New York: Hill and Wang, 1977), p. 133.

²⁰ Beaver, «Homosexual Signs», pp. 115–16.

²¹ Я должна пояснить, что расположение мною всех этих дефиниционных позиций в бинарной форме обусловлено не моей мистической верой в число 2, но потребностью последовательно схематизировать толкование столь многообразных социальных векторов. Та фальсификация, которая неизбежно осуществляется в каждой из этих редукций, не может, к сожалению, оставаться последовательной. Но в целях постановки гипотез я вынуждена прибегнуть к этой серьезной редукции, по крайней мере в их изначальной формулировке.

²² Sedgwick, *Between Men*, pp. 201, 202.

²³ Robert Freiberg, «Blaming the Victim»: New York life for the 'Gay Panic' Defence,» *The Advocate*, May 24, 1988, p. 12. Для более углубленного рассмотрения системы защиты «гомосексуальная паника» см. «Burdens of Gay Litigations and Bias in the Court System: Homosexual Panic, Child Custody, and Anonymous Parties,» *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review* 19 (1984): 498–515.

²⁴ Цитируется из Joyce Norcini, in «NGRA Discredits 'Homosexual Panic' Defence,» *New York Native*, no. 322 (June 19, 1989): 12.

²⁵ Freiberg, «Blaming the Victim», p. 11

²⁶ Sedgwick, *Between Men*, p. 89.

²⁷ На эту тему см. Patricia Meyer Spacks, *Gossip* (New York: Alfred A. Knopf, 1985).

²⁸ Хорошее обсуждение этой темы в Henry Abelove, Freud, Male Homosexuality, and the Americans,» *Dissent* 33 (Winter 1986): 59–69.

²⁹ Гейл Рубин (Gayle Rubin) рассматривает сходную проблему ограничения пространства для признания «мягких форм сексуальных вариаций» в «Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality,» in Carole

S Vance, ed., *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality* (Boston: Routledge & Kegan Paul, 1984), p.283.

³⁰ Gayle Rubin, «The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex.» in Rayna R. Reiter, ed., *Toward an Anthropology of Women* (New York: Monthly Review Press, 1975) pp. 167—210.

³¹ Rubin, «Thinking sex», pp. 307—8.

³² Ценные дискуссии, относящиеся к данной теме, см. в: Katie King, «The Situation of Lesbianism as Feminism's Marginal Sign: Contests for Meaning and the US Women's Movement, 1968—1972», in *Communication* 9 (1986): 65—91. Спецвыпуск, «Feminist Critiques of Popular Culture,» ed. Paula A. Treichler and Ellen Wartella, 9: 65—91; Teresa de Lauretis, «Sexual Indifference and Lesbian Representation,» *Theatre Journal* 40 (May 1988): 155—77.

³³ Труды по мужской гей-теории, использующие более комплексные модели исследования о пересечении разных форм угнетения, включают в себя Gay Left Collection, eds., *Homosexuality: Power and Politics* (London: Allison & Busby, 1980); Paul Hoch, *White Hero, Black Beast: Racism, Sexism, and the Mask of Masculinity* (London: Pluto, 1979); Guy Hocquenghem, *Homosexual Desire*, trans. Daniella Dangoor (London: Allison & Busby, 1978); Mario Mieli, *Homosexuality and Liberation: Elements of a Gay Critique*, trans. David Fernbach (London: Gay Men's Press, 1980); D.A Miller, *The Novel and the Police* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1988); Michael Moon, «The Gentle Boy from the Dangerous Classes': Pederasty, Domesticity, and Capitalism in Horatio Alger,» *Representations*, no. 19 (Summer 1978): 87—110; Michael Monn, *Disseminating Whitman* (Cambridge: Harvard University Press, 1990); and Jeffrey Weeks, *Sexuality and its Discontents: Meanings, Myths and Modern Sexualities* (London: Longman, 1980).

³⁴ Впечатляющие феминистские социалистические исследования включают в себя Michele Barrett, *Women's Oppression Today: Problems in Marxist Feminist Analysis* (London: Verso, 1980); Zillah Eisenstein, ed., *Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism* (New York: Monthly Review Press, 1979); and Juliet Mitchell, *Women's Estate* (New York: Wintage, 1973). О пересечении расового с гендерным и сексуальным угнетением см., например, Elly Bulkin, Barbara Smith, and Minnie Bruce Pratt, *Yours in Struggle: Three Feminist Perspectives on Anti-Semitism and Racism* (New York: Long Haul Press, 1984); Bell Hooks [Gloria Watkins], *Feminist Theory: From Margin to Center* (Boston: South End Press, 1984); Katie King, «Audre Lorde's Lacquered Layerings: The Lesbian Bar as a Site of Literary Production,» *Cultural Studies* 2, no.3 (1988): 321-42; Audre Lorde, *Sister Outsider: Essays and Speeches* (Trumansburg, N. Y.: The Crossing Press, 1984); Cherrie Moraga, *Loving in the War Years: Lo que nunca paso por sus labios* (Boston: South End Press, 1983); Cherrie Moraga and Gloria Anzaluda, eds., *This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color* (Wattertown: Persephone, 1981); rpt. Ed., New York: Kitchen Table: Women of Color Press, 1984); and Barbara Smith, ed. *Home Girls: A Black Feminist Anthology* (New York: Kitchen Table: Women of Color Press, 1983). Хорошее обозрение на тему некоторых подобных пересечений в отношении женщин, особенно лесбиянок, можно найти у Ann Snitow, Christine Stansell, and

Sharon Thompson, eds., *The Powers of Desire: The Politics of Sexuality* (New York: Monthly Review/New Feminist Library, 1983); Vance, *Pleasure and Danger*; and de Lauretis, «Sexual Indifference».

³⁵ Этим списком я обязана Рубин — Rubin, «Thinking sex», pp. 281—82.

³⁶ См., помимо других, Marilyn Frye, *The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory* (Trumansburg, N. Y.: The Crossing Press, 1983), and Luce Irigaray, *This Sex Which Is Not One*, trans. Catherine Porter with Carolyn Burke (Ithaca: Cornell University Press, 1985), pp. 170—91.

³⁷ Adrienne Rich, «Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence,» in Catharine R. Stimpson and Ethel Spector Person, eds., *Women, Sex, and Sexuality* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), pp. 62—91; Lillian Faderman, *Surpassing the Love of Men* (New York: William Morrow, 1982).

³⁸ См., например, Esther Newton, «The Mythic Mannish Lesbian: Radclyffe Hall and the New Woman,» in Estelle B. Freedman, Barbara C. Gelpi, Susan L. Johnson and Kathleen M. Weston, eds., *The Lesbian Issue: Essays from SIGNS* (Chicago: University of Chicago Press, 1985), pp. 7—25; Joan Nestle, «Butch-Fem Relationships», pp.21—24, and Amber Hollibaugh and Cherrie Moraga, What We're Rollin' Around in Bed With,» pp. 58—62, both in *Heresies* 12, no.3 (1981); Sue-Ellen Case, Towards a Butch-Femme Aesthetic, «*Discourse: Journal for Theoretical Studies in Media and Culture* 11, no.1 (Fall-Winter 1988—1989): 55—73; de Lauretis, «Sexual Indifference»; and my «Across Gender, Across Sexuality: Willa Cather and Others,» *SAQ* 88, no. 1 (Winter 1989): 53—72.

³⁹ На эту тему см., помимо других, Judy Grahn, *Another Mother Tongue: Gay Words, Gay Worlds* (Boston: Beacon Press, 1984).

⁴⁰ On James Dean, see Sue Golding, «James Dean: The Almost-Perfect Lesbian Hermaphrodite,» *On Our Backs* (Winter 1988): 18—19, 39—44.

⁴¹ Это, разумеется, не означает, что лесбиянки менее подвержены СПИДу, чем люди с другой сексуальностью, когда совершают акты (весьма распространенные), которые опасны заражением вирусом, с человеком (и таковых много, включая лесбиянок), который уже является носителем. В этой конкретной парадигмальной коллизии между дискурсом сексуальной идентичности и дискурсом сексуальных актов первая альтернатива особенно разрушительна. Никто не должен пытаться усиливать миф о том, что эпидемия СПИДа — это вопрос отдельных «групп риска», которые нуждаются в определенных видах профилактики. Этот миф опасен для само-идентифицирующихся или публично идентифицируемых мужчин-геев и наркоманов, потому что делает их козлами отпущения, и опасен для всех остальных, потому что препятствует их самозащите и самозащите их сексуальных партнеров или тех, кто пользуется шприцем вместе с ними. Но по некоторым причинам доля лесбиянок, заболевших СПИДом, действительно ниже, чем в других социальных группах.

⁴² Foucault, *History of Sexuality*, p. 43.

⁴³ См., например, Alan Bray, *Homosexuality in Renaissance England* (London, Gay Men's Press, 1982); Katz, *Gay/Lesbian Almanac*; Halperin, *One Hundred Years of Homosexuality*; Jeffrey Weeks, *Sex, Politics, and Society: The Regulation of Sexuality since 1800* (London, Longman, 1981); and George Chauncey, Jr., «From

Sexual Inversion to Homosexuality: Medicine and Changing Conceptualization of Female Deviance,» *Salmagundi*, no. 58—59 (Fall 1982-Winter 1983): 114—45.

⁴⁴ Halperin, *One Hundred Years of Homosexuality*, pp. 8—9.

⁴⁵ Серия «Антологий Нортон» — наиболее популярных в США хрестоматий по американской и английской литературе (и по другим предметам также) для колледжей и университетов — представляет собой максимально зримое и конкретное воплощение того мастер-канона, о котором говорит автор (в том числе в последние годы — мини-канонов). Роман Мэри Шелли «Франкенштейн» (1818 г.), положивший начало нововременной традиции «литературы ужасов» (или «готической литературы»), до последних десятилетий был относим к «низкому жанру» и в «Антологии Нортон» начал включаться только в 1980-е годы. — *Прим. ред.*

⁴⁶ Первая строка одного из известнейших стихотворений Эмили Дикинсон, в котором критики обычно видят ее собственное объяснение тому факту, что она не печатала своих стихов. Для лучшего понимания мысли И. К. С. это стихотворение можно прочесть, например, в: Американская поэзия в русских переводах. XIX—XX вв. — М.: Радуга, 1983. С. 160—161. Что интересно, именно это стихотворение мы можем обнаружить только в «Антологии Нортон»: Женщины-авторы» (*The Norton Anthology: Literature by Women*). — *Прим. ред.*

⁴⁷ Allan Bloom, *The Closing of the American Mind* (New York: Simon & Schuster/Touchstone, 1988), p. 236. Дальнейшие цитаты отмечены постранично в тексте.

⁴⁸ *Between Men*, p. 19.

⁴⁹ Самый длинный нарратив напечатан как «A Poem Is Being Written», *Representations* no. 17 (Winter 1987): 110—43. Более фрагментарные или менее откровенные появлялись в «Tide and Trust», *Critical Inquiry* 15, no. 4 (Summer 1989): 745—57; в главе 4 данной книги и в «Privilege of Unknowing».

⁵⁰ «A Poem Is Being Written», p. 137.

ЧУЛАН

Из «Оксфордского словаря английского языка»:

Closet суш. [ст.-фр. *closet*, уменьш. от *clos* :- лат. *clausum*]

1.a. Помещение для уединения или укромное помещение; личная комната; внутренняя комната; ранее часто = *будуар*; позднее — всегда небольшое помещение.

1370 И сон объял его в покое [*closet*] его.

1586 Зовем мы самое тайное место в доме, что всего более для наших собственных уединенных раздумий пригодно... Кабинетом [*a Closet*].

1611 Жених да выйдет из своей комнаты, а невеста — из своей [*closet*].

1750 Незванный гость, внезапно вторгающийся в кабинет [*closet*] автора.

b. *особ.* Подобная комната, используемая в качестве места для творения уединенной молитвы (аллюзия на *Матф.* vi. 6). *арх.* [келья]

c. В качестве места частных занятий или уединенных размышлений; *особ.* в отношении чистой теории, противопоставленной практическим действиям.

1746 Знание мира обрести можно только в миру, но не в Кабинете [*the Closet*].

2. Личное жилище монарха или суверена.

3.a. Личное хранилище для ценностей или (*особ.* позднее) диковинок; ларец. *арх.* или *устар.*

b. Маленькое боковое помещение или ниша для хранения утвари, продуктов и т.д.; кладовая.

c. *Скелет в шкафу* (или *чулане*) [*Skeleton in the closet (cupboard)*]: частная или скрываемая проблема в чем-либо доме или обстоятельствах, до сих пор существующая и до сих пор могущая обнаружиться.

4. При подчеркивании размера: любое маленькое помещение, особенно связанное или сообщающееся с большим.

5. *образн.* Логово или берлога дикого животного. *Устар.*

б.а. *перен.* То, что обеспечивает уединение, как личная комната, или замкнуто со всех сторон, как чулан; тайное или скрытое место, убежище, пристанище.

1450–1530 Се, из чрева девы, из пристанища сокровенного Сын Божий явился.

1594 Тело сие... часто нарицают малым сердца убежищем.

7. Сокращение от «Комната облегчения» [Closet of ease], «ватерклозет» [water-closet].

1662 Комната облегчения [A Closet of ease].

8. Канализация. *Устар.*

[Перевод лат. *cloaca*: происхождение непонятно; во французском нет похожего слова.]

9. *атрибут.*, указывает на место... уединенных занятий и размышлений, напр. *кабинетная* [closet-] *упорная работа, кабинетный философ, политик, -ая теория, -ый ученый, -ое исследование.*

1649 Причины, по которым ему следует возносить молитву устами свершающего богослужение домашнего капеллана [Closet-chaplain].

1649 Они знали, что Король... высосал из них и их кабинетных трудов [Closetwork] все свои бессильные принципы Тирании и Суеверия.

1612–5 Есть грехи явные и грехи тайные [closet-sins].

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ЧУЛАНА

Ложь, ложь, достигающая совершенства, ложь о наших знакомых, о наших с ними отношениях, побудительная причина, заставившая нас действовать так-то и так-то и совершенно нами переиначенная, ложь о том, что мы собой представляем, о том, что мы любим, что мы испытываем по отношению к любящему существу... — эта ложь — одна из немногих вещей в мире, способных открыть нам вид на новое, на неведомое, способных разбудить спящие в нас чувства — разбудить для созерцания вселенной, которую мы бы так и не узнали.

Пруст. *Пленница.*

Эпистемология чулана — это и не насущная тема нашего времени, и не новое ее осмысление. Хотя события, начавшиеся в 1969 году в Стоунуолле, вызвали воодушевленную веру в магнетическую силу и открывающиеся возможности публичного самораскрытия в гомосексуальной среде, аура секрета отнюдь не была нарушена. В каком-то смысле как раз наоборот. Чувствительная антенна общественного интереса воспринимала каждую драму разоблачения геев (особенно невольного) как нечто захватывающее и сладостное, не утрачивающее свою новизну в нагнетаемой атмосфере публичного толкования темы любви, не осмеливающейся назвать себя. Настолько эластична и насыщена структура этого контекста, что не может легко сдаться на потребу социальной пользы. Как отмечает Д. А. Миллер в своем эссе-апологии, секретность может действовать как «субъективная практика, в которой создается противопоставление приватное/публичное, внутреннее/внешнее, субъект/объект, где посягновения на святость первого понятия недопустимы. И феномен “открытого секрета” отнюдь, как можно было бы ожидать, не разрушает эти бинарные оппозиции и их идеологический эффект, но, скорее, служит подтверждением их загадочному самовозрождению».¹

Даже на индивидуальном уровне, среди самых открытых геев найдется очень мало тех, кто не скрывает намеренно свою ориентацию от людей, значимых для них в личном, экономическом или институциональном смысле. Более того, удушающая эластичность гетеросексистского мира настолько самоуверенна, что, подобно Венди из «Питера Пэна», человек, на секунду утратив бдительность, обнаруживает вырастающие вокруг себя стены. Любое столкновение с новыми людьми, будь то новые одноклассники, тем более новый начальник, социальный работник, банковский клерк, домовладелец, врач, создает вокруг него не-

проницаемый колпак, тяжесть которого, а также его оптические и физические свойства требуют (по крайней мере, от человека гомосексуальной ориентации) новой предусмотрительности, новых расчетов, новых усилий и действий для соблюдения секретности или же ее раскрытия. Гомосексуальная личность ежедневно имеет дело с собеседниками, о которых ей неизвестно — знают они или нет; равно как самим собеседникам непонятно, в том случае если они знают, насколько значимо это знание. Так же — по сути — непонятно, по каким критериям человек, устраивающийся на работу, заявляющий на права опеки или посещения, на страховку, ищущий защиты от насилия или насильственной «терапии», от искаженного стереотипа, от оскорбительных расспросов, просто от оскорблений, от навязанных интерпретаций его телесности, — сознательно предпочитает оставаться или снова уходить в подполье в тех или иных жизненных ситуациях. Гомосексуальный чулан не является признаком только гомосексуальной культуры. Но для многих геев и лесбиянок он по-прежнему является основополагающим фактором социальной среды; лишь немногие гомосексуальные люди, будь это их природная смелость и прямота или поддержка ближнего окружения, обходятся без навязчивого присутствия чуланного менталитета.

И хотя я намерена утверждать здесь, что эпистемология чулана имеет всеобъемлющее влияние на гомосексуальную культуру и идентичность в нашем веке, это не значит, что не существует возможностей для критических перемен внутри и за пределами чулана. Есть несомненный риск в переоценке неизменности и значимости подполья, которое в историческом нарративе — будь это прошлое или будущее — не несет спасительного смысла апокалиптического прорыва. Некритичный взгляд, лишенный утопического наполнения (возможно, от безысходности), может привести к созданию романтического ореола вокруг самого чулана, восприятию как неизбежности или самоценности его жестких границ, его деформирующего влияния, его бессилия и даже боли. И эта ловушка столь заманчива отчасти потому, что неутопическая традиция гомосексуальной мысли, культуры и литературы так насыщена и продуктивна в нашу эпоху при полном отсутствии рационализации и зачастую не подвергается политическому прочтению. Эпистемология чулана также, в более широком смысле, но с меньшим признанием, привнесла значительный вклад в современную западную культуру и историю. И хотя этот факт позволяет задавать вопросы по поводу самого феномена чулана, он не дает нам права внедряться в пространство его обитателей (пусть даже двусмысленное), исключать из всеобъемлющей гетеросексистской культуры тех, кто заперся в нем, чьи интимные репрезентативные потребности удовлетворяются этим бегством, не воспринимаемым ими как вынужденное.

Тем не менее я не представляю себе, на этом этапе, какой-либо устойчивой альтернативы, и, вполне возможно, по причинам, рассмотренным ниже, такая альтернатива весьма сомнительна. Но можно попытаться расширить поле изысканий, варьировать с помощью новых испытательных подходов угол восприятия проблемы, что и является одним из методологических проектов данной дискуссии.

* * *

В 1973 году в округе Монтгомери, Мэриленд, учитель геологии в восьмом классе по имени Аканфора был смещен с преподавательской должности Советом по образованию, когда стало известно, что он гомосексуал. После выступлений Аканфоры о его ситуации в средствах массовой информации, таких как «60 минут» и Общественное вещание, ему было полностью отказано в возобновлении контракта. Аканфора подал в суд. Федеральный районный суд, впервые рассматривавший иск Аканфоры, поддержал действия и аргументацию Совета по образованию, считая, что его обращение к прессе привлекло незаслуженное внимание к нему самому и его сексуальности, что могло повредить учебному процессу. Четвертый окружной апелляционный суд не согласился с этим решением. Он расценил публичное признание Аканфоры подпадающим под защиту свободы слова в соответствии с Первой поправкой к конституции. Но хотя он и не принял аргументов нижней инстанции, апелляционный суд тем не менее подтвердил правильность решения о запрете на преподавательскую деятельность Аканфоры. Мало того, ему было отказано в самом праве подавать иск на основании того, что при приеме на работу он не сообщил, что во время учебы в колледже являлся активистом студенческой гомосексуальной организации — информация, которая, по признанию администрации школы, не позволила бы ему получить эту должность. Теперь уже аргументом в пользу отставки Аканфоры от учительства было не то, что он вел себя слишком нескромно, а, наоборот, что он был недостаточно откровенен.² Верховный суд отказался рассматривать апелляцию.

Поразительно то, что в обоих судебных решениях в деле Аканфоры делался акцент на то, что гомосексуальность учителя «сама по себе» не являлась приемлемым основанием для отказа в получении должности. Каждый из судов в своем решении четко разделял между собственно гомосексуальностью Аканфоры, оставляемой в скобках и якобы защищенной законом, с одной стороны, с другой — уязвимостью его позиции в отношении информации об этой самой гомосексуальности. Так очевидно демонстрирует эта история уязвимость гомосексуального существования, его незащищенность от противоречивых обвинений, где пространство, в котором существует гомосексуал-учитель, подвергается

постоянным ударам с обеих сторон за «преступную» откровенность, вмещающую и запрещающую одновременно.

Та же непоследовательность просматривается в контексте дебатов относительно определений *публичного* и *приватного*, неразрешимая загадка для тех, кто занимается правовым пространством гомосексуального бытия. Когда Верховный суд отказался рассматривать в 1985 г. апелляцию по делу «Роуланд против Школьного микрорайона Мэд Ривер» об увольнении бисексуального консультанта по учебе за то, что она открылась нескольким сотрудникам, факт самопризнания не сочли подпадающим под Первую поправку [к Конституции США. — *Прим. перев.*], поскольку он не являл собой выступление в защиту «общественных интересов». Но, разумеется, всего полтора года спустя в ответ на заявление Майкла Хардвика, что его личная жизнь никого не касается, тот же самый Верховный суд США постановил, что это не так и, даже находясь в ведении жесткой юрисдикции, но не являясь предметом *общественных* интересов, гомосексуализм не может, однако, по непреложному мнению Верховного суда, рассматриваться как *частное* дело.³

Наиболее очевидным фактом в этой истории юридических формулировок выступает то, что они кодифицируют издевательскую систему двойного ограничения, которая систематически угнетает гомосексуалов, посягает на их идентичность и, используя противоречивые запреты, подрывает саму основу их жизни. Это непосредственное политическое осознание может быть, однако, дополнено исторической гипотезой, ориентированной в другом направлении. Мне хотелось бы показать, что немало энергии, затраченной на проведение демаркационных линий в обсуждении гомосексуализма с конца девятнадцатого века в Европе и Соединенных Штатах, исходит из четко прослеживаемой связи гомосексуальности и более широкой темы секретности и рассекречивания, приватного и публичного, которые были и являются весьма проблематичными для гендерных, сексуальных и экономических структур гетеросексистской культуры в целом. Процесс картографирования этих проблем, несущий в себе новые возможности, но опасный своей непоследовательностью, жестко и надолго сконденсировался в некоторых образах гомосексуальности. Понятия «чулана» (closet) (засекреченности) и «раскрытия» (coming out), включаемые нынче в любой контекст, связанный с возможным пересечением практически любых политически окрашенных границ репрезентации, явились наиболее значимыми и притягательными из этих образов.

«Чулан» — определяющая структура угнетения геев в этой стране. Юридическое обыгрывание дела «Бауэрс против Хардвика» защитниками гражданских прав как преимущественно проблемы конституционального права на частную жизнь и либералистский акцент по следам судебного решения на образе *спальни, захваченной полицейскими* («По-

лицейским позволили снова ворваться в спальню Майкла Хардвика», — гласил заголовок «Нэйтив»⁴ — как будто политической победой явилось бы выдворение ментов на улицу, где им и место, а сексуальности обратно в отведенное *этому* изолированное пространство), помимо всего прочего являются продолжением и утверждением власти образа чулана. Стойкость этого образа подкрепляется даже в случаях, когда его смысл подвергается сомнению в антигомофобных реакциях на дело Хардвика, адресованных читателям-геям:

«Что ты можешь в одиночку? Ответ очевиден. Ты не одинок, и тебе нельзя оставаться одному. Эта дверь, ведущая в чулан — никогда не способная защитить, — сейчас еще более опасна. Ты должен выйти наружу ради самого себя и ради всех нас».⁵

Образ «выхода из чулана» регулярно сопутствует образу засекреченности, и его кажущаяся однозначность в публичном употреблении может восприниматься как спасительная эпистемологическая надежность, противопоставляемая двусмысленной секретности, предоставляемой чуланом. «Если каждый гей и каждая лесбиянка откроются своей семье, — говорится в той же статье, — сто миллионов американцев могут встать на нашу сторону. Работодатели и друзья-натуралы — это еще сто миллионов». Однако отказ школьного округа в Мэд Ривер признать факт самопризнания женщины своим коллегам как естественное право на свободу слова резонирует во многих реакциях на подобные раскрытия: «Все это замечательно, но почему вы считаете, что я хочу об этом знать?»

Теоретики гомосексуализма нашего века, как мы увидим дальше, никогда не были слепы к разрушительным противоречиям этой компромиссной метафоры вхождения в чулан и выхода из него. Но корни ее в европейской культуре настолько разветвлены, как показано в работах Фуко, и их связь с «расширенными», то есть явно негеевскими, топологиями приватности в культуре настолько критична, всеобъемлюща и репрезентативна, как драматизировал Фуко, что простой переход к альтернативной метафоре никогда не был реально возможен.

Недавно я услышала программу Национального общественного радио, определившую шестидесятые годы как десятилетие, когда черные вышли из чулана. По этому же поводу я недавно выступила с речью, содержащей объяснение того, как можно выйти из подполья, будучи толстой женщиной. Очевидный отрыв от геевских корней фразы «выход из чулана» в современном использовании может вызвать предположение, что троп чулана настолько близок сердцу современных толкователей, что может быть выхолощен или уже лишился своей исторической принадлежности к гомосексуальной культуре. Но моя гипотеза в том, что верно как раз противоположное. Я считаю, что весь набор самых значимых локализаций спорных значений в культуре двадцатого столетия, с рубежа веков, логично и нестираемо маркирован исторической

рубежа веков, логично и нестираемо маркирован исторической специфичностью гомосоциального/гомосексуального толкования, особенно — но не исключительно — мужского.⁶ К этим локализациям, как я уже отмечала, относятся и пары секретность/рассекречивание, приватное/публичное. Вместе с этими (а иногда посредством их) эпистемологически нагруженными парами, сконденсированными в понятиях «чулана» и «раскрытия», нынешний весьма специфический кризис определений неизгладимо маркировал и другие парные конструкции, основополагающие для современной культурной организации, — мужественное/женственное, большинство/меньшинство, невинность/инициация, естественное/искусственное, новое/старое, рост/декаданс, обходительность/провинциальность, здоровье/болезнь, тождественное/различное, познание/паранойя, искусство/кич, искренность/сентиментальность и добровольность/вынужденность. Настолько широко разлилось несмыаемое пятно гомо/гетеросексуального кризиса, что обсуждение любого из вышеприведенных знаков в любом контексте при отсутствии антигомофобного анализа должно служить лишь закреплению их явной однозначности.

В любом современном контексте о сексуальности знание/невежество является более чем одной из метонимических цепочек таких бинаризов. Процесс, начавшийся в узких границах европейской культуры, но широко распространившийся и ускорившийся после конца девятнадцатого века, процесс, благодаря которому «знание» и «секс» стали концептуально неотделимыми друг от друга — так что знание в первую очередь воспринимается как сексуальное знание, а невежество — как сексуальное невежество, и любое эпистемологическое давление кажется силой, все более питаемой сексуальным побуждением, — был описан Фуко в его «История сексуальности». В каком-то смысле это тянувшийся почти до замедления процесс отслаивания библейского генезиса, благодаря которому то, что для нас сегодня сексуальность, это плод — безусловно, единственный плод, — который стоит сорвать с древа познания. Познание как таковое, сексуальность как таковая, трансгрессия как таковая в западной культуре всегда были подчинены магнетической силе, сводившей их в непреложную, хотя и не беспроблемную общность друг с другом, а период, начавшийся с романтизма, завершил это выстраивание через невероятно широкое слияние разных языков и институтов.

В некоторых текстах, таких как «Монахиня» Дидро, которые оказали влияние в начале этого процесса, желание, которое представляет чистую сексуальность, а следовательно, сексуальное знание и знание как таковое, есть однополое желание.⁷ Эта возможность, однако, была репрессирована с возрастающей энергией, а следовательно, и возрастающей видимостью, когда культура индивидуальности продолжала развивать версию знания/сексуальности, все более структурируемую ее направленным сознательным отказом от сексуальности между женщина-

ми, между мужчинами. Постепенно материализующийся эффект этого отказа⁸ означал, что к концу девятнадцатого века, когда стало вполне обыденным знанием — и для королевы Виктории, и для Фрейда, — что знание означает сексуальное знание, а секреты — сексуальные секреты, возникла, в сущности, одна конкретная сексуальность, обозначенная как таинство: совершенный объект для нынешней ненасытимо обостренной эпистемологической/сексуальной тревожности субъекта на рубеже веков. Опять же, это была длинная цепь библейских определений сексуальности с определенной когнитивной расстановкой (например, св. Павел в рутинном порядке воспроизвел и переработал определение содомии как преступления, имя которого не должно быть произнесено, и, следовательно, возможность знания о нем умалчивалась), достигшая кульминации в эпохальном публичном заявлении Лорда Альфреда Дугласа в 1894 году «*Я та любовь, что не осмеливается назвать себя*».⁹ В таких текстах, как «Билли Бадд» или «Дориан Грэй», и через их влияние темы, предмет рассмотрения — знание и невежество, невинность и инициация, секретность и рассекречивание — стали отнюдь не условно, но непосредственно связаны с одним определенным объектом осознания того, что сексуальность в целом и тем более сейчас — есть гомосексуальная тема. И конденсация мира возможностей, окружающего однополую сексуальность, включая, скажем, и гомосексуальные желания, и самые неистовые фобии по отношению к ним, конденсация некоего плюрализма к *гомосексуальной теме*, который сформулировал винительный падеж современных процессов индивидуального знания, явилась отнюдь не малым наказанием за кризис сексуальных определений начала века.

Чтобы понять, чем отличительна ситуация, когда просто секрет манифестирует себя как *тот самый секрет*, позвольте мне объединить в коротком анахронистическом ряду несколько показательных нарративов — литературный, биографический, воображаемый, — которые начинаются 1 июля 1986 года, когда было объявлено решение по делу «Бауэрс против Хардвика». Этот момент состоялся в промежутке между геевскими маршами, прошедшими по всей стране в выходные дни, объявлением о новой мстительной политике Департамента юстиции в отношении СПИДа и следующим уикендом, когда пресса накручивала безудержный восторг или истерию вокруг национальной фетишизации пустой, слепой, в короне с острями женской фигуры, абстрактной Свободы, создавая вокруг геев-мужчин, волна за волной, среду вновь осознанной утраты, горя и страха за себя, заставив многих людей почувствовать, как будто по непонятной причине кабина, в которой они ехали, навсегда слетела с рельсов американских горок.

Во многих дискуссиях, которые я слышала и в которых участвовала сразу после решения Верховного суда по делу Бауэрса—Хардвика, антигомофобные или гомосексуальные женщины и мужчины рассуждали,

более или менее сочувственно или злобно, о сексуальности людей, причастных к этому решению. Все время в разных тональностях возникал вопрос о том, как чувствовал бы себя скрытый гомосексуал — судебный ассистент, секретарь или судья, который имел некоторую или даже очень серьезную возможность воспользоваться инструментарием для принятия, или формулирования, или уточнения, или практического продвижения этого решения, этих постыдных установок большинства, оскорбительных приговоров, которым они должны подчиниться.

Эта волна болезненного воображения была перегружена эпистемологической характерностью гомосексуальной идентичности и гомосексуальной ситуации в нашей культуре. И хотя образ чулана весьма живо резонирует во многих современных видах угнетения, для гомофобии он значительно более показателен. Расизм, например, основан на том, что угнетаемый очевидно заклемен, за исключением редких случаев (случаев, которые не так уж редки и не столь уж не важны, но скорее характеризуют гонителей, нежели выщечивают опыт гонимых); таковы и виды угнетения, основанные на гендере, возрасте, размере, физических недостатках. Этнические/культурные/религиозные притеснения, такие как антисемитизм, более близки друг другу хотя бы в том, что изгой имеет хотя бы абстрактную свободу выбора — важно помнить, однако, что никогда нельзя быть уверенным в степени этой свободы, — по поводу осведомленности других людей о его или ее принадлежности к данной группе. Человек может «объявить себя» евреем или цыганом в гетерогенном урбанизированном обществе гораздо более внятно, чем, скажем, «раскрыться» в качестве женщины, черного, старого человека, инвалида в коляске или страдающего ожирением. Еврейская или цыганская (например) идентичность, а следовательно, секретность еврейского и цыганского чулана будет все же отличаться от характерной гомосексуальной версии этих идентичностей в линейной связи с не подвергаемыми сомнению предками, в корнях (даже мучительных или амбивалентных) культурной идентификации через свою первоначальную культуру (как минимум) семьи.

Пруст на самом деле в своем многотомном «В поисках утраченного времени» предлагает в качестве образца тип неполного саморазоблачения на примере драмы еврейской самоидентификации, воплощенной в истории из Книги Эсфирь и в расиновском ее пересказе, как она цитируется в «Содоме и Гоморре». История Эсфири представляется моделью упрощенного, но весьма убедительного «выхода из чулана» и его трансформирующего потенциала. Скрывая свой иудаизм от мужа, царя Ксеркса (Артаксеркса), царица Эсфирь думает, что она попросту утаивает собственную идентичность: «Царь до сего дня не знает, кто я есть».¹⁰ Обман Эсфири является вынужденным из-за мощной идеологии, заставляющей Артаксеркса определять ее народ как нечистый («cette source

impure» [1039]) и как надругательство над природой («Il nous croit en hogueur a toute la nature» [174]). Искренняя, довольно абстрактная ненависть к евреям этого пьющего, но всемогущего царя постоянно подогревается грандиозным цинизмом его советника Амана (Хамана), который мечтает в назидание всем избавить всю планету от нечистого элемента.

Я хочу, чтобы во все века в благоговейном страхе говорили:
«Когда-то были евреи в мире, народ безмерно дерзкий;
их было много, они всю землю населяли;
один из них осмелился навлечь на себя гнев Амана,
и тут же они исчезли, все до одного, с лица земли».

(476–80).

Царь идет на поводу, соглашаясь на подлый геноцид, предложенный Аманом, но двоюродный брат Эсфирь, совесть еврейского народа Мардохей (Мордехай), сообщает ей, что пришло время открыть свою тайну; в этом месте вступает в действие то самое напряженное ожидание, которое знакомо любому гомосексуалу, подумавшему о признании своим гомофобным родителям. «И если погибнуть, погибну», — говорит она в Библии (Книга Есфирь 4:16). То, что раскрытие ее тайной идентичности будет иметь огромное значение, нам совершенно ясно, это основная посылка всей истории. Все, что осталось нам узнать, это — предпочтет ли король подчиниться жестокому давлению своего «политического» предубеждения против ее народа и уничтожит свою «личную» любовь к ней или, наоборот, объявит ее равной себе, но «лучше бы она умерла»? Или вскоре мы обнаружим его в местном книжном магазине, где он, надеясь, что не узнан продавцом, заказывает книгу «Если вы любите еврея».

Библейская история и пьеса Расина, выносимые в их сочетании Холокоста и интима только потому, что нам известен их конец,¹¹ являются проигрыванием конкретной мечты или фантазии о самораскрытии. Всего пять строк возражения звучат в ответ красноречию Эсфири во время признания от шокированного мужа: в сущности, как только она называет себя, и ее повелитель, и Аман понимают, что антисемиты проиграли («AMAN, tout bas: Je tremble» [1033]). Разоблачение личности в пространстве интимной любви безо всяких усилий переворачивает всю систему общественных представлений о естественном и неестественном, о чистом и нечистом. Особенный эмоциональный эффект этой истории заключается в том, что такая малая индивидуальная способность Эсфири рискнуть любовью и одобрением своего господина обладает властью, могущей спасти не только ее место в жизни, но и ее народ.

Нетрудно было бы представить себе версию «Эсфири», поставленную в Верховном суде непосредственно перед решением по делу «Бауэрс против Хардвика». В качестве инженю в заглавной роли тайная гомосексуальная персона, в качестве Ксеркса — гипотетический(ая) судья

того же пола, собирающий(ая) большинство из пяти голосов в поддержку закона штата Джорджия. Судья постепенно все больше любит клерка, странным образом, больше, чем обычно, и... В наших неизбежных возвратах к вопросу о сексуальности членов суда такой сценарий нередко всплывал в воображении моих гомосексуальных друзей и в моем собственном. Горячо споря и не соглашаясь друг с другом, мы представляли себе, как происходят такие признания, почему те, кто не на нашей стороне, не могут раскрыться, например судья, признающий(ая) судье. Не виделось ли нам в окровавленных лохмотьях то, что было побеждено и растоптано отважным действием раскрытия себя — прозаический деспотизм мнения большинства, выстроенный в шеренгу из друзей, клерков, сотрудников, детей? Гораздо чаще и больше было думать обо всех раскрытиях, которые не состоялись, о женщинах и мужчинах, которые не сказали современным слогом, подобно Эсфири:

Осмелюсь я молить тебя за жизнь мою
И за страшную участь моего несчастного народа,
Который ты обрек на гибель со мною вместе

(1029–31).

Нет, мы не искали в этих воображаемых сценах возможности возродить красноречием пафос (отчасти унижительный) Эсфири. Это было нечто более ценное: увидеть вживе, рассмотреть до тонкостей фигуру глупого Ксеркса во всем его имперском нечленораздельном замешательстве неведения: «A perir? Vous? Quel peuple?» («На гибель? Вас? Какой такой народ?» [1032]). И впрямь, «какой народ?» — тот самый, который он вот-вот готов был приказать уничтожить. Однако только посредством этих бессмысленных восклицаний, озвучивших — в немалой степени для него самого — всю тяжесть власти неведения Ксеркса, в одном ряду с тяжестью знания Эсфири и Мордехая, сила открытости обретает мощь. Именно в этом месте Амана пробивает дрожь.

То же самое с самораскрытием: оно может повлечь за собой разоблачение власти незнания как *незнания*, не как вакуума или чистого листа, которым оно притворяется, но как весомого, заполненного и самостоятельного эпистемологического пространства. Признание Эсфири дает возможность Ксерксу сделать видимыми два таких пространства одновременно: «Тебя?» «Какой народ?» Он был слеп в своих предположениях о ней самой¹² и просто слеп по отношению к той расе, которую он сам поклялся уничтожить. Как, *ты одна из них?* Хм, значит, *кто же ты?* Но эти раскаты могут быть, однако, и звуком падающей манны небесной.

* * *

Несомненно, подобная фиксация на обрисованном мной сценарии — более чем простой флирт с сентиментальностью. Это верно по вполне

объяснимым причинам. Во-первых, у нас слишком много примеров тому, насколько ограничены средства воздействия саморазоблачения, которыми может воспользоваться индивидуум по отношению к коллективно измеряемому и институционально воплощенному угнетению. Признание этой несоизмеримости не означает, что последствия деяний вроде раскрытия могут быть очерчены в рамках *предопределенных* границ наподобие соотношения между «личным» и «политическим», но и не стоит отрицать, насколько диспропорционально сильными и разрушительными могут быть эти действия. Впрочем, жестокая несоизмеримость тем не менее должна быть признана. В театрализованной демонстрации *уже институционализованного* неведения не стоит искать трансформирующего потенциала.

Существует еще целый ряд причин, по которым затянувшееся увлечение проявлениями откровения в стиле Эсфирь должно исказить истину о гомофобии как таковой; вспомним, о важных различиях между еврейской (я имею в виду расиновский вариант) и гомосексуальной идентичностью и изгояством. Даже в прустовских «Содоме и Гоморре», а в особенности в «Пленнице», где Эсфирь вспоминается особенно настойчиво, эта пьеса не предлагает нам эффективной модели трансформирующего откровения. Скорее наоборот: «Пленница» — именно та книга, в которой герой, цитирующий Расина, демонстрирует особенно губительную неспособность ни раскрыться, ни *существовать в открытую*.

Вымышленный нами засекреченный голубой (розовый) клерк из Верховного суда, мучимый возможностью самораскрытия, которое *могло бы* предположительно помочь сестрам и братьям-гомосексуалам, но *наверняка* радикально ставило бы под угрозу его/ее ближайшее будущее, обладал воображением, способным представить значительно больше возможных последствий, чем те, которые предвидела Эсфирь в решающую для нее минуту. Именно эти возможные последствия обозначают специфические структуры эпистемологии чулана. Ей или ему могли запретить воспользоваться правом объявить о своей сексуальности; признание могло лишь наделать шума вокруг всем известного секрета; признание могло быть проявлением агрессии против того, с кем этот клерк чувствовал тем не менее настоящую связь; судья, который(ая) не считал(а) себя геем, мог(ла) бы испугаться собственной ориентации или же привязанности к клерку иотреагировать с усиленной жесткостью; сам клерк посредством признания мог быть втянут во взрывоопасное подполье засекреченного гомосексуала-судьи; он мог слишком испугаться изоляции или слишком усомниться в себе, чтобы вынести последствия этого признания; пересечение гомосексуального разоблачения и глубинных гендерных ожиданий может быть слишком запутанным или дезориентирующим и в том или ином случае не может служить стимулом к изменению.

Попробуем разобраться в этих опасностях и ограничениях более подробно в сравнении с Эсфирью.

1. Хотя ни в Библии, ни у Расина не указано, в каких, если вообще в каких-то, религиозных действиях или верованиях может быть продемонстрирована еврейская идентичность Эсфири, *предположение о том, что эта идентичность может обсуждаться, умалчиваться или быть уязвимой, вообще отсутствует*. «Эсфирь, мой повелитель, имеет отца еврея» (1033) — следовательно, Эсфирь еврейка. Как бы ни был ошарашен Ксеркс этой новостью, он не считает, что это у нее временное, или что она сердита на иноверцев, или что она может измениться, если любит его настолько, что сходит к психотерапевту. Эсфири тоже не приходят в голову такие вредные идеи. Еврейскость Эсфири в этой драме — из чего бы она ни состояла в реальной жизни, в конкретном историческом контексте — весьма основательна, и именно ее недвусмысленность дает основу для всей истории о тайне Эсфири и ее последующего самораскрытия. В процессе гомосексуального самораскрытия в контексте двадцатого века, наоборот, немедленно встает вопрос обоснованности и доказательств. «Откуда вы знаете, что вы действительно гомосексуальны? Зачем торопиться с выводами? На самом деле то, что вы говорите, основывается всего лишь на каких-то ощущениях, нереальных действиях (или, напротив, на некоторых действиях, и не обязательно на ваших настоящих ощущениях); не лучше ли вам поговорить с психотерапевтом и выяснить все до конца?» Подобные реакции, столь часто имеющие место у людей, к которым обращено раскрытие, эхом резонирующие у тех, кто решился на самораскрытие, демонстрируют, насколько проблематична сама концепция гомосексуальной идентичности, и то, как интенсивно ей сопротивляются, и то, как право на ее определение дистанцировано от самих геев и лесбиянок.

2. *Эсфирь предполагает, что Ксеркса удивит ее признание, и он действительно удивлен*. Ее уверенность в том, что она определяет меру знания других о себе, контрастирует с тотальной неуверенностью, которую обыкновенно ощущают скрытые гомосексуалы по поводу того, кто осведомлен об их сексуальной ориентации. Это касается реального положения вещей по поводу секретности, которое играет большую роль в жизни людей, чем в библейских притчах; но это гораздо больше относится к сложностям проблемы гомосексуальной идентичности, поскольку ни одно человеческое существо не может контролировать все многообразие, противоречивость кодовой системы, определяющей сексуальность как идентичность и как действие. Во многих, если не в большинстве, взаимоотношений раскрытие — это кристаллизация интуиции или убежденности, которые уже витали в воздухе и уже сформировали систему круговой поруки молчаливого презрения, молчаливого шантажа, молчаливого восхищения, молчаливого соучастия. В конце концов воз-

можность *знать о ком-то то, что этот кто-то может сам не знать*, придает захватывающее ощущение власти, — будь то знание о том, что кто-то гомосексуал или что он не знает, что его секрет им известен. Прозрачный чулан дает возможность безнаказанного оскорбления («Я никогда бы не сказал ничего подобного, если бы *знал*, что ты голубой» — ну да, конечно); он также дает возможность более теплых отношений, но (и) отношений, где возможность эксплуатации встроена в оптику асимметричного, отражающего, невыраженного.¹³ Бывают счастливые и явно упрощенные случаи раскрытия в подобных ситуациях: женщина с трудом решается сообщить своей матери, что она лесбиянка, и ее мать отвечает: «Да, я вообще-то предполагала, что это так, когда вы с Джоан начали спать вместе десять лет назад». Гораздо чаще, однако, этот факт делает сам чулан и выход из него не более, но менее честным; не часто — более равномерным, но более летучим или даже отчаянным. Жизнь внутри и, следовательно, выход из чулана — никогда не герметичны до конца; география личного и политического, обсуждаемая здесь, скорее более неощутима и конвульсивна, если секрет не является секретом.

3. *Эсфирь боится, что ее откровение может погубить ее или не спасти ее народ, но она не опасается за участь Ксеркса, и он действительно вне опасности*. Когда же гомосексуалы в гомофобном обществе раскрываются, в особенности в случае с родителями или супругами, всегда присутствует понимание вероятности нанесения серьезного вреда, возможно, обеим сторонам. Секрет, несущий в себе заразу, может распространяться, заражая других, как секрет: одна мать говорит, что выход ее взрослого ребенка из чулана загнал ее самое в чулан в ее консервативной среде. В воображении гомосексуала/лесбиянки, хотя и не только в воображении, из-за страха, что (возможно, собственные родители) после признания могут убить его/ее, возникает отдача в виде более мощно воображаемой возможности, что признание может убить *их*. Нет гарантии, можно ли, находясь под угрозой этого обоюдоострого оружия, стать сильнее, чем если взять в руки обычный топор, но определенно, такая ситуация более разрушительна.

4. *Инертный по своей сути Ксеркс, похоже, никаким определенным образом не озабочен религиозной/этнической идентичностью Эсфири*. Он не воспринимает ни себя, ни их взаимоотношения по-другому после того, как обнаруживает, что она не та, кого он в ней видел. Обоюдоострая опасность в сцене гомосексуального раскрытия, напротив, исходит отчасти из того, что эротическая идентичность того, кто является адресатом разоблачения, подвержена влиянию, а значит, потревожена им. Это так, прежде всего и в основном, потому что эротическая идентичность никогда не определяется сама по себе, она не может быть вне отношений, никогда не может восприниматься никем за пределами струк-

туры переноса и обратного переноса. Во-вторых, и особенно потому, что непоследовательность и противоречивость гомосексуальной идентичности в культуре двадцатого века чувствительны и, следовательно, созвучны к непоследовательности и противоречивости принудительной гетеросексуальности.

5. Нет оснований считать, что Ксеркс может сам быть скрытым евреем. Но именно в соответствии с опытом гомосексуалов нередко обнаруживается, что гомофобные персоны у власти вполне могут оказаться именно скрытыми геями. Некоторые примеры и последствия этого обсуждаются в конце главы 5-й; у истории есть продолжение. Пусть это утверждение останется здесь как есть, чтобы еще раз продемонстрировать, что безраздельное владение гомосексуальной идентичностью сомнительно, и что она не центрична, скорее, спиралевидна, и что собственное раскрытие не означает окончательный разрыв с чуланом, но задевает своей волной чужое укрытие.

6. Эсфирь знает свой народ и связана с ним непосредственной ответственностью. В отличие от геев и лесбиянок, которые редко воспитываются в гомосексуальных семьях; которые сталкиваются с гомофобией культуры, если не собственных родителей, гомофобией, плотно окружающей со всех сторон задолго до того, как они или те, кто о них заботится, знают, что принадлежат к тем, кто особенно нуждается в защите от нее; которым приходится с большим трудом и часто запоздало склеивать из черепков свое сообщество, какое-то позитивное наследие, стратегии выживания или сопротивления; в отличие от них, Эсфирь обладает цельной и неотъемлемой идентичностью и историей, обязательствами, с которыми она выросла, персонифицированными и легитимизированными в конкретной и авторитетной фигуре ее опекуна Мордехая.

7. Аналогичным образом, признание Эсфири происходит внутри и способствует поддержанию выстроенной системы гендерной субординации. Нет ничего более недвусмысленного в Библии относительно брака Эсфири, чем его происхождение в условиях кризиса патриархата и его значение для сохранения подчинения женщины. Когда предшествующая ей царица, жена Ксеркса, инородка Вашти (Астинь) отказалась предстать на пиру перед его пьяными друзьями, эти «мудрецы, знающие прежние времена», поняли, что

«Не перед царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса.

Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: «Царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лице свое, а она не пошла»

(Есфирь 1: 13–17).

Еврейка Эсфирь появляется на сцене как спасительная идея женской подчиненности: ее единственный рискованный шаг в отношении царя —

обусловленный сюжетом момент для того, чтобы подчеркнуть ее неизменную покладистость. (Даже в наши дни еврейских девочек воспитывают в соответствии с гендерными ролями — признательность за то, что на них смотрят, бесстрашие в защите «своего народа», отсутствие солидарности со своим полом — в маскарадной роли Эсфирь, исполняемой на праздник Пурим.) Я вспоминаю себя, где-то в пять лет, босиком в красивом платье царицы Эсфирь, сшитом моей бабушкой (белый атлас, золотые блески), старательно делающей реверанс — с опущенными глазами, с разворотом ступней — моему (вероятно) отцу, который в этой картинке видится как фотовспышка, выбрасывающая мою тень, высокую, нависающую над маленьким диванчиком на стене за моей спиной. Более того, буквально понимаемая патриархатность, которая делает акт раскрытия собственным *родителям* наиболее эмоционально аналогичным акту саморазоблачения Эсфири собственному мужу, демонстрируется с необыкновенной ясностью через мужское использование женщины в своих целях: настоящая миссия Эсфири как жены в том, чтобы дать возможность ее опекуну Мордехая занять место Амана в качестве фаворита и советника царя. И наоборот, опасность и неустойчивость, кроющиеся в отношениях иноверца Амана и царя, привлечены здесь для того, чтобы показать гетеросексуально понимаемую неадекватность непонятной интенсивности их отношений. Если история Эсфири отражает твердый выбор евреями политики меньшинств, основанный на консервативных скрижалях гендерных ролей, такой выбор, однако, не мог быть сознательно сделан гомосексуальным народом в условиях современной культуры (несмотря на то, что такие попытки делались неоднократно, в особенности мужчинами). Вместо этого и внутри и вне движения за права гомосексуалистов противоречивые толкования однополых отношений и желаний, мужской и женской гомоидентичности не раз пересекали (в ту и другую сторону) определяющие границы гендерной идентичности с такой разрушительной регулярностью, что понятия «меньшинства» и «гендера» сами по себе утратили немалую толику категоризирующей (но не перформативной) силы.

Любой из этих усложненных выборов происходит, пусть отчасти, от плюрализма и накопленной непоследовательности современных способов концептуализации однополого желания и, следовательно, гомоидентичности, той непоследовательности, которая также реагирует на непоследовательность, с которой концептуализируются *гетеросексуальное* желание и идентичность. Долгосрочный популистский теоретический проект выстраивания и историзации самоочевидности псевдосимметричной оппозиции гомосексуального/гетеросексуального (или геевского/натурального) как категоризации личностей будет скорее использоваться, нежели суммироваться в нашем тексте. Фуко, как и другие историки, относит к девятнадцатому веку европейской философии переход

от трактовки однополой сексуальности как запретных и сокрытых сексуальных *действий* (действий, которые в этом понимании могли быть совершаемы любым человеком, чьи позывы строго не контролировались) к признанию ее как функции конкретно определяемой *идентичности* (то есть именно структура личности маркирует человека как *гомосексуала*, даже, возможно, при отсутствии какого-либо генитального действия). Таким образом, по мнению Алана Брэя, «говорить об индивидууме (в эпоху Ренессанса) как о гомосексуале или нет — сущий анахронизм и глубоко ошибочно»,¹⁴ поскольку период, растянувшийся, приблизительно, между Уайльдом и Прустом, был особенно богат попытками наименовать, объяснить и определить это новое существо, гомосексуальную личность — настолько назревший проект, что в своем горячем желании определения он определил еще более новую категорию — гетеросексуального субъекта.¹⁵

Подвергать сомнению естественную самоочевидность противопоставления между геями и натуралами как определенными типами людей не значит тем не менее, как о том говорилось во Введении, отказаться от него. Возможно, никому не следует желать этого; немало людей — женщин и мужчин, находясь в рамках такого репрезентативного режима, обнаружили, что именуемая категория «гомосексуальный/ая» или ее более современные синонимы обладают реальной властью организовывать и описывать опыт их собственной сексуальности и идентичности настолько, что приятие этих определений по отношению к себе (даже без озвучивания) влечет огромные сопутствующие затраты. И пусть только по этой причине, но категоризация внушает уважение. Гораздо больше на уровне групп, чем отдельных личностей, вероятно, продолжительность любой политики или идеологии, которая позволяла бы себе быть *снисходительной* к однополой сексуальности в нашем веке, зависит от определения отдельных гомосексуалов как представителей совершенно конкретного меньшинства, откуда бы они ни происходили и как бы ни назывались.¹⁶ И, безусловно, не из-за когнитивного или политического влияния на людей, которых она пытается описывать, обозначающая категория «гомосексуальность» не поддавалась разрушающему воздействию в течение десятилетий и сокрушительных нападков деконструирующего обнажения — не столько из-за ее значимости для тех, кого она определяет, но из-за ее значимости для тех, кто определяет себя от противного.

Определенно (и парадоксально?) именно параноидальная настойчивость, с которой в этом веке выстраивались разграничивающие фортификации между «гомосексуалами» (меньшинство) и «гетеросексуалами» (большинство) — выстраивались негомосексуалами, и особенно мужчинами против мужчин — именно это подрывает возможность воспринимать «гомосексуала» как беспроблемного, благоразумного индивидуума.

Даже гомофобной народной мудростью «Чая и симпатии»¹⁷ пятидесятих зарегистрировано, что тот, кто наиболее рьяно укрепляет такие барьеры, наименее крепок в этом смысле сам. В тот самый период так называемого «изобретения “гомосексуализма”» Фрейд наделил психологической тканью и достоверностью, универсализировал карту этого разновалентного пространства, основываясь на предполагаемой протеевской подвижности сексуального желания и потенциальной бисексуальности каждого человеческого существа; эта картография не дает возможности предположить, что сексуальная склонность конкретного человека всегда будет направлена на людей одного гендера, но предлагает, вдобавок, весьма денатурализирующее описание психологических мотивов и механизмов мужского параноидального, проективного гомофобного определения и давления. Но фрейдовская позиция, направленная против миноритизации, приобрела только большее влияние, будучи артикулирована через эволюционный нарратив, в котором нашли готовый камуфляж гетеросексистские и маскулинистские этические санкции. Если новая популярная идея о том, что самые ярые гомофобы — это мужчины, «не уверенные в своей маскулинности», поддерживает недостоверную, но необходимую иллюзию о том, что возможно существование «уверенной» версии маскулинности (узнаваемой, соответственно, по хладнокровному проявлению гомофобии), что существуют уравновешенные, разумные способы отношений мужчин к мужчинам в современном гетеросексистском капиталистическом патриархате, то куда уж туже можно завернуть винт, уже утративший центровку, постоянно ошибочной, бесконечно шантажируемой мужской идентичности, легко манипулируемой в любом направлении к открытому насилию?

Именно в работах более поздних феминистского и гомосексуального движений наблюдается прояснение того, почему мужской параноидальный проект явился столь необходимым для сохранения гендерной субординации; и немалую роль сыграл успешный феминистский выпад, переопределивший распространенное мнение о лесбийстве как проблеме омужествления женщины в идею о женской самоидентификации.¹⁸ И хотя после Стоунуолла мужское гомосексуальное освободительное движение имело более четкое политическое выражение, чем радикальное лесбийство, и оно предложило варианты новых имиджей гомосексуалистов и геевского сообщества вместе с захватывающей новой коллекцией нарративов, относящихся к самораскрытию, но представило оно немного новых аналитических средств для прояснения вопроса о том, как определяется гомо/гетеросексуальность до момента индивидуального раскрытия. Впрочем, это и не было их проектом. В сущности, за исключением возобновившегося продуктивного интереса к историзации самой дефиниции гомосексуальности, набор аналитических инструментов, доступных сегодня любому, кто задумывается об определении го-

мо/гетеросексуальности, весьма незначительно пополнился по сравнению с тем, что было, скажем, у Пруста. Из тех странных многословных «трактующих» схем, которые внове были доступны Прусту и его современникам, особенно тех, что поддерживали идеи миноритизации, многие были отменены, забыты или расценены историей как слишком невкусные, чтобы использовать их широко. Многие из тех, что считаются потерянными, однако, выжили, если не в сексологической терминологии, то в народной мудрости и обиходе «здорового смысла». Ни у кого также не вызывает удивления, когда они возникают вновь под новыми именами на странице «Наука» журнала «Таймс»; муже-женщины Содома входят в академический канон в виде «маменькиных сынков» с помощью Йейль Университи Пресс.¹⁹ Но есть и новинки. Большинство западных людей со средним и высоким уровнем образования в нашем веке, похоже, одинаково понимают определение гомосексуальности, вне зависимости от того, являются ли они сами геями или натуралами, гомофобами или антигомфобами. Это понимание близко к тому, что имел в виду Пруст, что, в этом смысле, и мое, и ваше понимание. То есть оно организовано вокруг радикальной и не поддающейся упрощению непоследовательности. В нем содержится та миноритизирующая позиция, что существует конкретная популяция людей, которые «действительно» гомосексуальны; в то же время присутствует универсализующее мнение, что сексуальное желание является непредсказуемо сильным растворителем устойчивой идентичности; что и выраженная гетеросексуальная личность, и объекты предпочтения сильно маркированы однополым влиянием и желаниями, и то же, но наоборот относится к выраженным гомосексуалам; и что по крайней мере мужская гетеросексуальная идентичность и современная маскулинистская культура для самосохранения могут нуждаться в козлах отпущения, кристаллизующихся в однополном мужском желании, которое весьма распространено и прежде всего глубоко запрятано.²⁰

Проектом многих и многих авторов и философов разного толка было стремление рассудить между миноритизирующим и универсализующим подходом к определению сексуальности и разрешить эту концептуальную непоследовательность. Какого бы успеха ни добились они в реализации проекта своими средствами, ни один из них не продвинулся ни на йоту ни в ту, ни в другую сторону из жесткого хомута противоречивых суждений современного дискурса. Ни более высокая оценка преобразующей и неустойчивой игры желания, ни повышение ценности гомоидентичности и гомосексуального сообщества, ни их противоположность — часто обладающее большей силой уничтожение, — похоже, не смогли вырваться из мертвой хватки существующего и господствующего столкновения парадигм. И эта непоследовательность преобладала, по крайней мере, три четверти века. Иногда (но не всегда) она принимала

формы конфронтации или неконфронтации между политикой и теорией. Превосходным примером этой всемогущей непоследовательности являлась ненормальность правовых отношений между гомосексуалами и действиями, предпринятыми в этой стране после одного судебного решения. Верховный суд, рассматривая дело «Бауэрс против Хардвика», принял печально известное решение о том, что каждый отдельный штат имеет право запрещать любые *действия*, которые могут (весьма вольно) квалифицироваться как «содомия», кем бы они ни совершались, не опасаясь посягнуть на любые права, в особенности права на частную жизнь, охраняемые конституцией; однако сразу вскоре после этого заседание Апелляционного суда Девятого округа (по делу «Сержант Перри Джей Уоткинс против Армии Соединенных Штатов») определило, что гомосексуальные *индивидуумы подпадают* под защиту конституции по статье о праве на равную защиту.²¹ Быть геем в этой системе означает находиться под взаимоперекрывающимися эгидами универсализующего дискурса действий и миноритизирующего дискурса индивидуумов. Даже сейчас, по крайней мере в контексте права, первое запрещает то, что второе защищает, но в сопутствующих контекстах здравоохранения, относящихся к проблеме СПИДа, например, вовсе не очевидно, что миноритизирующий дискурс индивидуумов («группы риска») не является даже более дискриминирующим, чем конкурирующий, универсализующий дискурс действия («безопасный секс»). В двойной ловушке взаимоперекрывающихся дискурсов, в любом случае, любая попытка контроля над дефинициями чревата последствиями.

Энергоемкое, но определенно статическое крепление между миноритизирующим и универсализующим подходами к определению гомо/гетеросексуальности не является, однако, единственной важной концептуальной засадой, в которой проигрываются современные драмы гомосексуальных и гетеросексистских судеб. Вторая проблема, столь же значимая и тесно связанная с первой, связана с определением отношения к гендеру гомосексуальной личности и к однополему желанию. (Именно в этом концептуальном ряду пересмотр и определение радикальными феминистками лесбиянства как женской самоидентификации явились особенно сильным шагом). По крайней мере с начала века существовало два прочно закрепившихся противоречащих друг другу метафорических *гендерных образа*, посредством которых можно было трактовать однополое желание. С одной стороны, всегда существовала и продолжает существовать (в гомофобном фольклоре и науке вокруг «маменькиных сынков» и их мужеподобных сестер, но также и в сердце и в кишках большинства представителей голубого и лесбийского сообщества) метафора инверсии, *anima muliebris in corpore virili inclusa* — «женское сердце, заключенное в мужском теле», — и наоборот. В соответствии с объяснением писателя Кристофера Крафта и ему подобных, важным

жизненным обоснованием этой метафоры является стремление сохранить *гетеросексуальную* сущность желания через определенное толкование гомосексуальности индивидуумов: желание, в этом смысле, по определению, существует в потоке, который течет от мужского существа к женскому, в независимости от того, в каком теле какого пола это существо пребывает.²² Пруст был не первым, кто продемонстрировал — так же, как и Шекспир в комедиях, — что эти атрибуты «истинного» «внутреннего» гетерогендера могут быть используемы, в случайном порядке, как подпорка для аргументации, пока речь идет о человеческих диадах, но расширение возможностей и включение в контекст большего круга желаний неизбежно низводит инверсивный или ограничительный троп к хореографии задыхающегося фарса. Однако эта метафора инверсии ни на йоту не утратила своей значимости, оставаясь каркасом для современного дискурса однополого желания; и под знаменами андрогинии, или, более выразительно, «genderfuck», головокружительная неустойчивость этой модели стала ценностью сама по себе.

Как бы ни была нагружена значимостью метафора инверсии, ее живучесть вынудила ее быть запряженной в одну упряжку с собственной противоречивой конкуренткой — метафорой гендерного сепаратизма. В соответствии с этой позицией, вместо того чтобы стремиться пересечь границы гендера, наиболее естественным в мире, где люди одного пола, сгруппированные вместе под единственным наиболее определяющим диакритическим знаком социальной организации, считается, что люди, чьи экономические, институциональные, эмоциональные, физические потребности и знания могут иметь очень много общего, должны сближаться также на оси сексуального желания. Там, где происходит замещение фразы «женское самоопределение» на «лесбийство», и в концепции континуума мужского или женского сексуального желания эта метафора стремится реассимилировать друг к другу идентификацию и желание, тогда как модель инверсивная, по контрасту, зависит от четкости определения. Гендерно сепаратистская модель помещает, таким образом, женщину, любящую женщину, и мужчину, любящего мужчину, в «естественном» определяющем центре их собственного гендера, опять же, по контрасту с инверсионной моделью, которая локализует гомосексуальных людей — либо биологически, либо культурно — на стыке между гендерами (см. таблицу).

	Сепаратистское	Интегрирующее
Гомо/гетеро сексуальное определение	<i>Миноритизирующее</i> , т.е. гомосексуальная идентичность, модели: «эссенциалистская»,	<i>Универсализирующее</i> , т.е. бисексуальный потенциал, модели: «социальный конструкт», «содомия»,

	«третий пол», «гражданские права»	«лесбийский континуум»
Гендерное определение	<i>Гендерный сепаратизм</i> , т.е. гомосоциальный континуум, лесбийский сепаратизм, мужественность через инициацию	<i>Инверсия/пороговое-состояние/транзитивность</i> , т.е. кросс-сексуальность, андрогиния, модели гееско/лесбийской солидарности

Таблица 2. Модели определений гомосексуальности/гетеросексуальности в контексте взаимопересечения сексуальности и гендера

Имманентность каждой из этих моделей на протяжении всей истории современных определений гомосексуализма ясно прослеживается в раннем разрыве в германском движении за права гомосексуалистов между Магнусом Хиршфельдом, основателем Научно-гуманитарного комитета (1897 г.), веровавшим в «третий пол», приведенный в свое время в парафразе Дона Мэджера как пример «точного соотношения... между кросс-гендерным поведением и гомосексуальным желанием», и Бенедиктом Фридляндером, соучредителем Сообщества особенных людей (1902 г.), который, наоборот, пришел к выводу, «что гомосексуальность есть высшая, наиболее совершенная стадия гендерной дифференциации».²³ Как объясняет Джеймс Стикли, «истинный *typus inversus*», в соответствии с последним аргументом, «в отличие от женоподобного гомосексуала, рассматривался как основатель патриархатного общества и числился рангом выше гетеросексуалов по причине его способности к лидерству и героизму».²⁴ Как и динамический тупик между миноритизирующим и универсализирующим подходами к определению гомосексуальности, безвыходность в отношениях между транзитивной и сепаратистской метафорами гомосексуального гендера имеет свою собственную непростую историю, особенно важную для понимания современной гендерной асимметрии, угнетения и сопротивления. Единственное, что просматривается совершенно ясно в этой сложной и противоречивой схеме сексуальных и гендерных определений, это то, что возможные основания, необходимые для построения альянса и кросс-идентификаций среди различных групп, будут также плюралистичны. Возьмем просто одну только проблему определения гендера: в топосе гендерного сепаратизма лесбиянки искали идентификации и альянса среди женщин вообще, включая женщин-натуралок (как в модели «лесбийского континуума») у Адриенн Рич); а голубые, как в модели Фридляндера — или в более современной модели «мужского освобождения» — маскулинности, — могли обращаться к мужчинам в целом, включая натуралов. «Эротические и социальные установки в отношении женщин — это наш враг», — писал Фридляндер в своих «Семи тезисах о гомосексуальности» (1908 г.).²⁵ В

топосе гендерной инверсии или порогового состояния, наоборот, мужчины-гомосексуалы искали идентификации с гетеросексуальными женщинами (на том основании, что они тоже «женственны» или также желают мужчин) или с лесбиянками (на основании того, что состоят в пороговой группе); а лесбиянки по аналогии пытались идентифицироваться с мужчинами-гомосексуалами или, хотя эта идентификация сильно ослабла в результате второй волны феминизма, с мужчинами-гетеросексуалами. (Конечно, политический результат всех этих траекторий возможных идентификаций радикально, порой агрессивно определялся в зависимости от различных исторических факторов, в особенности гомофобии и сексизма). Отметим, однако, что схематизация по поводу «темы всего лишь гендерного определения» также сталкивается с темой гомо/гетеросексуального определения и в неожиданной параллельности. Гендерно-сепаратистские модели, как у Рич и Фридляндера, кажется, стремятся к универсализации понимания гомо/гетеросексуального потенциала. То, в какой степени гендерно-интегрирующая, инверсивная или пороговая модели, подобно модели третьего пола у Хиршфельда, предлагают альянс или идентификацию между лесбиянками и голубыми, с другой стороны выглядит как стремление к гомо-сепаратистским, миноритизирующим моделям специфичности гомосексуальной идентичности и политики. Стикли проводит любопытную серию сравнений между Научно-гуманитарным комитетом Хиршфельда и Сообществом особенных людей Фридляндера: «Внутри гомосексуального освободительного движения происходило резкое разделение на фракции между Комитетом и Сообществом... Комитет был организацией мужчин и женщин, тогда как сообщество было исключительно мужским... Комитет называл гомосексуалов третьим полом с целью отвоевать основные права, предоставленные двум другим полам; Сообщество осуждало их действия как вымаливание жалкой подачи и агитировало за идею сверхмужественной бисексуальности».²⁶ Подобные пересечения, однако, вполне обусловлены; например, универсализующие представления Фрейда об определениях сексуальности могут соседствовать с интегрирующей, инверсивной моделью определения гендера. В более широком смысле, линии, пролегающие через эту обманчиво симметричную схему, преломляются в соответствии с конкретной исторической ситуацией из-за глубинной асимметрии гендерного и гетеросексистского угнетения.

Говоря коротко, тупиковый эффект миноритизации/универсализации, отнесенный к проблеме гендерных определений, должен рассматриваться в поле непластичной, жестко структурированной дискурсивной непоследовательности, в ключевой момент существования социальной организации, такой момент, когда любой гендер дискриминируется. Я не питаю никакого оптимизма по поводу возможности нахождения философской позиции, с которой все эти вопросы могут быть внятно,

пусть не эффективно, разрешены, учитывая, что тот же свод противоречий превалировал во всех попытках осмысления темы в течение всей современной истории, которая сформировала и наши собственные взгляды. Наоборот, гораздо более перспективным проектом было бы изучение самой непоследовательности определений, того неразрывного круга несоответствий и несообразностей, в утомительном вращении которого на протяжении почти столетия создавались самые продуктивные и самые убийственные сюжеты нашей культуры.

¹ D. A. Miller, «Secret Subjects, Open Secrets», в его работе *The Novel and the Police* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1988), p. 207.

² По этому делу см. Michael W. La Morte, «Legal Rights and Responsibilities of Homosexuals in Public Education», *Journal of Law and Education* 4, no. 23 (July 1975): 449–67, особ. 450–53; и Jeanne La Borde Scholz, «Comment: Out of the Closet, Out of the a Job: Due Process in Teacher Disqualification», *Hastings Law Quarterly* 6 (Winter 1979): 663–717, особ. 682–84.

³ Нэн Хантер, директор Проекта по правам лесбиянок и геев Союза американских гражданских свобод — САГС (ACLU), анализировала дело Роуанда в своем выступлении «Homophobia and Academic Freedom» в 1986 году на Национальной конвенции Ассоциации современной лингвистики. Интересен также анализ ограничений с позиций прав гомосексуалов, как права на частную жизнь, так и гарантий свободы слова, предоставляемых Первой поправкой, рассматриваемых вкуче или по отдельности в работе «Notes: The Constitutional Status of Sexual Orientation: Homosexuality as a Suspect Classification», *Harvard Law Review* 98, (April 1985): 1285–1307, особ. 1288–97. Для обсуждения соответствующих юридических вопросов, близко относящихся и применимых к аргументации *Epistemology of the Closet*, см. Janet E. Halley, «The Politics of the Closet: Towards Equal Protection for Gay, Lesbian, and Bisexual Identity», *UCLA Law Review* 36 (1989): 915–76.

⁴ *New York Native*, no. 169, (July 14, 1986): 11.

⁵ Philip Bockman, «A Fine Day», *New York Native*, no. 175 (August 25, 1986): 13.

⁶ Напоминанием того, что «чулан» сохраняет за собой семантическую гомосексуальную специфику (по крайней мере, ее хроническую возможность), служит газетная шумиха, когда Республиканский национальный комитет, обращаясь к лидеру большинства палаты представителей Томасу Фоли, предложил ему «выйти из либерального чулана» и сравнил список его избирателей со списком открыто гомосексуального конгрессмена Барни Франка, и это было широко воспринято (и осуждено) как объявление самого Фоли геем. Недопонимание комитетом того, что подобная инсинуация трудно опровергаема, демонстрирует, насколько может быть нагружена или свободна от геевской специфики данная идиома.

⁷ На эту тему см. мою работу «Privilege of Unknowing», *Genders*, no. 1 (Spring 1988).

⁸ На эту тему см. *Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire* (New York: Columbia University Press, 1985).

⁹ Lord Alfred Douglas, «Two Loves», *The Chameleon* 1 (1894): 28 (выделено мной).

¹⁰ Jean Racine, *Esther*, ред. Н. R. Roach (London: George G. Harrap, 1949), строка 89; перевод мой. Дальнейшие цитаты из этой пьесы будут маркированы номером строки в тексте.

¹¹ Стоит помнить, конечно, что библейская история все же заканчивается массовым убийством: тогда как расиновский царь *отменяет* свои приказы (1197), библейский *дает* им обратный ход (Есфирь 8:5), дав евреям право убить «семьдесят пять тысяч» (9:16) их врагов, включая детей и женщин.

¹² Говоря словами Вольтера, «un roi insensé qui a passé six mois avec sa femme sans savoir, sans s'informer même qui elle est» (in Racine, *Esther*, pp. 83—84).

¹³ На эту тему см. мою работу «Privilege of Unknowing», особ. p. 120.

¹⁴ Alan Bray, *Homosexuality in Renaissance England* (London: Gay Men's Press, 1982), p. 16.

¹⁵ На эту тему см. Jonathan Katz, *Gay/Lesbian Almanac: A New Documentary* (New York: Harper & Row, 1983), pp. 147—50.

¹⁶ Соответственно, современный либеральный/радикальный феминизм, во всем спектре от NOW [Национальная организация женщин в США — *Прим. перев.*] до любой сепаратистской группы, может считаться исключением из правил, хотя и весьма компромиссным.

¹⁷ *Tea and Sympathy* — пьеса Роберта Андерсона, бродвейский блокбастер (1953 г.), и двухчасовой фильм Винсента Минелли по ней (1956 г.). Сюжет: «женственному» подростку-старшекласснику, предпочитающему искусство спорту и травимому как школярами, так и собственным отцом, после всех его терзаний предоставляет шанс почувствовать себя истинным гетеросексуалом жена одного из преподавателей. Достаточно популярный в 1990-х годах образчик для *queer*-анализа. Название пьесы и фильма перепевается вновь и вновь до сих пор. — *Прим. ред.*

¹⁸ См., например, Radicalesbians, «The Woman Identified Woman», перепечатанную в Anne Koedt, Ellen Levine, and Anne Rapone, ред., *Radical Feminism* (New York: Quadrangle, 1973), pp. 240—45; и Andrienne Rich, «Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence», в Catharine K. Stimpson and Ethel Spector Person, ред., *Women, Sex, and Sexuality* (Chicago: University of Chicago Press, 1980).

¹⁹ Здесь я имею в виду популярность книги Ричарда Грина *The «Sissy Boy Syndrome» and the Development of Homosexuality* в публикации этого издательства в 1987 году. Ярко выраженный стереотипичный гомофобный журнализм, продемонстрированный в этой публикации, похоже, легитимизирован содержанием книги, которая, в свою очередь, легитимизирована статусом *самого* издательства.

²⁰ Те, кто считают, что эти представления относятся к антигомофобам, должны послушать, например, как футбольный тренер в колледже подвергает ритуалистическим издевательствам и унижениям личные качества командного «слабака» (если не хуже). D. A. Miller в «Cage aux folles: Sensation and Gender in Wilkie Collins's *The Woman in White*» (в своей книге *The Novel and the Police*, pp. 146—91, особ. pp. 186—90) особенно подчеркивает то (разве не

должно это быть самоочевидным), что вся система представлений является если не чем-то менее конкретным, то продуктом скорее культурной критики, нежели культурного давления.

²¹ Однако когда Уоткинс был восстановлен в армии при полной поддержке того же Апелляционного суда решением 1989 года, обоснование этого решения было значительно менее широким.

²² Christopher Craft, «'Kiss Me with Those Red Lips': Gender and Inversion in Bram Stoker's *Dracula*», *Representations*, no. 8 (Fall 1984): 107—34, особ. 114.

²³ Don Mager «Gay Theories of Gender Role Deviance», *SubStance* 46, (1985) 32—48, процитировано по с. 35—36. Его источники здесь — John Lauritsen и David Thorstad *The Early Homosexual Rights Movement* (New York: Times Change Press, 1974) и James D. Steakly, *The Homosexual Emancipation Movement in Germany* (New York: Arno Press, 1975).

²⁴ Steakly, *The Homosexual Emancipation Movement in Germany*, p. 54.

²⁵ *Ibid.*, p. 68.

²⁶ *Ibid.*, pp. 60—61.

НЕКОТОРЫЕ БИНАРИЗМЫ (I). БИЛЛИ БАДД: ПОСЛЕ ГОМОСЕКСУАЛЬНОГО

Я бы хотела, чтобы эта глава и следующая выполнили три основные задачи. Первая из них — это формирование набора терминов и ассоциаций для рассмотрения каждого из бинаризмов, вокруг которых организованы другие вопросы в этой книге, в этом веке. Вторая — это предложение некоторого способа прочтения каждого из двух текстов: по существу, непрерывного прочтения «Билли Бадда» в этой главе, а в следующей — склоняемого по Ницше и тематически ориентированного набора прочтений «Дориана Грея» и того, что его окружает. И наконец, эти главы должны дать почувствовать текстуру, пусть и с необходимостью анахронизирующую, конкретного исторического момента, достигшего высшей точки в 1891 году, момента самого разгара того процесса, которым, можно сказать, и датируется современная гомосексуальная идентичность и современная проблематика сексуальной ориентации.

В предыдущей главе я предположила, что сегодняшний тупик в гей-теории между «конструктивистским» и «эссенциалистским» пониманием гомосексуальности — это только последнее звено в длинной цепи концептуальных тупиков, мертвая точка между тем, что я называю в более общем смысле *универсализующим* и *миноритизиующим* подходами к отношению гомосексуальных желаний и индивидов к более широкому полю всех желаний и индивидов. Я показала также, что не корректность или преобладание той или другой стороны этого бесконечного тупика, но само его наличие стало единственной наиболее действенной особенностью значимых восприятий сексуальности — будь то гетеро или гомо — в двадцатом веке, а также определяющей особенностью всех тех социальных отношений, маршруты которых в этом сексуализированном веке пролегли через восприятие сексуальности. Эта мертвая точка до сих слишком глубоко залегает в самих наших способах и возможностях задавать вопросы о сексуальности, так что было бы нереалистично надеяться разобраться с ней в [обозримом] будущем. Что мы действительно можем сделать — это попытаться лучше понять структурирование, механизмы и обширные последствия того некогерентного распределения, под которым мы сегодня живем.

Этот аргумент, как я поясняла во Введении, есть аргумент деконструктивный, в довольно специфическом смысле. Соответственно, мое обсуждение каждого из этих структурирующих бинаризмов, как они функционируют внутри определенного культурного текста, будет следовать процессу, родственному тому, что описан выше. Оно будет продвигаться сквозь деконструктивное описание нестабильности самого бина-

ризма, обычно выкладываемого как одновременная внутренность и наружность маргинализованного термина по отношению к нормативному, продвигаться по направлению к исследованию результирующей дефиниционной некогерентности: ее функционального потенциала и реализации, ее властных эффектов, возможностей ее мобилизации в данном дискурсивном контексте и в итоге — того, как с ней особым образом связаны новые наиболее важные вопросы гомо/гетеросексуального определения.

Структура «Билли Бадда» задается кризисом сексуального определения, чьи термины, как миноритизирующие, так и универсализующие, столь быстро выкристаллизовывались к году 1891-му. В этом тексте есть *гомосексуальное* — гомосексуальный индивид, представляемый как в сущности своей природы отличный от нормальных мужчин, его окружающих. Этот человек — Джон Клэггергерт. В то же время *каждый* импульс *каждого* персонажа в этой книге, что может каким-то образом называться желанием, можно назвать гомосексуальным желанием, направляемым мужчинами исключительно на мужчин. Сокровенная мертвая хватка взаимных репрезентаций этого экземпляра нового вида, гомосексуального мужчины, и таким образом радикально реорганизованных окружающих его мужских эротических отношений — это непреодолимый соблазн внести в «Билли Бадда» все *наши* сокровенные и парализующие вопросы о сущностных истинах «гомосексуальности». (Когда, например, Бенджамин Бриттен и Э. М. Форстер¹ решили вместе сделать оперу, эпифания² постановки «Билли Бадда» снизошла на каждого из них независимо; и, конечно, эта книга заняла центральное место в геевских, прогеевских и околосеевских прочтениях американской культуры, а также в прочтениях, предлагаемых гей-критикой).³ Но тогда как читательский запрос может сам по себе индуцировать магнетическое влияние этой книги, это влияние структурируется — и никак не скажешь, что рассеивается, — тем фактом, что «Билли Бадд» уже организован тем же самым потенциально парализующим запросом к сущности. И значит, в эту книгу можно внести другие, более аппетитные вопросы: например, как работает дефиниционная мертвая хватка, и на кого направлено ее действие; где в ней могут быть точки изменчивости или приложения сил, и, опять же, кто к ним чувствителен.

Если «Билли Бадд» ничего не скажет нам о том, какова сущность мужского гомосексуального желания — захлестывать целые культуры или же составлять ограниченное меньшинство индивидуумов, не даст он ответа также и на решающий вопрос о потенциально утопической политике, вопрос, который снова-таки он почти вынуждает нас поставить. Является ли желание мужчин к другим мужчинам отличным консервантом маскулинистских иерархий в западной культуре или, наоборот, это одна из наиболее мощных угроз, на них направленных? «Билли Бадд»,

похоже, ставит этот вопрос ребром. Мужское тело, приятное мужским глазам: это фигура «драчливого миротворца»,⁴ столь ценная для капитана корабля, «путеводная звезда» (1359\246) мужских любовей, чей магнетизм, которому подвластны его приятели («их к нему тянуло, точно ос на патоку») (1356\248), способен превратить бак, где «конца не было сварам» (1356\248), в «дружную семью» (1356\248), скрепленную коммерческой или военной солидарностью? Или же, наоборот, его сфокусированность на мужском однополом желании делает его точным и каталитическим образом революции — той угрозы или обещания вооруженного восстания, что, как говорит черновая редакция романа, воплощает «кризис христианского мира, что еще не был столь силен... ни в одну из известных нам эпох» (1476п.1405.31) и в настоятельности постоянного напоминания о котором разворачивается повествование?⁵ «Билли Бадд» совершенно недвусмысленно говорит о склонности своего героя к почитанию иерархии. Но несмотря на это, на самые последние моменты новеллы отодвигается показ того, приведет ли его исключительное влияние на команду военного корабля «Неустрасимый» к разгору бунта или же, как то на самом деле происходит в развязке, на волосок отстоящей от мятежа, — к укреплению до степени неотвратимости иерархий дисциплины и национальной безопасности.

И если, как мы будем об этом говорить, многозначительное сдерживание мятежа превращает его в аналог эксцесса желания мужчин к мужчинам, его «окончательное подавление» тем не менее зависит от неопределенного избытка мужской привязанности, «неколебимой верности морской пехоты и добровольного возвращения к присяге многих влиятельных членов восставших экипажей» (1364\256). Отношение здоровья дисциплинарной системы между мужчинами, когда она «здоровая», к ее непокорной вирулентности, когда она «больна», странным образом не поддается объяснению. «В определенном смысле мятеж в Норе можно уподобить вторжению заразной лихорадки в организм, по сути здоровый, который затем полностью с ней справляется» (1365\256). Однако вокруг много чего происходит: несколькими страницами позже «недовольство, предшествовавшее двум мятежам, под спудом пережило их. А потому благоразумие требовало принятия определенных мер для предотвращения новых волнений — местных и общих» (1368\259). Однако то, насколько неприкрыто близко — на лезвии бритвы — и неслучайно в конце «Билли Бадда» команда «Неустрасимого» подходит к мятежу, должно снова напомнить нам: этой книге опасно задавать вопросы о *сущностной природе* желания мужчин к мужчинам. Это книга о размещении и перемещении самых неприкрытых порогов, и она продолжает мобилизовать желания, которые могут хлынуть куда угодно. Возможно, лучший вопрос, который мы можем задать, должен звучать так: «Какие операции необходимы для использования желания мужчин к

мужчинам в качестве закрепителя, а не растворителя иерархического мужского дисциплинарного порядка?»

Но сначала нам нужно реконструировать то, как мы пришли к распознаванию гомосексуального в тексте.

Знание/Неведение; Естественное/Неестественное

В тех известных пассажах в «Билле Бадде», где рассказчик заявляет, что он пытается просветить читателя мнимо «обыкновенной природы» (1382\273) в отношении особо сложной загадки «скрытой природы капитанармуса» Клэггера (загадки, на которую все-таки, как говорит рассказчик, «указывает сама суть настоящей истории» (1384\276)), решение этой загадки как будто состоит не в замещении семантически более удовлетворительными альтернативами эпитета «скрытый», но только в серии его интенсификаций. Одно за другим возникают предложения, в которых, как показывает Барбара Джонсон в своем элегантном эссе «Рука Мелвилла», «мы узнаем о капитанармусе только то, что мы ничего не можем о нем узнать»:⁶ прилагательные, в отношении него применяемые в главе 11,⁷ таковы — «таинственный», «редкий», «особый», снова «таинственный», «темный», «феноменальный», «примечательный», снова «феноменальный», снова «редкий», «скрытый». «“Темные рассуждения!” — возможно, скажут некоторые» (1384\276). Да уж, действительно. Эти репрезентационно вакантные, эпистемологически возбуждающие метки перенимают свою семантическую окраску у параллельной и столь же абстрактной цепи осуждающих этических обозначений — «прямая противоположность святому», «безнравственность», «безнравственность», «безнравственность», «бессмысленность жестокости», «маниакальная злоба» — и еще у демонстрируемой близости, в наброске следующей главы (возможно, автором в итоге вычеркнутым)⁸ к трем специфическим, диагностическим профессиям — к закону, медицине и религии, каждая из которых, однако, как нам сообщают, редуцируется «этим явлением» (которое до сих пор может обозначаться только лишь — хотя, возможно, этого и достаточно — словом «это») к «непонятым спорам» (1475п.1384.3\275).⁹ И кстати, кстати! С этим «этим» стоит разобрататься — ведь «это» подвержено, в двойственной форме зависти (антипатии, желания), той ферментации, что производят лазурь в глазах, румянец на щеках, гибкость членов и переливы золота кудрей (1385\277) такого парня, как Билли Бадд.

Даже язык, с помощью которого безымянная особость Клэггера описывается как часть его онтологической сущности, — это язык более двусмысленный, чем то привыкли замечать читатели. Рассказчик маркирует этот образчик рода человеческого с помощью определения, приписываемого Платону: «Природная безнравственность — безнравственность согласно природе» (1383\274). Однако нарратив не делает паузы,

чтобы отметить, что платоническое «определение» хуже, чем тавтологическое, — оно обладает двумя диаметрально противоположными смыслами. «Безнравственность согласно природе», подобно «природной безнравственности», может означать нечто, что безнравственно по измерению исходя из внешнего стандарта природы, — то есть нечто, чья безнравственность неестественна. Однако же обе эти конструкции могут означать также нечто, чего истинная природа — быть безнравственным, — то есть нечто, чья безнравственность естественна.¹⁰ Так что введенное таким образом определение вынуждено содержать в себе те проклятые этические санкции, что уже аккумулированы в новое семантическое поле, определяющее естественное и то, что *contra naturam*, — поле, уже веками вовлеченное в протоформы борьбы вокруг гомосексуального определения.¹¹

Но что — спрашивает Мелвилл — *происходило* с каптенармусом? Если вообще существует исчерпывающий ответ на этот вопрос, то тогда у нас сразу два исчерпывающих ответа. Вкратце они заключаются в следующем: во-первых, Клэггерт безнравственен, потому что он в своих желаниях извращенец того типа, что к 1891 году уже имел названия в нескольких таксономических системах — но в английском еще вряд ли назывался «гомосексуалом»; или же, во-вторых, Клэггерт безнравственен не вследствие направленной на мужчин природы своего желания, что здесь выглядит естественным или безобидным, но вследствие того, что по отношению к своим собственным желаниям он чувствует только ужас и отвращение (назовем это «фобией»). Соотношение между этими двумя возможными ответами — что Клэггерт безнравственен, поскольку он гомосексуален, или же что он безнравственен, поскольку гомофобичен, — безусловно, проблема необычная. Здесь будет достаточно сказать, что каждый из этих ответов предоставляет основания — и определенно не лишает нас оснований — обозначать Клэггерта как «гомосексуала».

Можно показать, однако, что вообще не существует исчерпывающего или содержательного ответа на данный вопрос; даже обращаясь к (блокированной) экспертизе со стороны определенных таксономических профессий, повествование тем не менее предпринимает значительные усилия, стимулируя очищающее прочтение, превосходный образец которого — «Рука Мелвилла», прочтение, в котором Клэггерт представляет собой чистую *эпистемологическую сущность*, форму и теорию познания, к которой не подмешано ничего из того, что Клэггерт действительно знает или чем действительно обладает. Клэггерт в таком прочтении «есть, таким образом, персонификация двусмысленности и амбивалентности, дистанции между означающим и означаемым, разделения бытия и деяния... Он является собственно ироническим читателем, который, полагая знак произвольным и немотивированным, обращает смысловые знаки наличествования».¹²

Клэггерт же демонстрирует — и делает это действительно блестяще, — что аллегорического ярлыка определенной чистой эпистемологической крайности все же недостаточно, чтобы подвести вызванных из небытия доктора, адвоката и священника к дверям, открывающимся в текст. Задумаемся — а не ассоциируется ли тем самым то абстрагирующее эпистемологическое давление, что воплощает Клэггерт, с диагностическими спецификациями — диагностическими, а потому унизибельными — данных экспертных институций?¹³ Здесь риторическое столкновение между тематически опорожненной абстракцией знания и теоретически скудным эмпиризмом таксономии в итоге приводит, как мне кажется, к скрещиванию, посредством которого (структурно обобщенные) сосуды «самого знания» приобретают свою форму от (тематически обусловленной) познаваемой вещи или познающего персонажа. Принятую форму — форму знания, представляющего в то же самое время и «само знание», и диагностируемую патологию распознания, или распознавание диагностируемой патологии — эту форму, согласно с двойственным представлением данной безнравственности Клэггерта, должно описывать с помощью такого сгущения, как «гомосексуально-гомофобное познание». В более краткой формулировке — паранойя.

Обходительность/Провинциальность; Невинность/Инициация; Мужчина/Мальчик

Я описала это скрещивание эпистемологии с тематикой как «риторическое столкновение». И это правильное прилагательное, поскольку причиной подобного столкновения может стать только некоторое характерное *читательское* отношение, налагаемое текстом и рассказчиком. Тот неявный договор, согласно которому читатели романа добровольно погружаются в миры, что лишают их, пусть временно, в муках добытых когнитивных карт их обыденной жизни (ужас прийти на вечеринку, никого там не зная) на условиях невидимости, обещающей когнитивное освобождение и, возможно, привилегию, создает, особенно в начале каждой книги, пространство острой тревоги и зависимости. В этом пространстве идентификация читательницы с модусами категоризации, что приписывается ей повествователем, может быть почти мстительно интенсивной. Например, всякая апелляция к «знанию мира» или того, что за его пределами, зависит в своей грандиозной романической силе от тревожного избытка этой начальной сверхидентификации с организующим роман глазом. «Мирское», или «обходительность» (*urbane*), — одна из основных таких категорий, что кажется просто описательной характеристикой, прилагаемой к некоторому персонажу, а на самом деле описывает или создает цепь углов восприятия: тем самым утверждается когнитивная привилегия описываемого персонажа над отдельным, вос-

принимаемым миром, и утверждается она говорящим, который в этом действии претендует, в свою очередь, на еще более всеохватный угол когнитивного дистанцирования и привилегии по отношению как к «обходительному» персонажу, так и к «миру». Позиция читательницы в этой цепи привилегии нагружена надеждой и уязвимостью. То показное предположение рассказчика, что читательница обладает теми же полномочиями — тогда как, по правде, она может быть только дезориентирована, — устанавливает между читательницей и рассказчиком отношения лести, угрозы и соучастия, что могут, в свою очередь, реструктурировать восприятие соответствия, что исходно ассоциировалось с «мирским».

Все попытки читательницы утвердиться должны проходить сквозь ее культивируемую и ничем не обоснованную преждевременную развитость во владении (через термины книги и, возможно, даже вне их) не просто *материалом мирского*, но вместе с тем и *отношениями мирского*, ощущением дифференциалов и порогов, манипуляция которыми и составляет «истинное» знание мира. Так, например, в начале «Бостонцев» южанин Бэзил Рэнсом, охарактеризованный как «провинциал»,¹⁴ оказывается скорее «беотийцем» [т. е. «чукчей» или «чуркой». — *Прим. перев.*] не потому, что ему не удастся подобрать ярлык для женоцентрированной бостонской старой девы Олив Канцлер, но вследствие того никем не разделяемого удовлетворения, что он испытывает, используя для этой цели то, что нам описывается как грубые средства — категорию «болезненности» (11). Она же использует для его классификации средства куда лучшие, однако, в свою очередь, оказывается еще глубже дискредитированной из-за своей провинциальности в столь поверхностном владении самим термином «провинциальность» (31). А тем временем сам Джеймс, который, между прочим, и несет ответственность за развертывание эротической драмы в рамках «провинциальности» — что начинается с его выбора заглавия, в отличие от Олив долгое время преуспевает в предохранении себя от заразы владения этой атрибуцией — столь обостренно и столь многообещающе смягчая в читательнице тревогу за свою собственную читательскую позицию в этой реактивной драме.

Так же как «Бостонцы», но в куда более определенной и менее условной манере «Билли Бадд» осуществляет, через драму читательской дезориентации и временных полномочий, равенство между когнитивным владением миром в целом и владением терминами гомоэротического желания в частности.

«Но этих отрывочных намеков далеко не достаточно для того, чтобы человек обыкновенной природы сумел понять Клэггерта. Ведь чтобы перейти от обыкновенного человека к Клэггерту, необходимо пересечь “их разделяющее смертоносное пространство”, а для этого лучше выбрать косвенный путь.

В давние времена некий прямодушный ученый, много старше меня годами, сказал мне про нашего общего знакомого (которого, как и его самого, ны-

не уже нет среди живых), человека столь безупречной репутации, что лишь немногие решались усомниться в ней, и то лишь шепотом: “Да, X — орешек, который дамским веером не расколешь. Вам известно, что я не исповедую ни одной из упорядоченных религий и тем более чуждаюсь философий, преобразованных в систему. И все же я считаю, что попытаться проникнуть в душу X, вступить в ее лабиринт и выбраться наружу, руководствуясь при этом лишь той путеводной нитью, которая зовется ‘знанием мира’, не под силу никому, и уж во всяком случае мне...”

В то время я был еще достаточно наивен и не сумел понять, к чему он клонит. Но теперь, пожалуй, я понимаю» (1382\273–4).

Где во всем этом читательница — вопрос не простой: а где, в конце концов, читательница хочет быть? Терроризм, которым манипулируют мистификации рассказчика, делают роль «обыкновенного» непонимания одновременно принудительной и презренной. Тесные рамки мужской гомосоциальной педагогики, внутри которых только и можно чуть более чем вышептать вопрос об X (однако все же еще не задать его), но «*вопреки*» которым тем более следует отличать вопрос об X, определяются как отошедшая в прошлое возможность и в то же время дразняще предлагаются рассказчиком читательнице. Знание X, данное в образе, чья ужасность вряд ли смягчается его маскировкой под общее место, представлено как тесническое насилие против него, а оказаться не в состоянии разбить его орех — значит себя феминизировать и оснастить нужными аксессуарами. Самая худшая новость, однако, заключается в том, что знания X и «знания мира» оказывается не просто недостаточно — обладать этим знанием более опасно, чем не обладать никаким знанием вообще: познать X все же не значит нанести единичный удар шипцами для орехов, но — насильственно (что внезапно превращает опасное предприятие «проникновения в душу X, вступления в ее лабиринт» требующим аварийного спасения некоторой еще более невыразимой формы познания) предотвратить кошмарное обращение насильственных властных отношений знания.

Таким образом, читатель(ница) изобретается в качестве субъекта отношений с «миром» романа в акте интерпелляции, что эффективен в той степени, в которой он противоречив; он обращается к читателю на основании предполагаемой общности когнитивных полномочий, почва для которых опустошается в самом акте обращения. Читателю угрожают насилием и в то же самое время знанием; и вместе с тем его (ее) подстрекают к тем же вещам. Кроме того, узловым моментом сюжета «Билли Бадда» обладает [характерной] риторической структурой. Внезапному удару, которым Билли убивает Клэггерта в их противостоянии на глазах Виры, предшествуют два интерпелляционных императива, которые Вир адресует Билли. Первый из них приказывает Билли: «Говори же, любезный! [букв. мужчина (man). — *Прим. перев.*] Говори же, докажи свою

невинность!» Второй из них, убеждающий тело Билли одновременным ему физическим прикосновением Вири, таков: «Не торопись, мой мальчик. Успокойся. Не торопись» (1404\294–5). Возможно, Билли и мог преуспеть в формировании восприятия себя как «мужчины» или «мальчика». Но адресованная ему инструкция медлить как мальчик в непосредственном соседстве с инструкцией поторапливаться как мужчина, «проникнув в самое сердце Билли», также разожгла его к насилию: «В следующий миг его правая рука взметнулась, как язык пламени, вырывающийся из жерла пушки в ночном сражении, и Клэггерт рухнул на пол». Безусловно, именно этот момент убийства Клэггерта протолкнул Билли раз и навсегда через инициационный барьер и толкнул в тенета Клэггертового фобического желания. Смерть гомосексуала текста маркирует, по причинам, которые мы обсудим позже, не окончание, но инициацию текста — инициацию также нарративной циркуляции мужского желания.

Итак, в пугающей постановке «Билли Бадда» *знание мира*, связанное со способностью распознать однополое желание, будучи обязательным для обитателей и читателей этого мира, является также формой уязвимости перед ним — в той же степени, что и формой владения им. Несколько более продвинутый, высокий и иначе структурированный способ познания требуется от того, кто по какой-то причине захотел бы «вступить в лабиринт {Клэггерта} и *выбраться наружу*». Мы уже предполагали, в формулировке, что потребует дальнейшего обсуждения, что форма знания, циркулирующая вокруг Клэггерта и с его помощью, вполне может быть названа паранойей. Если это так, то какая форма знания в этом мире может отличаться от паранойи и каким образом?

Познание/Паранойя; Секретность/Разоблачение

Оправдано было бы предположить, что та форма знания — отмеченная присущим ему разрушительным стыком однополого желания с гомофобией, — с помощью которой Клэггерт обычно познается другими, полностью совпадает с той, с помощью которой он познает других, что регистрирует взаимную зеркальность идентификаций и фатальную *симметрию* параноидного знания. Познавать и быть познаваемым становится одним процессом. «Утонченной безнравственности обычно сопутствует сугубая осмотрительность, так как она боится выдать себя. А потому, когда речь идет всего лишь о воображаемой обиде, это стремление затаиться не позволяет узнать правду или избежать недоразумения. Такой человек начинает рьяно действовать, опираясь на собственные умозаключения как на неопровержимые факты» (1387\278–9). Удваивание способностей протекционных [защитных] проекционными зафиксировано в самом названии работы каптенармуса:

«Люди, мало знакомые с морской службой, недостаточно ясно представляют себе, что это за должность. В прошлом... в обязанности этого

офицера действительно входило обучение матросов владению оружием... Но уже давным-давно... надобность в таком обучении отпала, и каптенармус на большом военном корабле превратился в своего рода начальника полиции — ему, в частности, поручалось наблюдение за порядком на густонаселенных нижних палубах»

(1372\263).

Взаимное проективное обвинение двух мужчин, являющихся зеркальными образами друг друга, что втягивают друг друга в связь, делающую желание неотличимым от [взаимного] уничтожения, — типизирующий жест параноидного знания. Его эпистемологический принцип — это «познавать захватывает», ибо, согласно формулировке Мелвилла, познание не способно привести к тому представлению, что эмоция вовсе не обязательно порождает ответную эмоцию (1387\279). И его дисциплинарные процессы все как один настроены на лад полицейской провокации. Политики агента-provokatora составляют условия жизни и сознания Клэггерта; как мы увидим, если возникает знание, что «преступает» паранойю, оно также будет отражено в «Билли Бадде», в политиках, направленных на утилизацию и «размещение» паралитического зеркального насилия провокации, воплощаемой Клэггертом.

Как эффективность полицейского надзора через провокацию, так и уязвимость этой полицейской техники перед возникающими вспышками отдачи связаны со структурированием желания, над которым ведется надзор, — структурированием его в данной культуре и в данный момент как открытого секрета. Конкретная форма открытого секрета на «Неустрашимом» — это готовность его команды к мятежу. Не являясь альтернативой сюжетной линии в «Билли Бадде» мужского желания к мужчинам и его запрета, линия мятежа составляет ее форму на (неотделимом) уровне коллектива. Первые упоминания о мятеже в новелле дают понять, что трудность изучения этого явления подобна трудности изучения таких скандальных секретов, как осуждаемая сексуальность. И то, и другое эвфемически называется «чем-то дурным». Как и в случае другого «их разделяющего смертоносного пространства» (1382\273), термины, в которых может описываться мятеж, должны ограничиваться отсылками, оживляющими признающееся знание в тех, кто им уже обладает, но не разжигающими его в тех, кто может и не обладать:

«Естественно, что морские историки Альбиона касаются этого эпизода в его величественной морской истории лишь вскользь. Так, один из них (Уильям Джеймс) откровенно признается, что был бы рад вовсе обойти его молчанием, если бы “беспристрастность не воспрещала брезгливости”. И тем не менее он вместо обстоятельного рассказа ограничивается короткой ссылкой, почти совсем не приводя подробностей. И вообще, отыскать эти подробности в библиотеках — дело далеко не простое... Оставить эти события вовсе без упоминания нельзя, но существует особый деликатный способ исторического

их истолкования. Разумный человек не станет направо и налево кричать о чем-то дурном или каком-то несчастье в его семье, а потому и нациям в сходных обстоятельствах можно извинить такую сдержанность» (1364\255).

Или далее:

«На военном корабле существует негласное правило: ни в коем случае не допускать, чтобы матросы догадывались о том, что офицеры подозревают их в чем-то дурном. И чем серьезней положение, тем старательнее офицеры прячут свои опасения, хотя и стараются быть готовыми ко всему» (1421\311).

В частности, в своих пояснениях и приказах, касающихся наказания Билли Бадда, капитан Вир «ни разу не утратил слова “мятеж”» (1420\310).

Готовность к мятежу в британских военно-морских силах питалась, разумеется, принудительностью службы многих матросов; вопрос насильственной вербовки, если говорить об обстоятельствах, при которых эти люди подпали под власть, под которой они находятся, представляет собой явно выписанный открытый секрет — выписанный почерком, раз на то пошло, единственно способным выразить открытый секрет. «Пресловутая» проблема, не составляющая «почти или совсем никакого секрета»; тем не менее «подобные санкционированные свыше отклонения от буквы закона, которые английское правительство по очевидным причинам старалось не предавать гласности и которые поэтому совсем уже исчезли во мраке забвения»; «в настоящее время было бы, вероятно, не так-то просто подтвердить или опровергнуть это утверждение» (1374\265). «То обстоятельство, что эта история ничем не подтверждалась, разумеется, не мешало передавать ее по секрету» (1373\264). Не существует правильного способа трактовки подобной информации, и каждый из них становится нагруженным потенциально добавочными значениями. Клэггерт иносказательно ссылается на тот факт, что некоторые матросы «были взяты на службу его величества иным способом»:

«Тут капитан Вир с некоторым раздражением перебил его:
— Говори прямо, любезный, — те, кто был завербован насильно.
Клэггерт угодливо поклонился».

Но непосредственно вслед за этим, когда Клэггерт с предписанной прямоотой завершил свою речь:

«— Упаси бог, ваша честь, чтобы на “Неустрашимом” произошло то же, что на...»

— Довольно! — перебил капитан, и лицо его вспыхнуло гневом... Такой намек в подобных обстоятельствах возмутил его. Офицеры “Неустрашимого” упоминали о недавних волнениях во флоте с большой осторожностью и деликатностью, а тут унтер-офицер без всякой необходимости вдруг дерзко и развязно заговаривает о них в присутствии своего капитана! Его чувство собст-

венного достоинства было столь щепетильно, что в этих словах ему даже почудилась попытка его испугать» (1389–99\289–90).

С характерной симметрией, свойственной параноидной структуре открытого секрета, моральная нечистота, ассоциированная с методом вербовки матросов, прилипает к объектам этой вербовки как минимум с такими же разрушительными последствиями, как и к ее агентам. «Люди, чья мораль хромала на обе ноги», «преступники, завербованные прямо в тюрьмах», «любой подозреваемый в преступлении человек» (1374\265) (под взглядом паранойи более «подозреваемым», чем сидящий в тюрьме, может быть только тот, кто находится вне ее) — эти описания указывают на то, какого рода мораль приписывалась всякому, кто вступал в какие угодно отношения с заразой ловушек, расставленных дисциплиной, насаждаемой его величеством. Прочитанные фразы взяты не из контекста описания — в котором они вполне могли находиться — самых бесправных из насильно завербованных, но из пассажиров, посвященных характеристике каптенармуса; тем самым они особенно подчеркивают симметричную неразрешимость позиции Клэггерта между стигматизируемым агентом и стигматизированным объектом принудительной мобилизации. Как и следовало ожидать, ресурсы понимания каптенармусом тех людей, среди которых он должен поддерживать дисциплину, столь точно повторяют сам дисциплинарный императив, что ничего, кроме отражений паники его собственной позиции, они передать ему не могут. Сама доскональность понимания им своей позиции сообщает ему фатальную легковёрность в отношении любой предполагаемой угрозы дисциплине или ему самому: «Каптенармус принимал все это за чистую монету... ибо прекрасно знал, какую тайную неприязнь может вызвать каптенармус (во всяком случае, каптенармус тех времен, ревностно исполняющий свои обязанности)» (1386\278).

Попытка провокации в отношении Билли со стороны ютового (одного из «послушных орудий» (1386\278) каптенармуса) только акцентирует зеркальную структуру данной формы принуждения, а также неиско- ренимую двусмысленность связи в этой книге вопроса о мятеже и вопроса о гомосексуальности. Место его искушения погружено во тьму, потому Билли не может рассмотреть черты агента-провокатора; а если бы он смог, он бы испугался пародической похожести «ловкого малого» (1395\287) на него самого, лазурноглазого: «...круглое весноватое лицо и выпуклые молочно-голубые глаза под белесыми ресницами... С лица вроде бы приятный, и сразу видно, что без царя в голове. Вот разве что толстоват для матроса» (1391\282). Этот мерзкий морской искуситель, не преуспев в мимикрии под мореплавательское тело Билли, даже сымитировав его расцветку и бесцветность,¹⁵ пытается (то ли из зависти, то ли из чистой «плутоватой самонадеянности» (1395\287) с помощью своего собственного псевдосамораскрытия соблазнить Билли присоеди-

ниться к группе предполагаемых собратьев: «Тебя ведь завербовали сильно? Ну так и меня тоже. — Тут он умолк, словно проверяя, какое впечатление произвели его слова. — ... Мы же тут, Билли, не одни такие. [...] Нас много» (1389\280–81). Последующая оскорбительная демонстрация монет («Это тебе, Билли, если только ты...» (1389\281)) побуждает Билли положить конец «внезапной просьбе» в классически фобическом стиле («он с омерзением отмахнулся от этих гиней, хотя толком не понял, чего от него хотят, и лишь инстинктивно почувствовал, что дело нечисто» (1390\282)), мобилизуя свои скудные ресурсы невежества, рудиментарной таксономии и физического насилия: «Ч-ч-черт, я не знаю, к-к-куда ты клонишь и з-з-зачем все это говоришь, т-т-только проваливай отсюда! ...П-п-поживей, не то п-п-полетишь у меня к-к-кувырком!»

Невозможно представить, как нам постоянно напоминают, более простодушную и менее параноидную личностную структуру, чем та, которой обладает Билли. У кого больший иммунитет к параноидной заразе, чем у человека, вообще лишённого познавательной способности? Однако даже это стойкое ей сопротивление, оказываемое тупостью Билли, можно заставить, при соответствующем нажиме обстоятельств, активно откликаться на требования параноидного желания, их отзеркаливая. Вот, например, пронизательное резюме совершенного Билли убийства, предлагаемое Робертом К. Мартином:

«Желание Клэггерта к Билли — это не только желание причинить Билли зло, но также желание *спровоцировать* Билли, чтобы он (Клэггерт) мог быть Билли изнасилованным. Его ложное обвинение достигает своей цели, спровоцировав Билли в итоге поднять на него руку... Когда Билли бьет Клэггерта, он в какой-то мере исполняет желание Клэггерта: Клэггерт умирает мгновенно, и им напоследок овладевает то, чем он так стремился овладеть».¹⁶

Дисциплина/Терроризм

Однако легко забыть, что давление, под действием которого Билли и Клэггерт в итоге столкнулись лицом друг к другу как бы симметрично друг против друга, — это не просто давление позиции и желания Клэггерта. Скорее это давление *мобилизации Виром позиции и желания Клэггерта*. Я собираюсь показать, что силой и направлением параноидного знания — в [поза]прошлом веке гомофобно/гомосексуальных импульсов вокруг желания мужчин к мужчинам — могут манипулировать, пусть и не на 100 процентов, определенные внешне непараноидные процессы реструктуризации и переопределения, затрагивающие те бинаризм, что мы обсуждаем; и здесь хорошим примером служит капитан Вир.

Стоит ввести одно полезное разграничение, хотя оппозиция, на которую оно указывает, не более абсолютна, чем все те остальные, что уже участвуют в нашей игре, — разграничение между двумя структурами принуждения. От неэффективной, параноидально организованной струк-

туры, которую мы уже обсудили, симметричной, по схеме «один-на-один», опирающейся на полицейскую провокацию и ее агентов, можно, как следует из «Билли Бадда», отличить другую: более эффективную, поскольку более театрально яркую структуру показательного насилия, — мужское тело, поднятое на обозрение. «Война глядит только на фасад, на внешность. И Закон о мятеже, дитя войны, следует в этом за своим родителем» (1416\306), — рефлексировал Вир, протаскивая смертный приговор для Билли через свой военный суд. Тела казненных мужчин занимают центральное место в предыстории книги, ведь дисциплина после Великого Мятежа, как показано, была «установлена только после того, как флот стал на якорь и в целях поучительного спектакля зачинщики были повешены» (1477n.1405.31). Жертвенное тело лорда Нельсона, как в жизни, так и в смерти, само по себе было поучительным спектаклем, обладавшим мощным магнетизмом. «Незачем» и «глупое упрямство», Нельсонов «обычай командовать боем при всех регалиях» (1366\257) представляют собой, как расточительное потребление, форму дисциплины-через-воплощение, что явным образом отличается от терроризма:

«...настроение экипажа вызывало некоторую тревогу, и было решено, что на корабле требуется командир, подобный Нельсону, который не станет терроризировать матросов и доводить их до состояния скотской покорности, но самым своим присутствием пробудит в них верность долгу, пусть не столь горячую, как его собственная, однако не менее искреннюю» (1368\259).

Перед Трафальгаром, «в предчувствии великолепнейшей из своих побед, увенчанной его собственной гибелью, некое почти жреческое побуждение заставило его надеть усыпанные драгоценными камнями свидетельства собственных сияющих подвигов» — театральный жест, что придал самому его имени, в его посмертной вечности для моряков, вдохновляющий и объединяющий эффект «воспламенения крови» (1367\258).

И конечно, на уровне более рутинном, но едва ли менее тяжкое, существует гальванизирующее

«впечатление от экзекуции, которую ему [Билли] довелось впервые в жизни увидеть... С леденящим ужасом Билли смотрел, как плоть впивается в обнаженную спину, окровавленную, всю в решетке багровых рубцов, он увидел искаженное лицо несчастного, который кинулся в толпу, чтобы поскорее спрятаться, едва экзекутор набросил на него шерстяную рубаху. И наш формарсовый тут же дал себе клятву, что не только никогда не допустит проступка, который может навлечь на него подобную кару, но и будет остерегаться самых незначительных недосмотров и промахов, хотя бы даже за них не полагалось ничего страшнее словесного выговора» (1376–77\268).

Среди трех завершений «Билли Бадда» самое главное отслеживает «обнародование» самого Билли, однажды повешенного за шею (что

привело к его смерти) в точности для этой иллюстративной цели, распространяя посредством «официального морского еженедельника» (1432\323) — как то делает и сама новелла каждый раз, когда ее перепечатывают и читают — чрезвычайно перформативную, если не сказать желанную новость: «Преступник понес законную кару за свое злодеяние. Незамедлительность, с которой она была приведена в исполнение, оказала самое благотворное влияние. В настоящее время на борту [...] царит полнейшее спокойствие» (1433\324).

Ассоциация капитана Вира, с одной стороны, с когнитивной категорией дисциплины и, с другой стороны, с физическим образом одинокого мужского тела, приподнятого из общего горизонта зрения, запечатлена даже в истории о его небесном прозвище — «Звездный Вир». Нам рассказывают, что это прозвище взято из строчек «Эплтон-Хауса»:

«И обязаны мы ныне
Вашей строгой дисциплине
Тем, что восхищен весь мир,
Гордый Фэрфакс, звездный Вир!»

(1370\261).

И вновь негибкость Вировой манеры общения приписывается автором его природной «прямолинейности, иной раз настолько безоговорочной, что невольно вспоминаются перелетные птицы, которые вообще не замечают государственных границ, пересекающих их путь» (1372\263). Таким образом, Вирова дисциплина двояко ассоциируется с физической приподнятостью. Во-первых, предпочитаемая им форма дисциплины зависит, как мы видели, от позиционирования некоего мужского тела (не его собственного) на жертвенном «жутком возвышении» карательной визуальности, возвышении, которое (по его замыслу) формирует организующую вершину того, что таким образом становится треугольником или пирамидой мужских отношений, «тесной массой запрокинутых лиц» (1427\317–8); и мужчины, для которых предназначался этот спектакль, совместным его созерцанием стягиваются в предполагаемо стабильный захват субординации. Однако в другом варианте дисциплинарного треугольника Вира его собственное смотрящее око, но не тело некоего другого мужчины, на которое смотрят как на образец, составляет высшую точку дисциплинарной фигуры.

Определяющим примером последней констелляции служит тот способ, которым Вир управляется с намеками Клэггера относительно Билли Бадда: Вир не останавливается, пока не создает сцену, в которой он может «приготовиться наблюдать за [обращенными друг к другу] лицами обоих» (1403\294) мужчин, которые связаны — или скоро будут связаны — взаимно фатальным узлом параноидной симметрии. Геометрическая симметрия их конфронтации кажется существенным моментом

для достижения Виром той дистанции приподнятости, до которой он стремится возвыситься. В то же время именно Вирово желание судить с такой дисциплинарной дистанции, той, что определяется самим ее отличием от взаимной конфронтации симметрично обращенных друг к другу лиц, и завершает эту взаимность и целиком и полностью *создает* фатальность параноидного узла, связывающего Клэггера и Билли Бадда.¹⁷ Грубо говоря, если бы Вир удовольствовался тем, что выслушал показания обоих мужчин по отдельности или же обеспечил им официальное разбирательство — если бы он расположил каждого из них перед своим лицом или же перед коллективным лицом военного суда, но не перед лицом друг друга перед собственным «беспристрастным» взором, — тогда бы ни один из них не погиб.

Итак, Вирова дисциплина и опирается на параноидную симметрию, по отношению к которой она определяется, и вызывает ее к жизни, так же как она не может обойтись без системы полицейских провокаций, чьи подлые технологии обеспечивают небесной машине правосудия разом и фон, и фураж.¹⁸ Именно «рассудительное» правосудие Вира впадает Билли в противостояние, из которого — оснащенного подстрекательством богатыми на противоречия словами Вира и его воспламеняющими своей добротой касаниями — ни он, ни Клэггер не выйдут живыми.

В дальнейшем, в сцене суда и вынесения приговора, Вир придерживается той же тактики, добиваясь смертной казни, что он уготовил для Билли. Он выстраивает между офицерами и командой ситуацию взаимных параноидных отражений, вовлекая офицеров в интенсивную проективную фантазию о том, как команда, обуянная собственной проективной фантазией, может воспринять и проинтерпретировать мысли офицеров. В случае проявления снисходительности, спрашивает он,

«как же они истолкуют такую мягкость? Даже если бы мы объяснили им — чего наше официальное положение не допускает, — долгое нерассуждающее подчинение деспотической дисциплине притупило в них ту чуткость и гибкость ума, которые позволили бы им понять все правильно... Они решат, что мы дрогнули, что мы испугались их — испугались применить законную кару, хотя обстоятельства требовали именно ее, — так как опасались вызвать новую вспышку. Каким позором для нас явится подобный их вывод, и как губительно скажется он на дисциплине!» (1416–17\307).

Этот рефлексивно структурированный панический страх мятежа, вызванный у офицеров человеком, «стоявшим выше их не только по таблице о рангах, но и по духовному развитию» (1417\307), и явился, как мы убеждаемся из текста, главной причиной того, что они побороли свои сильные сомнения в этической и процедурной правомерности [происходящего] и вынесли тот смертный приговор, которого домогался Вир.

Большинство/Меньшинство; Беспристрастность/Пристрастность

Дисциплинарный треугольник, чья вершина — судящее око, или же образцовый объект дисциплины: эти две конструкции лишь псевдоальтернативны, в той степени, в которой один и тот же агент, капитан Вир, волен направлять циркуляцию персонажей от одного позиционирования к другому. Сколь твердой выглядит его рука в этом калейдоскопе — и сколь последовательным желание! Со своею жадной и своей ролью кормчего он управляется с мастерской экономией. Желания капитана Вира — это желания глаза:

«Разумеется, Красавец Матрос, заметная фигура среди нижних чинов, не мог не привлечь к себе внимания капитана, едва появившись на борту. Капитан Вир, хотя обычно он держался со своими офицерами несколько сухо, даже поздравил лейтенанта Рэтклиффа с редкой удачей, присовокупив, что новый матрос — поистине великолепный образчик *genus homo* и без одежды мог бы позировать для статуи юного Адама до грехопадения... Поведение фор-марсового на борту в той мере, в какой оно было известно капитану, казалось, вполне подтверждало это первое благоприятное впечатление, а его матросская сноровка была настолько выше похвал, что капитан прочил его на такое место, где мог бы сам чаще за ним наблюдать, и намеревался рекомендовать старшему офицеру назначить его на бизань-мачту старшим крьюсельным взамен ветерана, чьи годы делали его уже малопригодным для выполнения подобных обязанностей» (1400–1401\291).

Выступление лазурноглазого Билли в характерной роли «Красавца Матроса» с самого начала истории говорит о том, насколько он подходит для зрительного потребления в качестве фигуры, в поле зрения заброшенной далеко вверх: «Альдебаран между прочими, более слабыми светилами своего созвездия» (1353\245), «великолепная фигура, будто вскинутая рогами Тельца в грозное небо» (1354\246). Когда Клэггерт неприметно поглядывает «на Билли, который во время второй полувахты прогуливается по верхней батарейной палубе», репертуар его реакций, весьма ограниченный и слабый: «на глаза каптенармуса навертывались странные жгучие слезы» (1394\285), снова запускает растрavляющий цикл — «хладный гнев, отчаянье и зависть» (1475п.1384.14\276).¹⁹ Капитан Вир, с другой стороны, жаждет не столько обладать Билли, сколько наблюдать за ним, ибо, тогда как Клэггерт «мог бы даже полюбить Билли, если бы не роковой запрет судьбы» (1394\285), для Вира этот «подросток», которого его инстинктивная фантазия стремится (раздеть и) обратить в мрамор, должен оставаться всего лишь «образчиком» «необходимых [матросу] качеств» (1400–1401\291). В отличие от тяжких хитросплетений Клэггерта, глаза Вира усматривают в Билли приятный стимул для его организаторских склонностей, катализатор проекта по управлению персоналом, требующего помещения великолепного торса «на такое место, где [Вир] мог бы сам чаще за ним наблюдать».

Если Вирова система обеспечения его глаз пропитанием и вызывает какие-либо фрустрации, то только те, что относятся к случайности и изменчивости конкретной, телесной плоти: в отличие от мрамора или платонической абстракции *genus homo* [рода человеческого], реальные парни подвержены влиянию времени и по этой причине оказываются «малопригодными» для заметных на корабле постов.

Невозможно не восхищаться тому, с каким искусством капитан Вир избегает фрустраций и достигает исполнения своего желания. Билли, выставленный на обозрение, Билли на вахте, «на таком месте, где за ним можно наблюдать», Билли платонизированный, Билли «повешенная серьга» (1434\325), Билли, что никогда не постареет. Последняя треть новеллы, шокирующе быстрый марш-бросок Билли к виселице на гротарее и к его апофеозу на ней: будучи целиком и полностью работой капитана Вира, эти события представляют собой совершенное удовлетворение очень конкретного желания.

Возможно, здесь стоит сделать паузу и прямо спросить, что значит находить в Клэггерте гомосексуальное рассматриваемого текста, а в Вире — его образ нормы. Так же как ураническое дисциплинарное правосудие «звездного» Вира зависит от того самого параноидного полицейского клинча, через трансценденцию которого оно себя определяет, предполагается беспристрастные мотивации Вира относительно Билли Бадда также основываются на клэггертоподобной пристрастности, которой, однако, они таким же образом надменно противопоставлены. «Пристрастность»-причастность («partiality») Клэггерта и «беспристрастность»-непричастность («impartiality») Вира: может быть, это не столько внешние друг другу взаимопротивоположности, *X* и не-*X*, желание и не-желание, сколько отношение *части* (part) к *целому*: сдвоенное бессильное желание Клэггерта вгрызается в его собственные внутренности, а всеильное всесистемное желание Вира распространяется по всем жилам и линиям разлома функционирующей военно-морской машины. Наиболее подходящим термином для желания Клэггерта было бы «приватное», для желания Вира — «публичное». Но что подразумевают эти обозначения?

Публичное/Приватное

Ключевая проблема публичного/приватного обязана своей грандиозной продуктивностью в феминистской мысли не подтверждению исходной гипотетической гомологии мужское:женское::публичное:приватное, но богатству ее деконструктивных деформаций. Во всех дисциплинах, от архитектуры до психоанализа, от проблематики рабочего места и государства всеобщего благосостояния до онтологий языка и «я» вопрос о публичном/приватном дал начало серии базовых реализаций феминистского анализа, каждая из которых в новой взаимосвязи демонстрирует тенденциозность топоса чистого *места* и аналитической структуры

симметричной оппозиции в любой комбинации, включающей в себя деятельность, власть или же, разумеется, дискурс. Образцом феминистского изгиба этой статичной гомологии может послужить афоризм Кэтрин МакКиннон: «Приватное — это все то, чем женщинам как женщинам никогда не позволяли быть или обладать; и в то же время приватное — это все то, к чему женщины были приравнены и чем определены в терминах мужской способности к обладанию».²⁰

В этой связи одна из наиболее последовательных интуиций таланта Мелвилла касалась того, каким образом пространство парусника может быть уподоблено пространству шекспировского театра. Каждое из этих мест встречи (мужчин с мужчинами) графически проявляло ту истину, что остальные жаргоны девятнадцатого века — по меньшей мере девятнадцатого — сговорились скрывать: что различие между «публичным» и «приватным» никогда не может быть репрезентировано в стабильной или умопостигаемой форме как различие между двумя конкретными классами физического пространства. Как на борту корабля, так и на театральной сцене пространство для тех действий, чья перформативная эффективность зависит от их определения как частных или публичных, должна каждый раз очерчиваться и категоризироваться заново. Моделью такого определения может стать риторическое искусство актера, которым (например) достигается такая релаксация тона фокусирующей мускулатуры зрачка, что способна внезапно создать монологичное пространство, что каждое другое присутствующее на сцене тело превращает в тело невидимое и *глухое*.

Множество блестящих эффектов в «Моби Дике» связано с широкими шекспировскими претензиями самого повествующего сознания на власть над определением конкретного участка верхней или нижней палубы на конкретном отрезке времени как пространства частного или же публичного. В «Билли Бадде», с другой стороны, наиболее хитро-сплетенное локальное наслоение высказываний указывает на то, что видимым субъектом нарратива является непрекращающаяся борьба за право обрисовывать пространство палубы как публичное или частное. И выходит так, что само оформление сцены (в этом риторическом смысле) уже выстраивает как сюжет драмы, так и спектр ее смыслов, столь деликатна калибровка социального значения, организующегося вокруг некогерентного регистра «публичное / частное».²¹

О, эти якоря внимания и знания, эта борьба за создание как бы заново мизансцены, все, о чем нужно договориться, пока не произнесено первое слово в любом из разговоров на корабле! Вот только один пример: для той встречи Клэггера и Вира, что в итоге обернется в новелле марафоном убийства и суда, требуется — только для того, чтобы она наконец началась! — три полновесных абзаца максимально интенсивной пространственно-эпистемологической хореографии:

«... каптенармус поднялся из порученных его надзору темных недр корабля, направился к грот-мачте и остановился там со шляпой в руке, ожидая, пока его заметит капитан Вир, который в одиночестве прохаживался по квартердеку вдоль правого борта... На то место, где стоял Клэггер, нижние чины приходили, когда им требовалось по какому-нибудь особенному делу обратиться к вахтенному офицеру или к самому капитану. Впрочем, обращаться к последнему в ту эпоху хватало духа редко у какого матроса или унтер-офицера: такую дерзость могло оправдать лишь нечто действительно из ряда вон выходящее.

Несколько минут спустя капитан, собираясь в задумчивости повернуться, чтобы вновь направиться к корме, вдруг заметил Клэггера и увидел, что тот прижимает к груди шляпу, смиренно, но упрямо ожидая, когда на него обратят внимание.

Едва капитан увидел, кто столь почтительно ждет у грот-мачты, как на его лице появилось странное выражение. Такую невольную гримасу делает тот, кто неожиданно встречает человека, которого хотя и знает, но не настолько долго и хорошо, чтобы узнать по-настоящему, и вдруг теперь впервые замечает в его облике что-то отталкивающее. Тем не менее он остановился, принял свой обычный сдержанный вид и спросил:

— Ну, в чем дело, каптенармус?

Голос его и тон тоже были обычными, однако в первом слове проскользнуло что-то похожее на неудовольствие» (1397\288–89).

Однако же, несмотря на то, что были найдены те унижительные интеллигентские термины, в которых Клэггер получил разрешение на временное вторжение в (густонаселенное) «одиночество» Вира, это несколько не стабилизировало определения отведенного им обоим пространства. Аудиенция, которую Вир оказывает Клэггеру, начинает собирать аудиторию, причем самого тревожного толка:

«... находившиеся там офицеры-артиллеристы согласно с требованиями морского этикета отошли к левому борту, едва капитан Вир начал прогуливаться у правого, и во время его беседы не осмеливались подойти ближе, сам же он говорил тихо, а голос Клэггера был негромким и серебристым, так что свист ветра в снастях и плеск воды и вовсе заглушали их слова, но тем не менее их затянувшаяся беседа уже привлекла внимание марсовых, некоторых матросов на шканцах и даже баковых» (1402\293).

Трудоемкое отвоевывание для служебного дела частного пространства, закрытого от беспорядочного публичного пространства индивидуумов, требует не только серьезного изначального задействования власти Вира, но и постоянно возобновляющихся усилий по его удержанию. И кроме того, сам факт, что даже в этом жестко организованном и иерархическом полисе по *служебному* делу в данный момент необходимо выкроить *частное* пространство, тогда как *публичное* пространство выглядит вполне подходящим для дел *личных*, говорит о существова-

нии непоправимо противоречивого поля определений, в котором должна разворачиваться эта борьба за значение.

Итак, когда Вир определяет, что для продолжения этой встречи «требуется смена сцены действия, перенесение ее в обстановку, не столь открытую внешнему обозрению» (1402\293), он реагирует на целый спектр затруднительных императивов манипулированием целым спектром чувствительных бинаризов. В придачу к дискомфорту, вызванному необходимостью удерживать напряжением силы воли непроницаемое пространство разговора внутри физического пространства, со всех сторон омываемого людьми, он реагирует также на «вилку», обусловленную статусом мятежа на флоте как «открытого секрета»:

«Сперва он, естественно, склонен был потребовать предоставления тех доказательств, которыми Клэггерт, по его словам, располагал. Но это означало немедленное разглашение дела, что, по его мнению, могло бы неблагоприятно подействовать на команду. Если Клэггерт лжесвидетельствует... тогда на этом все и окончится. А потому прежде, чем проверить донос, следует приватно испытать правдивость доносчика вдали от любопытных глаз и ушей» (1402\293).

Вир не просто выстраивает режиссуру физического пространства встречи так, чтобы удерживать его за назлектризованной границей, перемещая его с открытой палубы за закрытые двери («Разыщи его {Бадда}. Он сейчас свободен. Скажешь ему так, чтобы никто другой не слышал, что его требуют на ют. Присмотри, чтобы он ни с кем не обменялся ни единым словом. Отвлеки его разговором. И только когда вы будете уже на корме — не раньше! — сообщи ему, что ты ведешь его в мою каюту. Ты понял? Исполни. Каптенармус, спустишься на нижнюю палубу и, когда Альберт, по твоим расчетам, пройдет с матросом на корму, незаметно последуешь за ними» (1403\293–94)), — не просто заводит физическое пространство встречи за эту границу, а ее информационное пространство за границу, отделяющую демонстрируемое от тайного, он также активизирует еще одну границу между публичным и приватным, границу между действиями, ответственность за которые лежит на конкретной личности, и действиями, совершаемыми от имени государства, между официальным и неофициальным.

В какой бы момент нашей истории Вир ни уяснил для себя, какую судьбу он приустроил для Билли Бадда, вслух он впервые провозглашает свою цель в момент, непосредственно последовавший за гибелью Клэггерта, гибелью в обстановке весьма напряженной и двусмысленной: «ангела должно повесить!» (1406\296). В реализации этого проекта Вир вряд ли может рассчитывать на узкий канал строгой официальной процедуры, поскольку по ее правилам, как то понимает судовой врач, «Билли Бадда следовало посадить под арест и отложить разбирательство столь необычайного дела до того времени, когда они вернуться к эскадре,

а тогда передать его на усмотрение адмирала» (1406–7\297). Для Вира, однако (так же, как, оказывается, и для его начальства), «воинский долг» (1409\299), арочным пролетом соединяющий его панический страх перед мятежом и визуальное желание,²² представляет собой высший закон, а не исключительно тактические возможности его официальной трактовки; и в данном случае «воинский долг» диктует исполнение того блестящего риторического трюка, с помощью которого линия между официальным и неофициальным в изящном танце пересекается вновь и вновь, то в одном, то в другом направлении, и эта непрерывная захватывающая дух хореография лиминального передает авторитет сурового коллективного судебного приговора и общего блага тому, что в конце концов является лишь чрезвычайно специфическим сенсорным голодом одного-единственного человека.

Итак, «за собой... оставив право наблюдать за разбирательством, вмешиваясь в него формально или неформально в случае необходимости», Вир «незамедлительно» собирает военный суд, «назначая судей» (1409\299–300). Его [определяющее] желание в этом отборе — найти людей, «сто процентов надежных в отношении моральной дилеммы, к тому же еще трагической» (1409\300), — которых, скажем так, можно с самого начала убедить, что эта история, по определению, *действительно* трагическая: история, которая неизбежно должна завершиться смертью, и смертью, характеризующейся определенными показательными возвышенностью и серьезностью. Конструируя эту смерть как — вопреки всему — неизбежную, капитан Вир должен сыграть роль не только полицейского, но и судьи, свидетеля, защитника и окружного прокурора — и все это на разные лады. Впрочем, все это он делает, не покидая некоего символически важного места в каюте:

«Билли Бадд предстал перед своими судьями. Капитан Вир, естественно, выступал в роли единственного свидетеля, на время как бы отказавшись от привилегий своего чина, не считая одной, казалось бы, самой незначительной. — он давал показания, стоя у правого борта, а поэтому, заранее имея это в виду, судей посадил у левого» (1410\300).

И если капитан Вир, будучи свидетелем обвинения, иной раз реагирует на показания обвиняемого подтверждением их более чем свидетельским — «я верю тебе, любезный» («ту тап», букв. — «мой человек»), вряд ли нас удивляет, что Билли может обратиться к нему только «ваша честь» (1410\301). Неколебимое доверие Билли, от которого также зависит благополучное течение официальной процедуры, возникает, однако, от его отношения к капитану Виру в целиком неофициальном ключе, как к «его лучшему заступнику и другу» (1411\302). Как свидетель, как «советчик» (1414\304), как военачальник, как лучший друг подзащитного, как главный обвинитель, как последний судья, как уте-

шитель, толкователь и посетитель, Вир своим бесконечным пересечением этих разделяющих противоположности — а также чины и ранги — линий ухитряется не смазывать эти демаркации, но усиливать их и благодаря этому — усиливать престиж его собственного мастерства в господстве над ними.

Искренность\Сентиментальность

Энн Дуглас завершает свои сетования по поводу «феминизации американской культуры» оргазмическим восхвалением «Билли Бадда», избирая именно этот конкретный текст, поскольку «Билли Бадд» репрезентирует в ее аргументации точную оппозицию категории сентиментального. «Билли Бадд» Энн Дуглас — это «Билли Бадд» капитана Ви́ра: Вир не только «непредубежденный» герой этого текста, но и его Бог. И в подходе Энн Дуглас капитан Вир разделяет со всей историей ту «отдаленность», которая единственная обеспечивает «сущностную честность» обоим; *его* добродетель всеобъемлющего здравомыслия — это *ее* добродетель всеобъемлющего здравомыслия.²³

Что более всего характеризует образцовую несентиментальность новеллы «Билли Бадд» и капитана Ви́ра, согласно Дуглас, так это тотальная скрупулезность, с которой и новелла, и капитан соблюдают границы между публичным и приватным. «Все на своих местах», — одобрительно пишет Дуглас. «Мелвилл уважает частную жизнь (*privacy*) своих персонажей». Аналогичным образом, Вир действует «в имперсональном, даже аллегорическом плане», он свободен от каких-либо «персональных» мотивов, когда приносит Билли в жертву. Его божественный статус гарантирован, говорят нам, достижением абсолютной непроницаемости границы между его публичной и приватной жизнью. «Его действия при вынесении приговора Билли аналогичны действиям кальвинистского Бога в жертвоприношении Христа. Вир частным образом страдает за тот факт, что он добивается тотально публичного жеста». И так, и Вир, и вся история становятся, в аргументации Дуглас, совершенной антитезой вековому процессу сентиментальной деградации американской культуры, процессу, в ходе которого публичное и приватное фатальным образом перемешиваются.

Предлагаемое Дуглас прочтение капитана Ви́ра — прочтение весьма сильное, в том смысле, что оно отчетливо регистрирует тот неоспоримой силы эффект, который производят Вир и его текст. Его можно назвать эффектом приватного: это иллюзия, заключающаяся в том, что читатель(ница) «Билли Бадда» становится свидетелем борьбы между сферами приватного и публичного, отделенных друг от друга с совершенно беспрецедентной однозначностью. Вир — это персонаж, который кажется наиболее отождествляемым с аскетизмом этой дефиниционной сегрегации и наиболее ответственным за него, и как читатели мы при-

вично прославляем и осуждаем Ви́ра в зависимости от того, одобряем мы или нет сегрегацию столь скрупулезную или же дегенерацию столь абсолютную приватной сферы в пользу публичной — при их столь резком размежевании.²⁴

Соглашаясь делать свой выбор между одобрением и неодобрением, мы, однако же, как будто уже позволили себе быть насильно завербованными на службу Его Величеству. Принимая на веру, что то, что мы видим, — это выбор между публичным и приватным, мы оказываемся в положении офицеров на военном суде капитана Ви́ра — или же матросов, составляющих аудиторию казни на палубе. Или даже не так — мы вновь санкционируем их мучительно трудное положение, причем зачастую в терминах куда менее скептических, чем их собственные. Что бы, в этих терминах, мы ни «выбрали», все равно ангела должно повесить.

Мне кажется, я сказала уже достаточно о некогерентности дуализма публичного/приватного на борту «Неустранимого» и о непростом отношении к этому капитана Ви́ра, чтобы подвести к той мысли, что создание этим текстом и этим персонажем *эффекта приватности* такой интенсивности — это потрясающее литературное достижение. Как же устроен этот трюк? Как, например, читатели приводятся к убеждению, что «*Вир страдает частным образом*» за свой «публичный» жест?

По большей части мы получаем эту информацию точно так же, как ее получают офицеры и команда корабля, так что наша убежденность в том, что мы знаем, что «Вир страдает частным образом», есть тот момент, что самым роковым образом отождествляет читателей с этими лишенными всякой власти людьми. Мы знаем, что «Вир страдает частным образом», поскольку Вир страдает частным образом публично. И далее — мы узнаем, что Вир страдает тайно и молча, опираясь на то многословие и ту демонстративность, с которыми он исполняет звездную роль Капитана-протагониста. Вместо того чтобы искать приватное пространство для того, что может быть его приватным страданием (как будто такое приватное пространство существует на борту «Неустранимого» — как будто такое приватное пространство вообще существует где бы то ни было), Вир намеревается реорганизовать непосредственно окружающее его густонаселенное сообщество с помощью некоего театра, в котором он сам может попытаться воплотить, в своей речи или даже самой своей физике, зону дефиниционной борьбы между публичным и приватным. В этом акте отваги драматизацией (в глазах подчиняемой ей аудитории) его собственного тела как страдающей зоны категориального разделения и подтверждается окончательно его компетентность как судьи. «Сентиментальность» может послужить названием для одной стороны — отторгнутой — воплощенного в нем категориального разделения и в то же время — названием глобальной стратегии, развертываемой вокруг него.

Мы уже в какой-то степени обсуждали *слова* Вира, но как насчет его тела? Эта театральность, в конце концов, оказывается стратегией, что в итоге приводит в соответствие друг другу две характеристические модальности скопической дисциплины Вира: одну ее вершину, позиционирующую в качестве визуального объекта страдающее мужское тело, и другую ее вершину, позиционирующую в качестве смотрящего и выносящего суждения субъекта самого Вира. Когда поведение или тело «звездного» Вира становится в «Билли Бадде» видимым в качестве физически выраженной зоны конфликта, событие это оказывается куда более впечатляющим, поскольку обычное присутствие Вира совершенно бестелесно. В отличие от Билли, чья эпистемологическая простота и уязвимость удостоверяются той образцовой телесной мужественностью, с описанием которой возникает в повествовании его физика, или от Клэггерта, чье тело непрерывно обстреливается перекрестным огнем взглядов наружу изнутри и внутрь снаружи,²⁵ Вир выводится на нарративную сцену, сопровождаемый — в том месте, которое обычно зарезервировано для физического описания, — скорее просто списком привилегированных привативов [грамматических элементов отрицательного характера. — *Прим. перев.*]. Человек, которому «присущи чрезвычайное стремление себя не выпячивать и неразговорчивость», «джентльмен ничем не выдающейся наружности и без парадных знаков своего чина» демонстрирует «ненавязчивость поведения, источником которой могла быть неподдельная скромность, которая у решительных натур подчас сопутствует мужеству» (1369\260, курсив И. К. С.). Глаз читателя не приглашается на праздник. Там, где выставляются на обозрение лазурные глаза Билли, где глубокого фиалкового тона глаза Клэггерта вспыхивают красными огоньками (1394\286) или становятся грязновато-лиловыми (1403–4\294), обеспечивая двойную направленность его взгляда, обладающего «змеиной притягательностью» (но кто здесь змея?), там серые глаза Вира — единственная характерная деталь его материальности — нужны только для наблюдения: «серые глаза, с досадой и недоверием пытливо всматривающиеся в спокойные фиалковые глаза Клэггерта, словно пытаясь разгадать, что они скрывают» (1401\292), или стремящиеся удерживать под прямым наблюдением небесно-голубые глаза Билли.

Итак, возможно, не столь и удивительно, что Вир должен скрывать свои глаза для того, чтобы более открыто стать объектом наблюдения. И даже тогда он станет видимым только *в качестве* драматизированной зоны внутреннего разделения. После того, как они с Билли исследовали инертную форму мертвого Клэггерта, например («Они как будто сгибают мертвую змею»):

«Капитан Вир выпрямился, прикрывая лицо ладонью. Внешне он казался столь же невозмутимым, как бездыханный труп у его ног. Раздумывал ли он

над случившимся, взвешивая, что следует сделать, и не только сию минуту, но и потом? Он медленно отнял ладонь от лица, и впечатление было такое, будто затмившаяся луна появилась из тени совсем не похожей на ту, какой она в эту тень погрузилась. Отцовская доброта, с какой он до сих пор обращался с Билли, сменилась начальственной суровостью» (1405\295–6).

И вновь, отмечая поворотный пункт суда (тот момент, когда Билли покидает каюту, а Вир из «свидетеля» становится активным обвинителем), он демонстрирует себя в качестве видимого, поворачиваясь спиной. Офицеры

«обменялись взглядами, исполненными тревожной нерешительности. Тем не менее они чувствовали, что обязаны принять решение, и принять его безотлагательно, хотя капитан Вир сидел, отвернувшись от них, и словно бы в рассеянии, как это с ним бывало, глядел сквозь иллюминатор правого борта на окутанную сумерками однообразную равнину пустого моря. Но судьи хранили молчание, лишь изредка прерывая его, чтобы шепотом обменяться тем или иным мнением, и капитан Вир, казалось, почерпнул в этом какую-то новую уверенность. Он встал и прошелся вдоль каюты. Когда он возвращался к иллюминатору, ему пришлось подниматься вверх по наклонному полу, так как «Неустршимый» в это мгновение шел с креном на левый борт. И каждое его движение, хотя он этого и не сознавал, как бы символизировало неумолимую решимость, готовую преодолеть даже природные инстинкты, могучие, как ветер и волны» (1413\303).

Здесь капитан опять материализуется, снова в качестве вертикали и снова в качестве «я», в боевом порядке обращенного против себя. И это происходит вновь и гораздо более очевидным образом, в тот момент перед повешением, когда «надвинулось завершение» [в русском тексте эти слова отсутствуют. — *Прим. перев.*] жизненного пути Билли:

«[ничто не нарушило] стоического самообладания капитана Вира — а может быть, все его чувства вдруг сковал паралич; но как бы то ни было, он продолжал стоять неподвижно и прямо, точно мушкет в ружейной стойке» (1426–27\317).

Описывая «приватную» агонию Вира как нечто, что, происходя «публично», функционирует как театр, я никоим образом не намеревалась предположить, что она *неискренна*. Подобное обвинение подразумевало бы, что где-то за сценой публичного перформанса-представления приватной агонии существует совершенно другое, аутентичное пространство приватности, чья внутренняя драма может быть абсолютно другой. Собственная каюта Вира, скажем — можно вообразить, как он укрывается в своей спальне от своего же протагонистского публичного представления только для того, чтобы, наконец-то оставшись в одиночестве, в восторге обнять себя под одеялами, балдея от непреходящего визуального триумфа юноши, который, «возносясь, оделся всем

розовым блеском зари» (1427\318). Кто может сказать, что подобные вещи не могли происходить? Но даже если они и происходили, этого все равно недостаточно, чтобы как *приватное* сконструировать помещение, в котором, в конце концов, всего несколькими часами ранее был созван суд, уполномоченный вынести смертный приговор. Но даже если б этого не было, можно ли назвать приватным помещение, вполне открытое проницательности некоего юного Альберта, который «был вестовым капитана Вира, своего рода морским камердинером, и тот давно привык полагаться на его преданность и проницательность» (1402\293). «Приватное пространство», населенное слугами, как нам может напомнить «Бенито Серено», — это пространство, густо иннервированное означущими и потому — означаемыми «публичных» отношений власти. К подобному же выводу можно прийти, двигаясь в другом направлении: а что побуждает нас предполагать, что в случае Вира генитальная сексуальность является знаком приватного, а не публичного? Обратное допущение выглядит более правдоподобным: если Вир от чего-то и балдеет, это должно быть выставлено напоказ, неважно — ему или кому-то другому. Кроме того, как мы увидим, в тексте маскулинные генитальные напряженности упорно локализируются не в одиноком или парном наслаждении или расточении эрекции, но в куда менее грязной экономике их видимой циркуляции.²⁶

Перформансы-выступления Вира перед собранием офицеров или матросов, однако, не являются единственной формой, которую в «Билли Бадде» получает жертвенная драма публичной приватности; алиби чистого отождествления с кордебалетом свидетелей, толпящихся на сцене, отнимается у читателей — что оставляет нас куда более незащищенными перед гложущими нас самих желаниями. В конце концов, текст конструирует два момента того, что можно назвать истинной приватностью, один кульминационно завершается поцелуем, второй — объятием; и то и другое происходит между мужчинами. Объятие совершается в ходе того, что дважды весьма кстати называется «беседой за закрытыми дверями (closeted)» (1419\310–11; 1423\314), когда Вир сообщает Билли смертный приговор. То есть оно совершается — или, возможно, и не совершается, — когда беседа имеет место не только в чулане, которым служит маленькая каюта, но и в чулане сослагательной грамматики, чей эффект прошедшего времени должен подчеркивать сакральную/табуированную значимость одного-единственного объятия, инвестируя его максимально лиминальным онтологическим и эпистемологическим статусом:

«Приговор был сообщен, но, что еще происходило во время этой беседы, осталось навеки неизвестным...

Душевный склад капитана Вира был таков, что, скорее всего, не позволил ему скрыть что-либо от осужденного... А Билли, без всякого сомнения, при-

нял это признание с такой же открытой душой, с какой оно было сделано... И конечно, он почувствовал, что... можно предположить и большее. Под конец капитан Вир мог дать волю тому скрытому жару, который нередко таится под оболочкой стоической невозмутимости. По возрасту он годился Билли в отцы.²⁷ И этот суровый служитель воинского долга, уступив первозданным чувствам, которые цивилизованное человечество привыкло держать под спудом, в последнюю минуту, возможно, прижал Билли к сердцу» (1418–19\309).

Эта стратегия называется — невероятно! — *приватностью*; именно это имеет в виду Энн Дуглас, когда говорит, что Мелвилл уважает частную жизнь (privacy) своих персонажей.

«Но высокое таинство, в котором при обстоятельствах, подобных описанным, соучаствуют два благороднейших создания великой Природы, пребывает скрытым от насмешливых глаз злорадного мира. Эти минуты неприкосновенны (there is privacy at the time) для того, кто остается в живых, и благое забвение, всегда сопутствующее божественным движениям души, неизменно скрывает все своим непроницаемым покровом» (1419\309).

Но даже такая «чуланная» беседа не упускает шанса впечатлить экипаж корабля посредством сверхэкспрессивно сопротивляющегося тела капитана Вира: «Первый лейтенант увидел капитана Вира, когда тот выходил из салона. И мука сильного духом, которую он прочел в чертах его лица, глубоко поразила этого пятидесятилетнего человека» (1419\309). Но все же главная ее аудитория — это аудитория нарратива; впрочем, должно быть также очевидно, насколько деликатно, под сколь постепенно повышающимся давлением лоска и настояния нарратива аудитория берется здесь в оборот. Я почти готова назвать это воздействие просто сладострастным — скажем так, просто сентиментальным, — понимая, что и сладострастие, и сентиментальность в таком употреблении есть антитезисы к простоте и определенно являются прямыми противоположностями тому, что легко можно понять и проанализировать.

Однако предположим на минуту, что мы собираемся принять определение, подразумеваемое в работе Энн Дуглас, определение, согласно которому сентиментальность — это смешивание сфер публичного и приватного, особенно путем — позвольте уж добавить — такой риторики, что заявляет о решительном их различении. При таком определении капитан Вир оказывается — как, надеюсь, мне удалось продемонстрировать — всецело сентиментализирующим *субъектом*, активно использующим уловки сентиментальности для удовлетворения нужд, которые невозможно устойчиво определить ни как публичные, ни как приватные. Но что тогда должны мы сказать о той скрупулезности, с которой капитан Вир в своем объятии с Билли Баддом нарративно изображается здесь также как сентиментализованный *объект*?

Здоровье/Болезнь

В этой связи риторическое обрамление «чуланной беседы» может странным образом напомнить нам тот более ранний акт объективизации, что был произведен нарративом над Клэггертом:

«Приговор был сообщен, но, что еще происходило во время этой беседы, осталось навеки неизвестным. Однако, зная характер тех, кто на недолгий срок затворился в этой каюте, зная редкостные, восполняющие друг друга черты их натур (*настолько редкостные, что умы заурядные, пусть даже и образованные, постигнуть их не в силах*), можно позволить себе некоторые догадки» (1418\309, курсив И. К. С.).

Двойное сообщение, которым здесь выстраивается читательница, ее презренный «заурядный ум» (образчик «насмешливых глаз злорадного мира»), удостоверяемый тем же жестом, лестью или насмешкой которого она вовлекается в создание для себя галлюцинаторного показа сцены того мужского объятия, что от нее на самом деле скрывают, это сообщение, очевидно, не столь насильственно и не так откровенно зловеще, как предшествовавшая интерпелляция ее «обыкновенной природы», составляющая часть создания Клэггерта-гомосексуала. Сакрализирующая аура вьющихся вокруг этических обозначений может быть точной противоположностью связанного с Клэггертом отвращения, но структурно эпистемологическая гиперстимуляция («постигнуть их не в силах») в одной упряжке с онтологической пустотой в этом обращении [к аудитории] также переключается с предыдущим случаем.

Можно ожидать, что конструирование Вирового «отеческого» объятия в этом пункте будет резко отличаться от конструирования Клэггертовой гомосексуальности, в ходе которого введение к Клэггерту начинается со взятия его в кадр, фрагментарно и униженно, с точки зрения «адвокатов», «медицинских экспертов» и «священников» (1475л.1384.3\275–76), свидетелей-экспертов из внушающих доверие классов, чья инвестированность таксономической властью делает их пригодными для любого публичного ритуала, где задействуется надзор. И действительно, пока Клэггерт жив, отношение Вира к диагностическим взглядам исчерпывается тем, что все они принадлежат ему. Однако же, что выглядит более чем странно, несмотря на всю разрушительную тяжелую артиллерию *исключительного, особого, феноменального*, противопоставляемого *нормальному*, которой заключаются в карантин и миноритизируются направленные на мужчин желания Клэггерта — как противоположные направленным на мужчин желаниям мужчин вокруг него; несмотря на то, что рассказчик формирует враждебно настроенный против него суд присяжных из новейших форм таксономической экспертизы, непосредственно с момента убийства Клэггерта специфически *медицинские* дискурсы в «Билли Бадде» начинают активней всех прочих усиленно при-

влекать читательское внимание к конгруэнтности характеров Клэггерта и Вира, тем самым предлагая наименее почтительный в этой истории тематический взгляд на те формы знания, с помощью которых должны разграничиваться меньшинство (*minority*) и большинство, болезнь и здоровье, безумие и здравый рассудок. Диагностическая мощь глаз Вира не слишком хорошо отграничивает его от оснащенного «гипнотическим» взглядом Клэггерта, способного проявить «спокойную неторопливостью психиатра, который в каком-нибудь публичном месте замечает, что у больного вот-вот начнется припадок» (1403\294).²⁸ Один из определяющих диагностических пассажей о Клэггерте в конце концов предлагает свой диагноз «исключительности» напрямую на основании скрытого эпистемологического тупика:

«И в наиболее полных ее воплощениях вот какая черта отличает характеры столь исключительные: хотя ровное и сдержанное поведение подобного человека, казалось бы, свидетельствует о натуре, более других послушной законам разума, на самом деле в тайных глубинах души он вовсе не признает их власти и видит в разуме лишь коварное орудие для достижения иррационального. Другими словами, стремясь к осуществлению цели, которая по бессмысленной злобности кажется порождением безумия, такой человек подчиняет свои действия холодным велениям здравого рассудка.

Эти люди — подлинные безумцы, причем наиболее опасные, так как их сумасшествие проявляется не постоянно, но лишь от случая к случаю, при столкновении с чем-то, что их раздражает. Оно столь надежно укрыто, что в самых бурных своих проявлениях остается для умов обыкновенных неотличимым от здравого смысла: ведь по указанной выше причине, какова бы ни была их цель, она никогда не становится явной, а способ ее достижения и все внешние действия всегда выглядят вполне разумными» (1383\275).

В описании гораздо более позднем — в том абзаце, так уж получилось, в котором самого Вира смертельно раят в бою, — в этом описании Вира как «духа, который, несмотря на всю его философскую суровость, мог все же таить самую скрытную из всех страстей — честолюбие» (1432\322), затрагивается бывшая латентной проблема, поскольку подтверждается невозможность ни в какой ситуации окончательного снятия с кого бы то ни было этого диагноза безумия: пример «честолюбия» демонстрирует, что построение диагноза на отличии разума от страсти или головы от сердца всего лишь чуть менее шатко, чем его построение на отличии средства от цели. Наиболее очевидной гипотезой о том, где искать у Вира мотив для умопомешательства, — для «надежно укрытого» бунта, отчетливо манифестируемого «действиями, подчиненными холодным велениям здравого рассудка», — должно быть указание на его стремление вполне конкретным образом позиционировать Билли Бадда; но, как здесь нам внушает анализ рассказчика, неотличи-

мость *этого* от профессионального *честолюбия* Вира маркирует как раз эпистемологическую проблему безумия и здравого ума.

Просто обезоруживает то, как открыто начинается обсуждаться вопрос о здравости рассудка Вира почти с того самого момента, когда был убит Клэггерт. Собственный медицинский эксперт «Неустрашимого» смущен непоследовательностью Вира и своеволием «велений его рассудка» настолько, что начинает рассуждать — «или все-таки причиной тут безумие?» (1407\297), а само повествование нарочито приостанавливает вынесение суждения по этому вопросу. И предсказуемым образом вопрос о беспристрастии самого Вира в суждениях может быть поднят только в терминах его возможно опристращенного и миноритизованного статуса как потенциально диагностируемого безумца.

Когда врач вопрошает себя — «или все-таки причиной тут безумие?» — и заключает, что, «если и так, доказать это было бы непросто», эффект признания им некогерентности одного эпистемологического поля заключается в том, что он принужден позволить этой проблеме перейти в поле другое. Должен ли я подчиняться этому вероятному безумцу? Что может меня принудить к этому? — эти вопросы как будто представляют более ясный набор альтернатив, изложенных полицейским языком, в котором требование подчинения — если не указание на моральный авторитет — выглядит вполне естественно:

«Что же ему делать? Трудно придумать более шекотливое положение, чем положение офицера, который подозревает, что его начальник... повредился в рассудке. Попытка возражать ему была бы дерзостью, а неисполнение его приказов означало бы открытый мятеж. Поэтому он выполнил распоряжение капитана Вира и сообщил о случившемся лейтенантам, а также начальнику морской пехоты, ничего не сказав им о том, в каком тот был состоянии» (1407\297).

Итак, похоже, что медицинский дискурс в «Билли Бадде» довольно странным образом раздвоен. Это единственный из главных дискурсов, терминами которого капитан Вир не овладевает через свою характеристическую тактику псевдотрансценденции — или, если выражать это впечатление иначе, неудержимое «коварное орудие» медицинской таксономии позволяет, по смерти Клэггерта, обнаружить единственный непримиримый разрыв перспектив между сознанием Вира и сознанием нарратива как такового. В этом смысле он оказывается особо привилегированным дискурсом, единственным инструментом в тексте, достаточно мощным для того, чтобы вырваться из захвата даже самого крутого оперативника-одиночки. В то же время жалкое отступничество диагностических полномочий врача перед юридическими полномочиями капитана наводит на ту мысль, что применением иных властных мер эта эластичность медицинского дискурса в кратчайший срок будет поставлена на службу жестким дизъюнкциям государственного определения и

государственной дисциплины (как уже сейчас она готова услужить, презрительно усмехается рассказчик, грубо и просто — за приличный гонорар (1407\298)). Характерное для Мелвилла указание на то, что «военная медицина» и «военная религия» (которая возникает в нашей истории позже) напоминают «военную музыку» и «военный разум» тем, что все это — непреодолимые оксюмороны, однако же, *последним* словом не является, поскольку оксюморон становится зоной не просто тупика, но мощной производительной энергии стратегически расположенной и стратегически маневрируемой «вилки».

Итак, с Виром, со всем повествованием и с маленьким миром «Неустрашимого» две вещи начинают происходить разом, когда наступает смерть Клэггерта. Во-первых, Вир все сильнее подталкивается к стратегии драматургического воплощения. Употребление, которое он должен найти категориям «публичного» и «приватного», и все возрастающее напряжение и видимость в том, как он это делает, вызывают в нем новые, почти никсонянские²⁹ активность и безрассудство в эксплуатации и преступании их границ. Тот факт, что в этих целях он должен прибегнуть к организации театрального ритуала вокруг лиминальных страданий тела не только Билли, но и своего собственного, придает ему уязвимость целиком для него новую. Это не уязвимость перед страданием уже учтенным или тем разделением «я», что он воплощает, — это уязвимость перед требованиями самого воплощения. Как объект наблюдения — для офицеров и матросов, но более всего для нарратива как такового — никсонизованный Вир подвергается (причем таким образом, что он не может это самостоятельно контролировать) унижениям таксономии, циркуляции и зрительного потребления. Никсоноподобный, он таксономически наиболее уязвим в те самые моменты, когда его стратегия воплощения работает наиболее эффективно: компетентность и безумие или дисциплина и желание оказываются друг к другу в опасной близости, когда они начинают манифестироваться через выставленное на подмостки тело.

Термины таксономии, циркуляции и потребления Вира установлены *предсуществованием гомосексуального в тексте*. Однако до смерти гомосексуала эти термины выглядели достаточно стабилизированными своей привязкой к этой кропотливо миноритизованной, эксплуатируемой фигуре и к индуцированным симметриям между ним и также объектифицированным Билли. Но как только Билли убивает Клэггерта, круг объектификации широко распаивается, чтобы поглотить также и Вира. И это, возможно, самая очевидная вещь в экономии эрекций, на которую я намекала. У мужчин в «Билли Бадде» не бывает эрекций — они сами стремятся превратиться в эрекции или превратить в эрекции друг друга. До смерти Клэггерта его характерным жестом было «выпрямиться (erecting), как будто он готов встать на защиту своей безупречной

добросовестности» (1401\292). Также и Билли, в отзеркаливающем отношении к Клэггерту, навязанном скрывающимся в тени Виrom, в его беспомощности трактуют как «устремившееся вперед тело» (1404\295) — двусмысленность *активного* и *пассивного* в этом сценарии наводится ассоциацией фаллизированного тела Билли с «неспособностью» (*impotence*, в русском тексте — «немота», 1404\295), а также объектом двойной сексуальной попытки: «он стоял, пригвожденный к месту, словно чувствуя во рту жестокий кляп» (1403\294). Когда же, после удара Билли, Клэггерт навсегда «прокидывается навзничь» [теряет эрегированность] («*tilted from erectness*», 1404\295)³⁰ и Вир и Билли склоняются над ним, чтобы убедиться, что этот человек действительно мертв, именно тело капитана Вира, по отношению к которому никаких замечаний пока не делалось, как только оно вновь обретает вертикальное положение, описывается как «выпрямившееся» [эрегированность обретающее] («*regain-ing erectness*»); и в точности в этот момент, «прикрывая лицо ладонью» (1405\295), капитан Вир берет за комплексный проект воплощения, который, превращая его желание в фаллическое, тем же движением делает его окончательно уязвимым.

И снова именно Вир и Билли, в совокупности «феноменальных» эффектов сцены повешения Билли, как будто занимают место гениталий друг друга — посредством глаз, уст и ушей толпы свидетелей. Первый «феноменальный эффект, еще усиленный редкой красотой молодого матроса», это «беспрепятственная» («без малейшей запинки») эякуляция Билли — «Да благословит Бог капитана Вира!» — что гальванически пронизывает толпу («и все матросы на палубе и на снастях, словно обратившись в проводники некоего звучащего электричества, как эхо, невольно повторили в один голос»), достигает капитана и повергает его в видимое оцепенение. «Моментальный паралич» «неподвижного и прямого» («*erectly rigid*») Вира в свою очередь начинает — в *nachträglichkeit*³¹ словесной аутопсии, устроенной корабельным врачом и казначеем, — казаться приложением к «феноменальной» *нехватке* у Билли «механической спазмы мышечной системы» — т. е. к необъяснимому отсутствию эрекции или оргазма в момент его смерти. И в то же самое время — скажем так, в другой складке диахронических оболочек, окутывающих эту кульминационную сцену, — виселица на грота-рее и вознесение и подвешивание Билли превращают все его тело в полноправную эрекцию — эрекцию Вира, — и эта «обескрыленная фигура» (в русском тексте это слово отсутствует, 1427\318) становится сразу и розовой плотью ее, и перламутровым эякулятом — «повесят на рее меня, как серьгу» (1434\318). Преждевременность подобного исхода (безусловно, Билли вряд ли более девятнадцати лет) выглядит оборотной стороной черствой суровости Вира. Но строго разделять сексуальные атрибуты между этими двумя мужчинами — например, противопоставлять при-

ализм Вира эретизму [повышенной возбудимости] Билли — означало бы исказить всю полноту того, как они исполняют и представляют одно для другого — то есть насколько полно *Вирова* постановка оргазматического жертвоприношения делает его взаимным и сексуальным, в точности в той степени, в какой оно публично.

Однако затраты духа, затраты власти, затребованные этой виртуозной антропоморфической постановкой дисциплины и желания, обретают графичность в следующем удивительном факте: несколько минут после смерти Билли — это *единственный* случай, когда возможность восстания команды «Неустрасимого» изображается как нечто большее, чем защитные фантазии мужчин, чья обязанность — поддерживать на нем порядок. Унизительно, и по крайней мере для читателя — очевидно, Вир суетится, чтобы — с помощью «пронзительных» свистков боцманских дудок, переноса обычного времени барабанной дроби к утренней проверке, совершенно откровенного изобретения занятий для команды — противодействовать приближению теперь уже *деантропоморфизованного* «вышедшего из берегов стремительного потока» (1428\319) бунтовщического потенциала матросов. Воплощенная дисциплина энергетична, но уязвима; этот факт доказан на теле Клэггерта, и теперь, когда Клэггерт мертв, может стать видимым на теле Вира.

Ощущение опасного ослабления авторитета и центральности Вира в ходе самой операции его театрального воплощения как будто бы подтверждается также если не фактом его смерти в следующей же главе, то бесцеремонной разрядкой напряжения, что она производит в повествовании. После того как апофеоз Билли состоялся, Вир, смертельно раненный в бою, покидает нашу историю, переваливаясь через наименее впечатляющий «рванный край» (в русском переводе эти слова отсутствуют, 1431\322) ее множественного завершения. Вопрос о том, было ли его желание удовлетворено, настолько незротичен в этот момент *tristesse* [скорби] и диминуэндо, что по невниманию повествование почти и не задается им. Одурманенный, на своем смертном ложе

«он пробормотал слова, оставшиеся непонятными для склонившегося над ним служителя: “Билли Бадд, Билли Бадд”. Но в них, по-видимому, не слышалось угрызений или раскаяния, как явствует из того, что сообщил о них служитель начальнику морской пехоты “Неустрасимого”. Офицер же этого ничего не стал ему объяснять, хотя был членом военного суда и более остальных противился вынесению смертного приговора, а потому лучше всякого другого знал, кто такой Билли Бадд» (1432\322–23).

Что же слышалось, если не угрызения или раскаяние? Что такое служитель наблюдал, глядя на умирающего человека, что столь явственно высветило импульс, скрывающийся за этими словами? Однако возможность того, что последний жест Вира по отношению к Билли был тем же самым «судорожным подергиванием» (1428\319), что было подавлено в

умирающем теле самого Билли, не интересует здесь повествование, которое — никакого тебе «Гражданина Кейна»³² — не останавливается ни на мгновение для изучения этой возможности, но следует далее по своей неумолимой кривой.

Целостность/Декаданс; Утопия/Апокалипсис

Снова и снова точкой опоры нарратива в «Билли Бадде», когда история прочитывается как рассмотрение взаимодействия между миноритизирующим и универсализующим прочтением гомо/гетеросексуального определения, оказывается момент смерти Клэггерта, человека, через которого становится видимым миноритарное определение. Что мы можем поделаться с фактом столь жестоким? «Билли Бадд» — это документ, появившийся на свет в самый момент возникновения современной гомосексуальной идентичности. Но то, что уже надписано на этой возникающей идентичности, оказывается не только личностной обреченностью, что будет трансформироваться в рутинные самоубийства геев и их гибель в автокатастрофах в целлюлоидном чулане двадцатого века,³³ но и чем-то более ужасным: фантазматичной траекторией, ведущей к жизни *после гомосексуального*.

В ночи беззвучный метеор — как мысли о тебе,
Сияющую борозду его рисует бег.³⁴

Пространственное противостояние персонажей, установленное нами в первой части нашего анализа, не должно скрывать следующий нарративный факт: блестяще разукрашенные, фосфоресцирующие романтические отношения между Виром и обреченным Билли прочерчивают сияющую борозду исчезновения гомосексуального. От статической сцены Вировой дисциплины мы перешли к исследованию темпоральности и изменений в самом Вире, в его амбициях, его стратегии, его представлении, его судьбе — и под небесами, уже лишенными своего малого — миноритарного — созвездия, Вир, подобно Билли, устремляет свой взор к тому куда более величественному большинству — к мертвым, — к которому уже присоединился Клэггерт.

Начиная по меньшей мере с библейской истории о Содоме и Гоморе, сценарии однополого желания в западной культуре как будто находились в привилегированном, хотя и ни в коей мере не исключительном, отношении к сценариям как геноцида, так и омницида — тотального истребления. То, что содомия, название, под которым гомосексуальные акты фигурируют даже сегодня в законах половины Соединенных Штатов и в Верховном суде, одном для всех штатов, пишется синхронно с названием зоны массового уничтожения, — вполне закономерный след двойной истории. На первом месте стоит история смертельного подавления, по прямому праву или судебного, гей-актов и самих геев, путем

сожжения, травли, физической и химической кастрации, концентрационных лагерей, избиения — весь тот массив санкционированных несчастий, что Луис Кромптон выписывает под рубрикой гей-геноцида, чей мнимоевгенический мотив становится лишь богаче изукрашенным с возникновением отдельной, натурализованной миноритарной идентичности в девятнадцатом веке. На втором же месте — глубоко укоренившийся топос ассоциирования гей-актов или гей-личностей с несчастьями, чей размах отнюдь не ограничивается самими геями: и если не вполне понятно, был ли каждый обитатель стертого с лица земли Содомы содомитом, то все же определено, что содомитом не мог быть каждый римлянин времен поздней Империи, хотя Гиббон связывает закат всего народа с привычками немногих его представителей. Следуя Гиббону и Библии и, более того, получая импульс от Дарвина, марксистская, нацистская и либерально-капиталистическая идеологии сходятся — а это с ними бывает нечасто — в том, что существует чрезвычайно близкое, хотя никогда точно не определяемое родство между однополым желанием и некоторыми историческими условиями умирания, называемыми «декадансом», которые накладываются не на индивидов или меньшинства, но на целые цивилизации. А «лечением» моральной болезни декаданса, если есть такое лечение, является кровопускание в масштабах, значительно превышающих любое представимое присутствие гей-меньшинства в культуре.

Если фантазматичная траектория, ведущая к геноциду геев, утопическая в собственных своих терминах, с самого возникновения западной культуры была этой культуре эндемична, тогда можно также утверждать, что эта траектория к геноциду геев никогда отчетливо не была отделена от более широкой, апокалиптической траектории, ведущей к некому приближающемуся омнициду. Характерная для прошедшего века мертвая точка между миноритизирующими и универсализующими пониманиями гомо/гетеросексуального определения могла только укрепить эту фатальную связь в гетеросексистском *imaginaire* [воображаемом]. В нашей культуре, так же как в «Билли Бадде», фобическая нарративная траектория, ведущая к воображаемому времени *после гомосексуального*, в конечном итоге неотделима от той, что ведет к воображаемому времени *после человечества*; гомосексуальное, как стремительный корабль, оставляет за собой след, что непрерывно производится с того момента, как «вначале были гомосексуалы», и все человеческие отношения втягиваются в его сияющую репрезентативную борозду.

Фрагменты видений о времени *после гомосексуального*, конечно, сегодня в нашей культуре включены в головокружительную циркуляцию. Одно из опасных направлений, что принимает дискурс о СПИДе, видимым образом ратифицируя и усиливая ранее зафиксированные гомофобные мифологии, заключается в его псевдоэволюционном представ-

лении мужской гомосексуальности как стадий, обреченной на вымирание (читай — как фазы, через которую проходит человеческий род) в широком масштабе всего охваченного ею населения.³⁵ Очертания открыто геноцидной злобы, скрывающейся за этой фантазией, нечасто проявляются в уважаемых медиа, хотя их можно заметить и здесь — под покерной маской нашего национального эксперимента в области медицины невмешательства. Более отчетливый — пусть все же дезодорированный — душок этой злобы исходит от известного заявления Пэта Робертсона: «С помощью СПИДа Господь пропалывает свой сад». Приторный лоск, который эта сентенция накладывает на свое видение опустошения, и безжалостная похоть, с которой она переводит стрелки в отношении собственного действия, скрывают более фундаментальное противоречие: а именно то, что в ходе рационализации самодовольного ликования по поводу спектакля того, что воображается как геноцид, происходит обращение к протодарвиновскому процессу естественного отбора — и все это в контексте христианского фундаментализма, не просто антиэволюционистского, но безрассудно стремящегося к глобальному апокалипсису. Схожий феномен, также слишком жуткий, чтобы к нему отнестись всего лишь с иронией, заключается в том, насколько невозмутимо наша культура удовлетворяет свою фобию ВИЧ-позитивной крови яростным желанием поддерживать широкую и непрерывную ее циркуляцию. Об этом свидетельствуют проекты всеобщего тестирования (на СПИД), а также то общее пользование иглами, что скрыто в ныне неискоренимой фантазии Вильяма Бакли о татуировании носителей ВИЧ. Но наиболее непосредственно и убедительно свидетельствуют об этом те буквально кровавые бани, что, по-видимому, составляют самую суть связанного со СПИДом возрождения жестокого избиения геев — которое, в отличие от огнестрельного насилия, в целом в нашей культуре распространенного повсеместно, характерным образом осуществляется с помощью дубин, бейсбольных бит и кулаков, в самой буквальной из всех мыслимых форм «контакта телесных жидкостей».

Может быть, стоит отметить, что обращение к эволюционному мышлению на гребне сегодняшней волны утопической/геноцидной фантазии есть безумие — чем бы оно ни было еще. Поскольку если не верить, во-первых, что однополюсый выбор объекта в ходе всей истории и во всех культурах есть *одна и та же вещь*, что вызывается *одной и той же причиной*, и во-вторых, что эта причина состоит в прямой передаче неречесивным генетическим путем — что, мягко говоря, противоречит самой простой интуиции, — то нет никакой возможности вообразить, что гей-популяция, даже только среди мужчин, в поколениях после СПИДа хоть в малейшей степени уменьшится. Как раз *в той степени*, в которой СПИД — это болезнь геев, он является трагедией только одного нашего поколения; долгосрочное демографическое разрушительное

действие этой болезни скажется, наоборот, на тех группах, многие из которых находятся в большой опасности, воспроизводящейся прямой гетеросексуальной передачей.

Далее, в отличие от геноцида, направленного на евреев, коренных американцев, африканцев или на другие группы, геноцид геев, искоренение раз и навсегда гей-популяций, сколь бы мощным и продолжительным ни был он как проект или фантазия в современной западной культуре, не представляется возможным без искоренения всего рода человеческого. Однако все же нельзя недооценивать стремление этого самого рода к самоискоренению. А также то, насколько глубоко это омницидальное стремление переплетено с современной проблематикой гомосексуального: с «вилкой» определения гомосексуального как, скажем, отдельной *группы риска* и гомосексуального как потенциала репрезентации внутри универсального.³⁶ Гей-сообщество, солидарность и видимость геев как миноритарной популяции продолжают укрепляться и закаляться в этой кузнице зеркального террора и страдания — как же можно обойтись без открытия все более новых и все более насущных связей признания, желания и мысли между миноритарными потенциалами и потенциалами универсализующими?

¹ Бенджамин Бриттен (1913–1976), один из наиболее известных в 20-м веке английских композиторов классического направления, гомосексуал; Эдуард Морган Форстер (1879–1970), английский прозаик, в чьей жизни и творчестве (особенно в посмертно опубликованном) сильны гомосексуальные мотивы. В опере, о которой идет речь, капитан Вир обожает мужественного Билли Бадда, но должен исполнить закон. — *Прим. перев.*

² Эпифания — Богоявление, или же богоявление, *перен.* прозрение — понятие и прием, о которых охотно говорили и которые охотно применяли в своем творчестве многие модернисты, например Джойс. — *Прим. перев.*

³ Например: F. O. Matthiessen, *American Renaissance: Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman* (London: Oxford University Press, 1941), pp. 500–514; Robert K. Martin, *Hero, Captain and Stranger: Male Friendship, Social Critique, and Literary Form in the Sea Novels of Herman Melville* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1986), pp. 107–24; Joseph Allen Boone, *Tradition Counter Tradition: Love and the Form of Fiction* (Chicago, University of Chicago Press, 1987), pp. 259–66.

⁴ Herman Melville, *Pierre; Israel Potter; The Piazza Tales; The Confidence-Man; Uncollected Prose; Billy Budd* (New York: Library of America, 1984), p. 1357. (Мелвилл, Г. Билли Бадд, фор-марсовый матрос // Тайпи: Повести. — Симферополь: Таврия, 1990. С. 249.) Дальнейшие цитаты из этой книги будут снабжены указаниями на номера страниц непосредственно в тексте.

⁵ Заметьте, что здесь я не провожу различия между мирным купцом «Права человека» и боевым «Неустрасимым». Торговый и военный флоты — это два лица одного и того же национального правления; Билли Бадда желают в каждом из этих сообществ и вследствие примерно одних и тех же его способ-

ностей. Иерархии на «Правах человека» и их формы принуждения значительно менее острые, чем на «Неустрасимом», но и там, и там это иерархии, и симбиоз между этими двумя системами затрудняет всякую попытку символически их развести.

Возможно, стоит добавить, что если, как я буду показывать в этой главе, последняя треть «Билли Бадда» — это симптоматическая западная фантазия о жизни *после гомосексуального*, части, относящиеся к «Правам человека», соответственно представляют фантазию о жизни *до гомосексуального* — то есть *до* спецификации отдельной гомосексуальной идентичности. В той степени, в которой это фантазия о *до*, она также уже структурирована, таким образом, полноесным и самопротиворечивым понятием о *гомосексуальном*.

⁶ Barbara Johnson, «Melville's Fist: The Execution of Billy Budd», *Studies in Romanticism* 18 (Winter 1979): 567–99; цит. стр. 582.

⁷ В русском переводе — большая часть гл. X, стр. 272–275. Перечисляемые ниже прилагательные даются без привязки к русскому тексту, который в данном отношении с английским текстом не коррелирует. — *Прим. перев.*

⁸ Речь идет о трех абзацах, в русском переводе заключающих главу X; в английском тексте в стандартной редакции они формируют отдельную главу, 12-ю, озаглавленную «Адвокаты, [медицинские] эксперты, духовенство». — *Прим. перев.*

⁹ Действительно, «гордыня», «зависть» и «безнравственность», существительные, что могут быть субстантивными, в итоге производятся как объяснение — но производятся также как синонимичные друг другу и как часть стилизованного библейски-мильтоновского сценария («змея», «первородное зло»), которому никак не удастся (если такая цель вообще ставилась) вновь окунуть их психологическую специфику в вакантные биполярные этические категории двух предшествовавших глав. В той степени, в которой эти три слова означают друг друга, они не означают ничего, кроме категории «зла» — категории, чьи составляющие остается необходимым определить.

¹⁰ Как отмечают редакторы «Библиотеки Америки», «Хейфорд и Силт полагают, что источником цитаты Мелвиллу послужило Боново издание трудов Платона... которое включает в себя «список определений», в котором «Природная Безнравственность» определяется как «испорченность по природе и совершаемый в ней грех, что творится согласно природе». Говоря короче, то же противоречие, но в более явной форме.

¹¹ См., например, John Boswell, *Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), pp. 303–32.

¹² Johnson, «Melville's Fist», p. 573.

¹³ Однако в метонимии тем не менее прочной в своей кажущейся случайности; тем не менее действенной в логическом противоречии между диагнозом, с одной стороны, и, с другой стороны, эпистемологическим императивом расщепления «бытия и деяния» друг от друга.

¹⁴ Henry James, *The Bostonians* (Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1966), p. 6. Дальнейшие цитаты из этой книги будут снабжены указаниями на номера страниц непосредственно в тексте.

¹⁵ Здесь даже наш неизощренный слух различает омофоническую/омонимическую игру, к которой часто обращается И. К. С. (см., например, сн. 40 к следующей главе): в «nautical» (морской) отчетливо слышится paughty (своевольный, порочный), а в Nautilus (таково тело Билли) — paughty-less (соответственно, лишенный таких качеств). — *Прим. перев.*

¹⁶ Martin, *Hero, Captain and Stranger*, p. 112.

¹⁷ И даже после смерти Клэггерта Вирова тонкое чувство пространства настаивает на удерживании противопоставленности обоих мужчин друг другу: созданный им военный суд заседает в помещении, по обеим сторонам которого расположены «салоны», в одном из которых лежит тело Клэггерта, и он находится «напротив того, где ждал фор-марсовый» (1406\297).

¹⁸ Действительно, мы можем обнаружить указание на то, что Вирова трансцендентная, «рассудительная» обходительность, вероятно, обеспечена параноидным отношением — более того, от него неотделима — как раз в точности к параноидному отношению Клэггерта к экипажу корабля: «сильнейшие подозрения, тем не менее сопряженные с непрошеным сомнением» (1402\293). Тот самый человек, у которого вызвал подозрения проективный намек Клэггерта на «цветы» Билли, под которыми «прячется ловушка» (1400\291), в свою очередь воспринимает самого Клэггерта как часть гештальта подспудных опасностей, само признание которых способно самым фатальным образом впутать его в их дальнейшее развитие:

«... капитан Вир, превосходно осведомленный о всех тонкостях сложной жизни батарейных палуб, таившей, подобно жизни в любых других сферах, свои ловушки и темные стороны, о которых вслух не говорилось, не испытал чрезмерной тревоги, да и общий тон доклада его подчиненного не внушил ему особых опасений. Разумеется, ввиду недавних событий первые же явные признаки нарушения дисциплины требовали принятия немедленных мер, и все же, по его мнению, не следовало торопиться с заключением, будто скрытое недовольство действительно все еще тлеет подспудно, и придавать веру сообщениям доносчика» (1399\290).

¹⁹ В каноническом переводе «Потерянного рая» на русский: «зависть, ярый гнев, отчаянье». Мильтон, Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец. — М.: Изд-во «Художественная литература», 1976. С. 110. — *Прим. перев.*

²⁰ Catherine A. MacKinnon, «Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence», *Signs* 8, no. 4 (Summer 1983): 656–57.

²¹ Если умолчать о других, никогда полностью не отличимых друг от друга системах репрезентаций, чья плотность и конечная неулопостижимость иннервируют пространство корабля столь же тонкой паутиной потенциала значений: самая из них очевидная — антропоморфность, столь же неотчуждаемая от тела корабля, сколь ему и неадекватная.

²² «Капитан Вир был убежден, что поступок фор-марсового, стань он известен на батарейных палубах прежде, чем будут выполнены все требования закона, может раздуть среди команды пламя Нора, если оно действительно еще тлеет в душе некоторых матросов, и эта необходимость торопиться взяла верх над прочими соображениями» (62–63\299).

²³ Все цитаты взяты из: Ann Douglas, *The Feminization of American Culture* (New York: Alfred A. Knopf, 1977; rpt. ed., New York: Avon/Discus, 1978), pp. 391–95.

²⁴ Даже Роберт К. Мартин, чье очень плодотворное обсуждение «Билли Бадда» в контексте всего творчества Мелвилла во многом пересекается с предпринятым мною здесь рассмотрением, стремится подытожить Вира в терминах конфликта между «человеком» и «службой» («благоразумный человек на службе у неблагоразумия»): «Мы сталкиваемся с историей, посвященной неослабевающей политической дилемме: может ли хороший человек служить государству?» (*Hero, Captain, and Stranger*, p. 113).

²⁵ Например, «Глаза Клэггерта умели смотреть с пронзительной строгостью, что в его должности было весьма полезно. Лоб его, согласно френологической науке, свидетельствовал о незаурядном уме, а падавшие на него крупные завитки иссиня-черных шелковистых волос подчеркивали бледность кожи — бледность с легким янтарным оттенком, как у древних мраморных статуй, окрашенных веками. Эта бледность... хотя в самой ней не было ничего неприятного, казалось, свидетельствовала о каком-то отклонении или пороке в организме и крови» (1373\264).

²⁶ Может показаться, что этот все продолжающийся экскурс в область публичного и приватного мужского желания уводит нас в сторону от предмета нашего рассмотрения — сентиментального. Но в конце концов разве про- и анти-Вировски настроенные читатели «Билли Бадда» не согласятся с тем, что Виров героизм или, наоборот, его преступление заключается в его упорном исключении из правил «Неустрасимого» всякой энергии, ассоциируемой в точности с *сентиментальным* (а также со сферой приватного)? И разве мы, в этом отношении, не распознаем *сентиментальное* — нравится нам это или нет — по замещающей его ассоциации с женщинами? Эту связь устанавливает сам Вир:

«...нельзя позволить, чтобы жар сердца возобладал над рассудком, которому надлежит быть холодным. На берегу, разбирая уголовное дело, допустит ли нелицеприятный судья, чтобы удрученная горем мать или сестра подсудимого искала встречи с ним вне стен суда и рыданиями пыталась его растрогать? Наши сердца сейчас, иногда женственные в мужчинах [эти слова отсутствуют в русском тексте. — Прим. перев.], подобны этой несчастной женщине. И как ни тягостно, мы не должны их слушать... Однако выражение ваших лиц как будто указывает, что в вас говорит не только сердце, но еще и совесть, ваша личная (private) совесть. И все же скажите, не должна ли наша личная совесть, совесть людей, занимающих официальные посты, отступить перед государственной совестью, воплощенной в законах и уставах, которыми мы только и обязаны руководствоваться в своей служебной деятельности» (1415\305).

Вир действительно устанавливает эту связь — с той четкостью, что в этом отношении можно считать подозрительной, хотя его друзья, такие как Энн Дуглас, принимают ее за чистую монету и даже его враги среди литературных критиков относятся к ней так трепетно, как будто это написанное и заверенное собственной рукой признание убийцы. Джозеф Аллен Бун, например: «Как свиде-

тельствует его удивительно откровенная заключительная речь на суде над Билли, его твердость и неприятие помилования напрямую связаны со страхом “женственного в мужчине”» (курсив И. К. С.). И далее: «Офицеров, составляющих суд, не только призывают “не слушать” “эту несчастную женщину” внутри каждого из них, их также незаметно подводят к тому, чтобы “не слушать” и Билли, который оказывается представителем этого “женственного в мужчине”, андрогинной возможностью и означающим различия, что должно быть устранено, если иерархическое верховенство мужчин должно остаться непоколебленным в мире, микрокосмом которого является “Неустрасимый”» (*Tradition Counter Tradition*, p. 263). Или Роберт К. Мартин: «Новелла “Билли Бадд”... до глубины пронизана осознанием необходимости для мужской власти подавлять женское, так же как власть мужественности подавляет женственное. Производимая Виром казнь Билли — это его заключительная попытка избавиться от всего, что может быть мягким, нежным и женственным; так же как отказ Ахава от любви Старбека, это заключительный акт, что ведет напрямую к его разрушению, в то же самое время вызывая у читателя острое сознание того, насколько близко эти мужчины подошли к признанию фундаментальной андрогинии, осмеливаясь обнять другого мужчину» (*Hero, Captain, and Stranger*, p. 124). Пока это только интерпретация, я не собираюсь ее оспаривать; однако я озабочена той степенью, в которой уже не интерпретация, а почти дословное воспроизведение риторики Вира служит его цели, продолжая отвлекать внимание от перформативных фактов и эффектов его — а затем и читательских — риторических ангажементов. Смертный приговор, выносимый Виром Билли, — это не столько антитезис, сколько основание для их объятия и определено — для подразумеваемой остроты его восприятия каким угодно читателем. Между тем фигура самого Вира эротизируется и разукрашивается в глазах читателя самим процессом его «борьбы» и «жертвования» таким образом, что идеал утопической андрогинии не искореняется, но еще более хитроумно облачается в соблазнительную упаковку и запускается в сиволическое обращение.

²⁷ Заметьте, что это единственная фраза, свободная от двусмысленной грамматики своего окружения. Возможно, ей это и не нужно: можно ли придумать фразу более классически двусмысленную (как запрет, как приглашение), чем «Я тебе в отца гожусь»?

²⁸ Разница между ними, которую здесь выводит повествование, заключается, разумеется, вот в чем: тогда как глаза Вира обладают неподдельной диагностической способностью («Исключительным нравственным качествам капитана Вира сопутствовала особого рода проницательность, которая, точно пробный камень, открывала ему подлинную сущность натуры того, с кем ему приходилось иметь дело» (1401–2\292–3)), взор Клэггерта чересчур продуктивен или репродуктивен, чтобы иметь диагностическую ценность, и психиатра подозревают в том, что он «гипнотически» проецирует свои собственные страсти на пациента, в котором сам и индуцирует таким образом предсказанный припадок. (Сравните с «любопытным взглядом», которым смотрит Клэггерт на Вира, «словно проверяя, насколько удалась его тактика» (1401\292), — «любопытный» (curious), это обоюдоострое патерианское (см. сноску 11 к

гл. 3. — Прим. перев.) прилагательное, что характеризует эпистемологическую настоятельность как в том, на что смотрят, так и в тех, кто смотрит.) Однако, как мы уже видели, Вир ощутимо превосходит Клэгерта в индукции рывани припадков у Билли Бадда.

²⁹ Речь идет о 37-м президенте США Ричарде Никсоне (Richard M. Nixon, 1913–1994), занимавшем этот пост с 1969 по 1974 год. Его имя связано не только с Уотергейтом, но также с визитами в СССР и Китай в 1972-м, выводом американских войск из Вьетнама (1973) — и еще с первой высадкой американцев на Луну в 1969 году. — Прим. перев.

³⁰ В дальнейшем его называют «неподвижным телом», «лежащим там» («the prone one», 1405\296, 1412\302), или же «распростертым» («the prostrate one», 1405\296).

³¹ Фрейдовское понятие, основной объяснительный механизм в работе «Человек Моисей и монотеистическая религия»: «замедленное действие», или, иначе, «отложенное действие», или «после-действие», и даже, если отойти от буквальности, «переписывание памяти». У Фрейда речь идет об аналогии динамики формирования религии динамике невроза: «ранняя травма — защита — латентность — наступление невротического заболевания — частичное (медленное) возвращение вытесненного». Наиболее известный комментарий — «Фрейд и сцена письма» в работе Деррида «Письмо и различие». — Прим. перев.

³² «Гражданин Кейн» — фильм-дебют Орсона Уэллса (1941 г.), наполненный инновациями в области киноповествования и кинозвука, — построен на попытках разгадать последнее предсмертное слово главного персонажа. — Прим. перев.

³³ См. Vito Russo, *the Celluloid Closet: Homosexuality in the Movies* (New York: Harper and Row, 1987), особенно потрясающий «Некролог», pp. 347–49.

³⁴ Alfred, Lord Tennyson, “The Princess”, sec. 7, in Tennyson, *Poetical Works*, ed. Geoffrey Cumberledge (London: Oxford University Press, 1941), p. 197.

³⁵ Эти рассуждения обязаны своим появлением возможности — за которую я благодарна — ознакомиться с неопубликованным эссе Джеффри Нунокава (Jeffrey Nunokawa) «In Memoriam and the Extinction of the Homosexual».

³⁶ Ричард Моп (Richard Mohr), в работе «Policy, Ritual, Purity: Gays and Mandatory AIDS Testing», *Law, Medicine, and Health Care* (forthcoming) устанавливает соответствующую связь, обращаясь к более основательной гипотезе относительно направленности причинно-следственных отношений:

«Социальное усмирение СПИДа стало неким телом, ускоряющимся гравитационным притяжением наших страхов перед ядерным уничтожением. Сделать что-либо существенное для облегчения перспективы совместной гибели всего, что способно погибнуть, совершенно не в силах ни рядовой человек, ни какая бы то ни было политическая группа из тех, что существуют сегодня. Поэтому люди смещают фокус своих страхов с ядерного омицида на СПИД, который выглядит для них столь же сильно и схожим образом угрожающим, но с которым, как им кажется, они способны хоть как-то управляться — хотя бы через правительство. Усмирение СПИДа выполняет двойную функцию — как источник сакральных ценностей и как отдушина для глобальных страхов перед глобальным уничтожением».

НЕКОТОРЫЕ БИНАРИЗМЫ (II) УАЙЛЬД, НИЦШЕ И СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МУЖСКОГО ТЕЛА

Для читателей, влюбленных в мужское тело, 1891 год открыл новую эпоху. Первая глава «Билли Бадда» открывается, как мы уже отмечали, обсуждением Красавца Матроса — «великолепной фигуры, будто вскинутой рогами Тельца в грозное небо». ¹ А первая глава «Портрета Дориана Грея» открывается тем, что «посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты». ² Как многие фотографии Атже, ³ эти две вступительные презентации мужской красоты конструируют человеческий образ в поле видения на головокружительной высоте; это странное видение, чья способность реорганизовать режим видимости фигур более конвенционально укорененных захватывает и озадачивает.

Для читателей, мужское тело ненавидящих, год 1891-й также стал важной вехой. В конце «Дориана Грея» мертвый, старый, «отталкивающий» мужчина, лежащий на полу, выступает морализующей глоссой к другой вещи, обнаруженной слугами на чердаке Дориана Грея: висящему «на стене великолепному портрету своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты» (248/272). «Билли Бадд» схожим образом завершается под знаком необезображенного приложения: повешенный на грота-рее Билли «возносился все выше... и, возносясь, оделся всем розовым цветом зари» (80/317–8). Изысканный портрет, магнетический труп, качающийся на рее: иконичная, поскольку режим их видимости определенно сексуален, их величественная возвышенность знаменует также и то, что линия между мужской красотой, артикулируемой как таковая, и парными потрохами, подвешенными на продажу в лавке мясника, в новом раскладе, столь примечательно отмеченном данной парой текстов, — эта линия ужасающе тонка.

В данной главе я продолжаю рассмотрение новых отношений, в центре которых находится мужское тело в формативных текстах конца девятнадцатого века. Более широко применяя ту же самую деконструктивную процедуру изоляции некоторых ячеек в паутине взаимосвязанных бинаризов, я перехожу от предпринятой в предыдущей главе интерпретации одного текста 1891 года, «Билли Бадда», к интерпретации группы других текстов, датируемых 1880-ми годами и началом 1890-х, включая сюда и «Портрет Дориана Грея». В главе получают развитие также два других принципиальных направления: от сентиментальных/антисентиментальных отношений вокруг изображаемой мужской фигуры к модернистскому кризису личностной идентичности и фигура-

ции как таковой, с одной стороны, и, с другой стороны, к пересечениям сексуального определения с относительно новой проблематикой кича, кэмп, а также националистского и империалистского определения.

Две приблизительно одновременные фигуры, которые я буду трактовать как представляющие и перекрывающие этот процесс, это Уайльд и Ницше, довольно нелепая упряжка наиболее очевидного и наименее вероятного из подозреваемых. Очевидным является Уайльд, поскольку он выглядит самым воплощением сразу нескольких вещей: (1) новой идентичности и судьбы гомосексуала на рубеже веков, (2) модернистской антисентиментальности и (3) поздневикторианской сентиментальности. Любопытно, что упоминание имени Ницше стало небольшим общим местом в посвященной Уайльду критике, но определенно не наоборот. Это служит главным образом задаче легитимации состоятельности Уайльда как философа модерна — перед лицом философски сомнительной, поскольку нарративно столь неотразимой, биографической впутанности в самые калечащие и в самые существенные модернистские механизмы мужского сексуального определения. Излишне говорить, однако, что не меньше интересует меня и обратный проект: проект рассмотрения Ницше сквозь оптику Уайльда. Однако в той самой степени, в которой он как будто дает доступ к истинам культуры девятнадцатого века, этот проект также включает в себя встроенную опасность фальшивого чувства знакомого, принимая во внимание то, что общего есть у общепринятой фигуры «Ницше» с определенными общепринятыми топосами гомосексуальности и сентиментальности или кича: а именно то, что все эти три вещи известны как вызывающие неразрешенные, но очень популярные и возбуждающие «вопросы» — инсинуации — об основаниях фашизма в двадцатом веке. Чтобы избежать этого момента поиска козлов отпущения, построенного, кажется, на структуре сентиментальной атрибуции и гомосексуальной атрибуции в культуре нашего времени, от нас потребуется вся наша осторожность.

Среди прочего этот проект также включает в себя бинокулярные перестановки пространства и времени между Германией 1880-х (поскольку я сосредоточусь на нескольких последних текстах Ницше) и Англией 1890-х. Он воплощает дистанцию между новой, открыто проблематичной немецкой национальной идентичностью и «извечной», чрезвычайно натурализованной идентичностью английской, впрочем, как мы увидим, по этой причине испытывающей дефиниционное напряжение. Объединение Германии под предводительством Пруссии, завершившееся в 1871 году провозглашением Второго рейха, привело к криминализации гомосексуальных нарушений во всем рейхе — процесс, совпавший, как указывает Джеймс Стикли, с «эскалацией оценок реального количества гомосексуалов» в Германии, от 0,002 процента населения в 1864-м к 1,4 процента в 1869-м и к 2,2 процента в 1903-м. «Эти оценки, — говорит

Стикли, — выглядят поразительно низкими в свете современных исследований, но тем не менее они документируют конец невидимости гомосексуалов». В это же время впервые происходило формирование — в Германии — эмансипаторных движений гомосексуалов.⁴

Кажется очевидным, что многие наиболее действенные силы Ницше, как в жизни, так и в творчестве, были направлены на других мужчин и на мужское тело; что так обстоит дело практически со всеми из них, как минимум доказуемо — хотя для моей аргументации здесь такое доказательство не требуется. Принимая во внимание это и особенно принимая во внимание аналитику, с недавних пор посвященную месту женщин в работах Ницше, просто поразительно, насколько сложно сконцентрироваться на зачастую куда более либидозно насыщенном месте в них мужчин. Причины этому лежат даже вне академического ханжества, гомофобии и гетеросексуального тупоумия, которые всегда к вашим услугам: письмо Ницше отличает открытая, уитменовская соблазнительность, одна из самых восхитительных, сплочения мужчин с мужчинами, однако в этом письме напрочь отсутствуют — возможно, это сделано даже преднамеренно — любые явные обобщения, восхваления, анализ, материализация этих связей именно как связей однополых. Соответственно, Ницше очень важен для центрированной на мужской эротике анархистской традиции, от Адольфа Бранда и Бенедикта Фридляндера до Жюль Делёза и Феликса Гваттари, принципиально сопротивляющейся любой миноритизирующей модели гомосексуальной идентичности. (Фридляндер, например, высмеивал тех, кто придерживается исключительно гетероили гомосексуальной ориентации, как *Kümmerlinge* — созданий чахлах или немощных).⁵ Но еще труднее иметь дело с тем фактом, что работы Ницше наполнены и переполнены тем, что было как раз в процессе становления для людей типа Уайльда, для их врагов, для институций, что их регулировали и определяли, — наиболее острыми и спорными означающими в точности миноритизованной, таксономической мужской гомосексуальной идентичности. В то же время они полны и переполнены означающими, что долго маркировали номинально вытесненные, но на деле не отмененные запреты против содомитских актов.

Фразовый индекс к Ницше легко можно было бы спутать с конкордансом, скажем, к «Содому и Гоморре» Пруста, со всеми его «извращениями», «обратными инстинктами», *contra naturam*, женственностью, «суровостью», болезненностью, гипервирильностью, «*décadent*», средним родом, «промежуточным типом» — я уж не говорю о «веселости» [«gay»]. Письмо Ницше никогда не соразмеряет эти очень различно оцениваемые, часто противоречивые означающие ни с какой тотальностью желания мужчины-к-мужчине; во многих случаях их употребление как будто вообще никак с ним не соотносится. Это происходит потому, повторюсь, что он никогда не позиционирует однополое желание или сек-

суальность в качестве единого предмета. Напротив, эти означающие — старые маркеры для, среди прочего, однополых актов и отношений; зарождающиеся маркеры для, среди прочего, идентичностей однополой любви — в письме Ницше раз за разом прерывают каждый конкретный пример такого желания или такой сексуальности и каждое обращение к ним. Но делают они это столь настойчиво, столь многозначительно, что благодаря как раз своей противоречивости вплетаются в фатально пораженную дефиниционную ткань, изготовление которой идет уже полным ходом.

Вот только один пример возникающей новой проблематики мужской гомосексуальности, сквозь который пробрасывает свой жалящий челнок Ницшево желание. По вопросу о том, как интерпретировать однополое желание в терминах *гендера*, война разгорелась почти с самого начала выстраивания мужской гомосексуальной таксономии: уже к 1902 году новое немецкое движение за права геев, первое в мире, раскололось по критерию того, как относиться к мужчине, желающему мужчин, — считать ли его феминизированным (как в пред-нововременной английской культуре «molly-house»⁶ или возникающей модели извращения) или, наоборот, вирилизированным (как в модели греческой педерастии или в модели инициационной) его выбором объекта. Энергия, которую Ницше потратил на обнаружение и свежевание мужской женственности, в терминах, стереотипных на протяжении как минимум столетия их антисоциального использования, приводит к мысли, что вопрос этот был для него решающе важным; всякий читатель Ницше, унаследовавший, как большинство читателей евро-американских, к настоящему времени эндемическую связь мужской женственности с этой частью желания, обнаружит, что его/ее запасы гомофобной энергии пополнились и приведены в боеготовное состояние этим чтением. Ни в коей мере не соразмеряя явным образом мужское однополое желание с мужской женственностью, Ницше раз за разом ассоциирует гомозотическое желание, никогда не называя его таковым, с драгоценной вирильностью дионисийцев или древними классами воинов. Так его риторика заряжает новыми толчками энергии некоторые из наиболее традиционных линий запрета, даже охраняя и ограждая при этом другое пространство для тщательного раз-определения, пространство, куда произвольно могут быть приглашены укрыться определенные объекты этого запрета.

Еще более элегантно примером будет то упорство, с которым он базирует свою защиту сексуальности на ее связи с «самим путем к жизни, зачатием».⁷ «Где есть невинность? Там, где есть воля к зачатию».⁸ Он проклинает антисексуальность как сопротивление зачатию, «*gessen-timent по отношению к жизни в своей основе*», которое «запачкало *грязью* начало, предусловие нашей жизни» (*Сумерки*, 110/629, 2). В дефиниционном ударе, что он ставит на *такой* защите сексуальности, и в

том яде, что он изливает на не ведущие к зачатию акты и импульсы, вы можете вообразить себя — если такое место вообще существует, — согласно дискурсам в широком спектре от библейского до девятнадцатого века медицинского, в непосредственной близости к сущности почти внеисторического запрета на саму гомосексуальность, таким образом трактуемую почти внеисторически. Но, странным образом, что Ницше, используя тайные резервы эластичности, что всегда характеризовали его отношение к биологической метафоре, наиболее упорно конструирует в ореоле этого императива к зачатию — это сцены беременности мужчин (включая себя самого: «Это число, именно восемнадцать месяцев, могло бы навести на мысль, по крайней мере среди буддистов, что я в сущности слон-самка»)⁹ или абстракций, что могут изображаться как мужчины.¹⁰ Очищенное этим ходом пространство для сексуальной тематики зрелости, оплодотворения, грязи, экстатического разрыва, проникновения между мужчинами, однако, куплено дорогой ценой — в смысле мучительной незащитности перед дефиниционным давлением со стороны гневных импульсов, вскормленных восхвалениями самого Ницше: злоба, которую всего лишь пару десятилетий спустя питал Д. Г. Лоуренс против царства желания, которое к тому времени *точно* вписывалось в рамки «гомосексуального», даже оставляя нетронутыми все внутренние противоречия самого этого определения, оптом позаимствовала у Ницше риторическую энергию предания анафеме желания, что было желанием самого Ницше, если не сказать — самого Лоуренса.

Греческое/Христианское

Для Ницше, как и для Уайльда, концептуальный и исторический стык между классической и христианской культурами стал поверхностью, пропитанной значениями, касающимися мужского тела. Как в немецкой, так и в английской культурах романтическое переоткрытие античной Греции для девятнадцатого века очистило — в той же степени, что и заново создало, — престижное, исторически недоустроенное пространство воображения, в котором отношения к человеческому телу и между телами могли стать новым предметом утопической спекуляции. Синекдохически представленный в своих склонностях статуями обнаженных юношей, викторианский культ Греции мягко, ненавязчиво и некатегорично позиционировал мужскую плоть и мускулы в качестве показательных примеров тела как такового, тела, чьи поверхности, особенности и способности могут стать субъектом или объектом для нефобического наслаждения. Христианская традиция, наоборот, стремилась как сконденсировать «плоть» (поскольку та представляла собой или включала в себя наслаждение) в *женском* теле, так и окружить ее притягательностью аурой максимального вожделения, страха и запрета. Так эти два значимых отличия от христианства объединились или могли объе-

диняться в размышлениях и риторике о «греках»: воображаемое разрушение запретного барьера перед наслаждающимся телом и его новый гендер — показательно мужской.

Дориан Грей, возникающий в «Портрете Дориана Грея» первоначально как модель для художника, как будто и предлагает такое освобождающее видение — по крайней мере, он провоцирует двух своих обожателей на формулировки этой идеологии. Художник Бэзил Холлуорд говорит о нем: «Сам того не подозревая, он открывает мне черты какой-то новой школы, школы, которая будет сочетать в себе всю страстность романтизма и все совершенство эллинизма. Гармония тела и духа — как это прекрасно! В безумии своем мы разлучили их, мы изобрели вульгарный реализм и пустой идеализм» (16–17/79). И лорд Генри Уоттон обращается к неподвижному натурщику с патерианскими¹¹ заклинаниями:

«Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем. А в наш век люди стали бояться самих себя... А между тем... мне думается, что если бы каждый человек мог жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выражение каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту, — мир ощутил бы вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все болезни средневековья, и мы вернулись бы к идеалам эллинизма, а может быть, и к чему-либо еще более ценному и прекрасному. Но и самый смелый из нас боится за самого себя. Самоотречение, этот трагический пережиток тех диких времен, когда люди себя калечили, омрачает нам жизнь. И мы расплачиваемся за это самоограничение» (25/86).

Контекст каждой из этих формулировок, однако, немедленно проясняет тот момент, что концептуальные деления и этические барьеры, учрежденные христианством или ему приписываемые, легче порицать, чем устранять — или, возможно, даже стремиться устранить. Манифест художника о способности Дориана ввести в силу современную «гармонию тела и духа», например, есть часть его вынужденной исповеди — и исповедь здесь правильное слово — лорду Генри, исповеди про «ту непостижимую влюбленность художника, в которой я, разумеется, никогда не признавался Дориану. Дориан о ней не знает. И никогда не узнает. Но другие люди могли бы отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами» (17/80). Очертить и драматизировать пространство *этой тайны* становится также проектом манифеста лорда Генри, речи, чья перформативная цель, в конце концов, менее убеждение, чем соблазнение. Как и Бэзил, лорд Генри конструирует *эту тайну* в терминах, связанных с (неназываемыми) запретами, относящимися именно к прекрасному мужскому телу; как и манифест Бэзила, манифест лорда Генри, призывающий к эллинистическому единству тела и духа, черпает свою риторическую силу соблазна от кульминации, что зависит от их окончательного и бесповоротного разрыва через стыд и запрет:

«И мы расплачиваемся за это самоограничение... Единственный способ отделаться от искушения — уступить ему. А если вздумаешь бороться с ним, душу будет томить влечение к запретному, и тебя измучают желания, которые чудовищный закон, тобой же созданный, признал порочными и преступными... Да ведь и в вас, мистер Грей, даже в пору светло-розового отрочества и розово-красной юности, уже бродили страсти, пугавшие вас, мысли, которые вас приводили в ужас. Вы знали мечты и сновидения, при одном воспоминании о которых вы краснеете от стыда...

— Пойдите, пойдите! — пробормотал, запинаясь, Дориан Грей. — Вы смутили меня, я не знаю, что сказать. С вами можно бы поспорить, но я сейчас не нахожу слов...» (25–26/86–87).

Кристаллизация желания как «искушения» — юного тела, как всегда, инициаторного вторжения розово-красного в светло-розовое — сразу же с головой выдает игру в единство. Каждая из этих артикуляций показывает, что «эллинистический идеал», раз его реинтегративная энергия, как предполагается, включает в себя исцеление общекультурных разломов, что включены в мужскую гомосексуальную панику, по необходимости столь глубоко содержит эту панику в самом сердце своих проявлений, структур, требований и обращений к нему, что становится не просто неотделимым от когнитивного и этического разьячевания гомофобного запрета, но и даже его топливом. И неизбежным следствием этого выглядит то, что такое разьячевание становится образцовым топливом для гомосексуального желания.

В своей работе «Викторианцы и Древняя Греция» Ричард Дженкинс указывает на то, что как раз видимое появление или необходимость этого фобического упадка обратным ходом вчитывается в «я» греков и в греческую культуру как шарм их единства, целостности, шарм, определяемый тем самым эсхатологическим нарративом, который он должен тормозить или игнорировать. Это выглядит хорошей характеристикой также и классицизма Ницше, с его постоянным отодвиганием даты всегда-уже-произошедшего впадения в декадентский моральный запрет, определяемый как христианство, и это впадение, как бы оно ни оплакивалось, составляет условие обретения риторической силы.

Рассмотрим, например, в окрашенном румянцем стыда свете манифеста лорда Генри двойную сцену соблазнения, изображенную в следующих фразах в «Предисловии» к «По ту сторону добра и зла»:

«Говорить так о духе и добре, как говорил Платон, — это значит, без сомнения, ставить истину вверх ногами и отрицать саму перспективность, т.е. основное условие всяческой жизни; можно даже спросить, подобно врачу: “откуда такая болезнь у этого прекраснейшего отпрыска древности, у Платона? уж не испортил ли его злой Сократ? уж не был ли Сократ губителем юношества? и не заслужил ли он своей цыкуты?” — Но борьба с Платоном, или, говоря понятнее и для “народа”, борьба с христианско-церковным гне-

том тысячелетий — ибо христианство есть платонизм для “народа” — породила в Европе роскошное напряжение духа, какого еще не было на земле: из такого туго натянутого лука можно стрелять теперь по самым далеким целям (*По ту сторону*, 14/240, 2).

Со своей характерной сократовской кокетливостью («подобно врачу»!) Ницше встраивает прото-христианский упадок в метафизику как случай сексуального домогательства в классной комнате, происшедший между древними. Однако соблазнение, на которое направлен его собственный язык, то, что как будто отражает первое и в то же время отрекается от него «мирской» тривиализацией, — это соблазнение читателя. Его тактика такова же, как и у рассказчика «Билли Бадда», — это смешение, под давлением очень трудного для восприятия стиля и аргументации, угрозы презрения к тем, кто не понимает или *только* понимает («народ»), с куда более сладким, чем у Мелвилла, бальзамом лести, веселья и будущности, обещанным тем, кто предаст себя в его безымянное использование в качестве снарядов. Ницше почти что артикулирует то, что персонажи в «Дориане Грее» не более чем демонстрируют, — что философский и эротический потенциал, обитающий в этой педагогически-педерастической речевой ситуации модерна, происходит не от запятанных залежей «эллинистической» потенции, куда можно внедриться напрямую, но скорее от шокирующего магнетизма, наводимого такой фантазией через неустранимый барьер (то есть благодаря ему) христианской запретительной категоризации. Похоже, что гомосексуальная паника модерна представляет собой не временное препятствие, мешающее свободному развитию философии и культуры, но скорее скрытую энергию, что может поразить их далеко из-за пределов их собственного сегодняшнего места знания.¹²

Предположение, которого я придерживалась до сих пор, — что основное воздействие христианства на мужское желание к мужскому телу (и основной стимул, им этому желанию предлагаемый) носит запретительный характер, — это весьма весомое предположение, принятое в кругу, далеко не ограничивающемся Уайльдом и Ницше. И даже те (или в особенности те), кто его придерживаются и используют, включая как Уайльда (который никогда не удалялся от ворот Рима), так и Ницше (который в итоге подписался как «Распятый»), знают, что оно отнюдь не истинно. Христианство, возможно, в европейской культуре Нового времени почти повсеместно выглядит фигурой фобического запрета, но фигурой очень странной. Например, католицизм, как известно, подарил бесчисленному множеству гомосексуальных и протогомосексуальных людей шок возможности взрослых, не вступающих в брак мужчин в платьях, театра страстей, интроспективной инвестиции, жизни, наполненной гем, что можно назвать, в идеале — без всякого принижения, работой фетиша. Даже для тех многих, чья собственная обретенная гей-

идентичность в итоге могла не включать такие вещи или определяться вопреки им, встреча с ними скорее всего имела более чем запретительное воздействие — или вообще воздействие совсем другое. И главенствуют здесь надо всем образы Иисуса. В культуре Нового времени они занимали уникальную позицию как образы раздетого — или того, что может быть раздето, — мужского тела, часто при смерти, в чрезвычайной ситуации и/или в экстазе, предназначенного для разглядывания и обожания. Скандальность такой фигуры в гомофобной экономии мужского взгляда не выглядит преодоленной: попытки лишить это тело телесности, например истощая, европеизируя или феминизируя его, только лишь более компромиссным образом впутывают его в весь массив различных нововременных фигураций гомосексуального.

Номинальные термины контраста греческого/христианского, контраста как бы между разрешением и запретом или единством и расколотостью, сами по себе (как мы видели) небеспроблемные, еще менее опираются на этот аспект христианства, хотя неизбежно им видоизменяются. Как у Ницше, так и у Уайльда — и, частично через них, во всей культуре девятнадцатого века — этот образ, я полагаю, является одним из тех мест, на котором центрирована чрезвычайно сложная и важная проблематика сентиментальности. Позвольте мне потратить немного времени на исследование того, почему столь трудно удерживать ее аналитически и почему она столь многое говорит нам о девятнадцатом веке, возвращаясь к обсуждению ее центрального места в гомо/гетеросексуальной дефиниционной борьбе Уайльда и Ницше.

Сентиментальное/Антисентиментальное

Однажды вечером в Итаке в середине семидесятых я случайно поймала кантри-радиостанцию на середине песни, которую раньше никогда не слышала. Невероятно приятный мужской голос, в котором я была склонна узнать голос Вилли Нельсона,¹³ выпевал такие слова:

Он бродил со мной, говорил со мной,
Он сказал мне, что я — его,
И радость, что там улыбнулась нам,
Не касалась еще никого.

Птицы услышали сладостный звук
Той речи и бросили петь.
Голос его продолжает, как скрипка,
В сердце моем звенеть

Он бродил со мной, говорил со мной,
Он сказал мне, что я — его,
И радость, что там улыбнулась нам,
Не касалась еще никого.

Все, что нужно мне, — пусть спускается ночь —
 С ним остаться в этом саду.
 Но раз голос его меня зовет —
 Я пройду сквозь любую беду.

Меня оторопь взяла. Я уже слышала немало песен Вилли Нельсона, посвященных Вейлону Дженнингсу,¹⁴ которые всегда интерпретировала как любовные, но никогда не думала, что так и должно было быть; ни что не предвещало, что любовь и чувственность между двумя мужчинами могут быть выражены с такой прозрачной искренностью, ни на волне попсовой радиостанции, ни где-либо еще.

Десять лет спустя в *New York Review* я заметила статью Дж. М. Камерона о религиозном киче, который, по его словам, «представляет нам серьезную теологическую проблему и указывает, выходя далеко за рамки формальной теологии, на нечто отсутствующее в нашей культуре».¹⁵

«Кич должен включать в себя не только златовласых Мадонн, статуи Иисуса неопределенного пола, приторные изображения Иисуса-младенца... Он должен также включать в себя музыку, слова литургии, церковные гимны... Например:

Было тихо в саду, только роз лепестки
 Трепетали от свежей росы.
 Чудный голос вдруг мой встревожил слух —
 То явился мне Божий Сын.
 Он бродил со мной, говорил со мной,
 Он сказал мне, что я — его,
 И радость, что там улыбнулась нам,
 Не касалась еще никого».¹⁶

Камерон считает важным не только

«называть... это сентиментальным... но также... поговорить о том, чем оно на самом деле является, — ужасной деградацией религии не просто к роли поставщика чего-то фальшивого и недостойного, но к отдающему чем-то мерзким религиозному желе, загрязняющему истоки религиозного чувства. Как если бы образ Иисуса отразился в разбитом, мутном и кривом зеркале, висящем в публичном доме».¹⁷

Позвольте мне остановиться здесь на двух возможных источниках нарочитого отвращения Камерона, на одном — содержательном, связанном с *субъектом* сентиментальности, и на другом — грамматическом, связанном с его *отношениями*. Содержательно я обязана поинтересоваться, может ли то явственное выдвижение на первый план эротизма мужского тела, что так взволновало меня в этой песне, не быть ответственным за стигматизацию этих стихов как сентиментальных и кичевых. Я уже говорила о той трудной роли путеводной звезды, которую вездесущие изображения Иисуса — Камерон называет их «статуями

неопределенного пола» — играют в гомофобной экономии мужского взгляда. Этот скандал, возможно, и объясняет дискомфорт Дж. М. Камерона от данного гимна, но еще и оставляет нас один на один с вопросом о локальных спецификациях сентиментального, в частности о его гендере: если сентиментальное, как нас учат, содержательно совпадает с женственным, с местом женщины, то почему выдвигаемая на первый план *мужская* психика оказывается в показательном отношении к нему?

Однако же если телесная мужская фигура — а именно такую гипотезу я и хочу предложить — *действительно* является характеристическим, тематическим маркером мощных и обесцененных категорий кича и сентиментального в этом веке, то только неопределенное использование первого лица («Он сказал мне, что я — его»), первого лица, что может быть вашей бабушкой, но может быть также и Вилли Нельсоном или даже выдающимся профессором религиоведения в Университете Торонто, только оно придает такой мерзкий привкус кусочку религиозного «желе», гендерно проскользнувшему в загрязненную и оскверненную глотку г-на Дж. М. Камерона. Гендерно-неопределенное первое лицо, или же невозможное первое лицо — например, первое лицо, обозначающее кого-то, кто мертв или умирает, — это широко распространенные и, по крайней мере для меня, особенно мощные сентиментальные маркеры: во всяком случае, от «На холодные холмы ночные тени пали, Она бредет к моей могиле в длинной черной шали»¹⁸ у меня неизбежно по телу мурашки, а от «Роки, мне еще умирать не приходилось»¹⁹ всегда наворачиваются слезы и закладывает нос — или от писем, предназначенных Дорогой Эбби²⁰ и написанных старшеклассниками, слишком юными для того, чтобы по дороге из школы погибнуть в автокатастрофе. Бесспорно, классическим примером этого тревожащего, и по тону, и в целом, простодушно-лицемерного модуса «от первого лица», другие версии которого можно легко обнаружить в любом школьном литературном журнале, является баллада, завершающая «Билли Бадда»:

А может, я сплю? Мне мерещится это?
 И надо бы только дождаться рассвета?
 Мне кануть на дно? Барабаны забили,
 Вон ром разливают, и нету лишь Билли?
 Столкнут меня в воду — и дело с концом?
 А Дональд поклялся с доской рядом стать,
 Так руку ему я успею пожать...
 Да нет, я ведь буду уже мертвецом.
 Видал я, как Таффи, валлиец, утоп,
 Румяный такой. А мне сделают гроб —
 Зашьют меня в койку, швырнут в глубину.
 Все глубже и глубже во сне я тону.

Сомкнулась вода... Часовой, где ты тут?
 Ослабь кандалы, они руки мне трут.
 Не видеть мне больше ни ночи, ни дня.
 Морская трава оплетает меня (1435/325).

Эти ловкие активации двусмысленностей, всегда скрыто содержащихся в грамматическом лице как таковом, во всяком случае указывают на спектр значений сентиментальности, что определяют ее не как тематический или конкретный предмет обсуждения, но как структуру отношения, обычно такую, что включает в себя отношения спектакля — автора или аудитории; чаще всего это происходит, когда на сцену выводят сам эпитет «сентиментальное», эпитет дискредитирующий или обесцененный, — сентиментальное как *неискреннее, манипулятивное, поддельное, болезненное, ловкое, кичевое, лукавое*.

Рассмотрим вопрос тематического содержания. В феминистской критике последних лет, в частности в той, что затрагивает американскую женскую литературу девятнадцатого века, произошла сознательная реабилитация категории «сентиментального», поскольку «сентиментальное» понимается как уничижительное кодовое имя для женских тел и женских домашних и «репродуктивных» первых ролей в рождении, социализации, болезни и смерти.²¹ Показывается, что обесценивание «сентиментального» — лишь часть общего обесценивания многих аспектов женского характеристического опыта и культуры: с такой точки зрения «сентиментальное», как сама жизнь многих женщин, обычно располагается в сфере частного или домашнего, имеет только подразумеваемую или косвенную связь с экономическими фактами промышленного рыночного производства, зато наиболее очевидно связано с «репродуктивными» первыми ролями в рождении, социализации, болезни и смерти и интенсивно нагружено работой в области эмоций и связей и их выражением. Поскольку этот влиятельный проект популярной феминистской мысли последних лет стремится обратить негативную оценку, даваемую этому опыту, этим акцентам и навыкам как высокой культурой, так и рыночной идеологией, естественным следствием его стала попытка обратить и негативный заряд, приписанный «сентиментальному».

Имеет некоторый смысл рассматривать в чем-то похожую реабилитацию «сентиментального» как важный мужской гей-проект также — ту реабилитацию, что происходила примерно на протяжении века и называлась разными именами, в том числе и «кэмпом». Эта мужская геевская реабилитация сентиментального, очевидно, совершается на основаниях, достаточно отличных от оснований реабилитации феминистской, поскольку происходит из других типов опыта. Подросток из Огайо, признавший в «Где-то за радугой»²² национальный гимн родной страны, его собственной, чье название он никогда не слышал, конструирует новый семейный роман на новых терминах; и для того взрослого, которым он

становится, смысл ценности, связанной со сферой «частного» или же с навыками выражения и построения отношений, скорее всего, будет соотноситься с особой историей тайны, опасности и бегства, а также с жизнью домашней. Очень специфическая ассоциация мужской гомосексуальности с трагической ранней смертью — недавнего происхождения, но структура ее артикуляции плотно укоренена в столетиях гомозротической и гомофобической интертекстуальности;²³ фундамент всегда находился и для мужской гомосексуальной сентиментальности, и более того — для сентиментальной апроприации культурой более общей мужской гомосексуальности как спектакля.

Я доказывала, что конструкции западной мужской гомосексуальной идентичности сводятся в первую очередь не к «собственно гомосексуальности», но к очень интимному чувствительному и выразительному, хотя всегда косвенному отношению к некогерентностям, свойственным мужской *гетеросексуальности* Нового времени (если даже и не в первую очередь, то и к нему тоже). Руководствуясь этим соображением, можно сказать гораздо больше о производстве и развертывании, особенно в современном американском обществе, чрезвычайно высокой интенсивности жалости к себе у не-гомосексуальных мужчин.²⁴ Она воздействует по всему спектру на нашу национальную политику, идеологию международных отношений и военного вмешательства. (Здесь крупный план наполненных слезами глаз Оливера Норта,²⁵ пожалуйста.) В более интимных манифестациях эта жалость к себе мужчин-гетеросексуалов в настоящее время часто отсылает к культурным следствиям феминизма (хотя и явно этим не ограничивается) и ассоциируется с актами насилия, особенно по отношению к женщинам (или вызывается для этих актов оправдания). Например, чудовищно высокая пропорция мужского насилия по отношению к живущим отдельно женам, бывшим женам, бывшим подругам, к женщинам на пороге основания собственного отдельного пространства как будто санкционируется и направляется потоком книг и фильмов (так же, как и отображается в нем), где такое насилие выглядит выражением личности не мачо, но сентиментального слизняка. (Вот одна из причин того, почему женщины нервничают, когда слышат от мужчин-гетеросексуалов, что те получили от феминизма в дар «разрешение плакать»). Несмотря на то, что она красочно расцветается для массового потребления (см., например, «О мужчинах» в каждом выпуске «Нью-Йорк Таймс», или спортивные страницы любой газеты, или вестерны, или мужскую кантри-музыку, истории об умирающем-отце-и-его-сыне в «Нью-Йоркере», да и вообще любую жанровую форму, предназначенную для мужчин), эта лужа шириной во всю Америку маскулинной жалости к себе никогда толком не называется и не дискутируется как культурный и политический факт; предметом именованья и анализа становятся мачизм и соревновательность, а также

предполагаемая мягкость. Этот режим мужской гетеросексуальной жалости к себе, балансирующий между стыдливостью и бесстыдством, обладает всей проективной потенцией секрета Полишинеля, открытого секрета. Будет совсем неудивительно, если мужчины-гомосексуалы, так же как и женщины все скопом, станут основной целью ее проекций в поисках козлов отпущения — злобно-сентиментальных атрибуций подпорченной сентиментальности.

Священные слезы мужчины-гетеросексуала: редкая и драгоценная жидкость, чьи свойства, как нас убеждают, могут соперничать лишь со свойствами *lacrimae Christi*, выделение коих столь занимает религиозный кич. По сравнению с этим неожиданным даром бесценного елеса могли хоть каким-то обаянием обладать слишком предсказуемые слезы женщин, геев, людей, которым есть о чем плакать? Презрительная реплика Ницше: «Но какой прок в сострадании тех, которые страдают!» А вот он поясняет: «Человек, который может вести какое-нибудь дело, выполнить какое-нибудь решение, оставаться верным какой-нибудь мысли привязать к себе женщину, наказать и сокрушить дерзкого... словом, человек, представляющий собою прирожденного *господина*, — если такой человек обладает состраданием, ну, тогда *это* сострадание имеет цену!» (По ту сторону 198/401, 2). Как массовая, так и высокая культуры нашего века ратифицируют это веское суждение, никогда не пренебрегая такой мужской жалостью к себе. Пла-а-ачем — слезы одиночества,²¹ слезы под дождем,²⁷ слезы мои на бархате голубом,²⁸ слезы клоуна, может быть, клоуна Кэти,²⁹ может, Рыжего Скелтона,³⁰ чьими слезами должно быть крещено любое проявление невзыскательного искусства — шута Нормана Мэйлера или Хэролда Блума, чьими слезами...

Если эти современные образы и заимствуют свою неиссякающую энергию у датируемой серединой девятнадцатого века связки сентиментальности с местом женщины, их устойчивость и проникновение всюду драматизируют нечто новое: смену машинерии, происходившую начиная с 1880-х и заканчивая Первой мировой, когда показательным примером сентиментальности перестала быть прежде всего женщина, но таким примером стало тело мужчины, который, как капитан Вир, физически драматизирует, *воплощает* для аудитории, что и желает, и катартически идентифицируется с ним, борьбу маскулинной идентичности с эмоциями или физическими стигматами, стереотипизированными как женские. Ницше говорит: «У суровых людей задушевность является предметом стыда — и (читай: потому. — И. К. С.) есть нечто ценное» (По ту сторону 87/303, 2). Это мужское тело само не называется в качестве места или топоса сентиментальности, как то было с домом, женским телом и женским репродуктивным трудом в середине девятнадцатого века. Об отношениях фигурации и восприятия, циркулирующих во-

круг него, включая и антисентиментальность, скорее можно сказать, что они разыгрывают сентиментальность как троп.

Итак, через призму сентиментальности, как мы можем задать Ницше те вопросы, которым нас научил Уайльд и чтение Уайльда? Гор Видал начинает свое недавнее эссе об Уайльде так: «Чтобы читать “Балладу Рэдингской тюрьмы” без смеха, нужно, наверное, обладать каменным сердцем».³¹ Такое начало указывает слишком много направлений. Между ним и идентичным замечанием о смерти маленькой Нелл, что сделал веком раньше сам Уайльд,³² где искать источник остроумия? Упомянем лишь одну из тех историй, что можно об этом рассказать, историю исторически-тематическую: о том, что в девятнадцатом веке образы женщин в связи с домашним страданием и смертью занимали наиболее действенное, симптоматическое и, возможно, хрупкое или летучее место в сентиментальном *воображаемом* культуры среднего класса, а для следующего века — века, который начинал Уайльд вкуче с остальными, — на этом месте оказались образы атлетического мужского самовыстраивания. Так аккуратная композиция «Баллады Рэдингской тюрьмы», где Уайльд размещает свой собственный образ между образами мужчины-женоубийцы и Распятого (или даже в них самих?), запускает в действие все мыслимые механизмы, благодаря которым большинство читателей знают, как включиться в круг сентиментального:

За грех чужой изведать ужас —
О, что страшней, Творец!
До рукояти меч Расплаты
Вонзился вглубь сердец,
Катились слезы за другого
И были — как свинец.

.....
Как лики ужаса являет
Порой нам снов кристалл, —
Мы вдруг увидели веревку,
Нам черный крюк предстал,
Мы услышали, как молитву
Палач в стон смерти сжал.

Весь ужас, так его потрясший,
Что крик он издал тот.
Вопль сожаленья, пот кровавый,
Их кто, как я, поймет?
Кто жил не жизнь одну, а больше,
Не раз один умрет.³³

Вспомним схожие восхитительные строки Купера:³⁴

Мы гибли, каждый одинок,
Но он не знал, в какой волне
Пришлось захлебываться мне.³⁵

— и схожие сентиментальные маркеры (замещение другого, жутко меняющееся первое лицо после смерти, героическая жалость к себе), что придают им их устрашающую уместность, и уместность практически используемую, скажем, в узкой, настоящей, непрерывной само-реконституции отца семейства мистера Рэмзи у Вирджинии Вулф.³⁶ Однако автор «Рэдингской тюрьмы» — это также создатель «Эрнеста в городе и Джека в деревне», мистера Бенбери, тех мужчин, чья склонность жить более чем одной жизнью и даже умирать несколько раз, не говоря уже о нескольких крещениях, кажется, наоборот, придает им изящное безразличие к таким вопросам идентичности, как имя отца — которое его забывчивые сыновья вынуждены искать в армейских списках. «Леди Брэнкнелл! Простите, что докучаю вам, но, скажите мне, кто я такой» (*Earnest, in Complete, 181*).³⁷ В то же время точная грамматическая матрица даже наиболее анархических острот Уайльда все же стремится к единственному числу первого лица мужского рода, в модальности дескриптивной самодефиниции. «Никто из нас не совершенен. Сам я особенно восприимчив к черновикам». «Я могу устоять перед всем, кроме соблазна». «Мне нечего декларировать, кроме своего гения». Проект конструирования мужской фигуры нимало не теряет своего центрального положения, когда его превращают в нонсенс; фактически, можно сказать, что именно прямота, с которой Уайльд зачастую оказывается способным поместить этот мужской проект в самый центр поля зрения, и позволяет ему столь взрывным образом с этим проектом обращаться.

Сила воздействия — интенсивного до тошноты — таких текстов, как «Тюремная исповедь» (*De Profundis*) или «Рэдингская тюрьма» (и я вообще не считаю, что они хоть сколько-то теряют от того, что от них часто мурашки по телу бегут), можно сказать, совпадает с выбором темы в каждом из них: когда обрамление и демонстрация мужского тела явным образом помещаются в контекст демонстрируемого тела Иисуса. Можно прочесть «Портрет Дориана Грея» так, что он расскажет ту же историю, поскольку завершение романа от возвышенной свободной игры сил сентиментального приходит к обрамлению и подвешиванию прекрасного мужского тела в качестве визуального указателя заместительного искупления.

То, что в центре круга опасности сентиментального в работах Уайльда должен помещаться образ распятого мужчины, не удивило бы Ницше. Ведь Ницше направлял и свой собственный нарратив всемирно-исторической деградации видов вокруг оси того же демонстрируемого

мужского тела, согласно чему его размышления сосредоточены не на неотъемлемом смысле распятия или свойствах распятого мужчины, но на как будто неизменной связи сострадания, желания, замещения и лицемерия, закрепляемой реакцией масс на этот образ.

Очевидно, способность Ницше описывать отношения вокруг креста с новой точки зрения связана с Одиссеевым трюком: лишая себя зрения чтобы не останавливать взгляд на центральной вознесенной фигуре, и слуха, чтобы остаться глухим к ее далекому зову, Ницше (как и желе-фобичный Дж. М. Камерон) в обсуждении христианства весь обращается в три других чувства — вкус, осязание и обоняние, чувства, менее всего приравливающиеся к удаленности, те, что во французском языке обозначаются глаголом *sentir*, — и в первую очередь полагается на нюх. «Я первый ощутил — *вынюхал* — ложь как ложь... Мой гений в моих ноздрях» (*Ессе, 126\763, 2*). Обладая «совершенно жуткой впечатлительностью инстинкта чистоты, так что близость — что говорю я? — самое сокровенное, или “потроха”, всякой души я воспринимаю физиологически — *обоняю*» (*Ессе, 48–49\706, 2*), Ницше чувствует «совершенное отсутствие психологической чистоплотности у священника» (*Анти, 169\678, 2*), он способен «*почувствовать обонянием, какие нечистоплотные существа выступили тогда {с христианством} наверх*» (*Анти, 183\689, 2*). Более всего его мутит от близости, в которую этот спектакль страдания втягивает мужчин, на него откликающихся: «от сострадания в мгновение ока разит чернью» (*Ессе, 44\702, 2*). И в этом феномене он находит истоки фактически всех особенностей мира, в котором обитает. «Кто нюхает не только носом, но и глазами и ушами, тот чует повсюду, куда он только нынче ни ступит, нечто вроде атмосферы сумасшедшего дома, больницы... столь мелко, столь подспудно, столь слащаво. Здесь... воздух провонял скрытностями и постыдностями».³⁸

Итак, Ницше — это психолог, возвращающий сентиментальности процент ее запаха. Он делает это тем же жестом, которым возвращает враждебности ее ранг и отвратительность. Наиболее устойчиво продуктивным среди психологических суждений Ницше было помещение оскорбительного, лживого механизма, довольно таинственно названного *ressentiment*,³⁹ — ре-фырканье, что можно произнести так же как «*resent-ment*» [возмущение], или ре-прикосновение языком, ре-осязание,⁴⁰ — помещение его в центр своего подхода к таким обычным после рождения Христа ценностям, как любовь, доброжелательность, справедливость, сочувствие, стремление к равноправию, скромность, сострадание. *Ressentiment* было для Ницше сущностью христианства и, следовательно, — всей новой, современной психологии («никогда не было никакой иной психологии, кроме психологии священника»);⁴¹ и гений его ноздрей постоянно разоблачал в этих как будто простых и прозрачных импульсах сложные, нестабильные наслоения самовозвеличения и удо-

вольствия на самоунижение и аскетизм, перебродившие в некий компост под давлением времени, внутренних противоречий и деконструктивной работы, подобной той, что он предпринял сам. Приставка *re-* в *ressentiment* маркирует пространство дегенерации и замещения: отсутствие своеобразия этих наслоений как репликаций чьих-то собственных мотивов, их неоригинальность как рефлексов импульсов других. Итак, сентиментальное ложное имя — как следствие распятия, — которым наблюдавшие распятие назвали свою чувственность и волю-к-власти, — имя «*сострадание*» — становится моделью для всего класса эмоций и связей, привилегированный аналитик которым — Ницше:

«Эта проблема *ценности* сострадания и морали сострадания (я враг омерзительной современной сентиментальности) кажется поначалу лишь чем-то изолированным, неким вопросительным знаком про себя; кто, однако, застрянет однажды здесь, кто *научится* здесь вопрошать, с ним случится то, что случилось со мной, — ему откроется чудовищный новый вид, некая возможность нападет на него головокружением, всплывет всякого рода недоверчивость, подозрительность, страх, пошатнется вера в мораль, во всякую мораль...» (*Генеалогия*, 154\412, 2).

Сентиментальность, насколько она пересекается с *ressentiment* в структуре, которую мы не первыми бы назвали *рессентиментальностью*, и представляет в Ницшевой мысли саму современную эмоцию: современную эмоцию как заместительность и ложную репрезентацию, но также и как ощущение, оскорбительно близко подступившее к органам чувств.

Прямое/Замещающее; Искусство/Кич

Сложно было бы переоценить значимость заместительности в определении сентиментального. Странная карьера «сентиментальности», начавшаяся в конце восемнадцатого века, когда это был термин для высшей этической и эстетической похвалы, и протянувшаяся до двадцатого, когда его стали использовать для коннотации, помимо патетической слабости, еще и актуального принципа зла — от ее, «сентиментальности», истоков, когда она свободно циркулировала между гендерами, через феминистичную викторианскую версию, до версии двадцатого века, с ее особым сложным отношением к мужскому телу, — немного же легко артикулируемых связностей можно в ней обнаружить! А те, что обнаружить можно, как мы видели, не имеют отношения к самой сентиментальности. Скорее они выглядят присущими природе инвестиции зрителя — ее наблюдателя. Сакрализирующая заразительность слез была наиболее часто воспроизводимой первичной сценой сентиментального в восемнадцатом веке. Ее первым жрецам было относительно (только относительно!) легко считать само собой разумеющимся, что процесс, в котором наблюдатель «симпатизирует» страданиям наблю-

даемого, характеризуется незаинтересованностью и милосердием; однако каждый психологический или философский проект, относящийся к этому периоду, дает нам все новые средства для подвергания сомнению или даже дискредитации этой все более сложно выглядящей связи.⁴² Наиболее очевидный момент здесь тот, что диспозиция сентиментального наблюдения предоставляет укрытие различиям в материальной достатке (буржуа рыдает над спектаклем бедности) или сексуальных полномочиях (мужчина падает без чувств, созерцая спектакль осаждаемой женской добродетели) — тем видам материальной или сексуальной эксплуатации, что могут даже увековечиваться или усиливаться неподотчетной удовлетворенностью зрителя, что и делает важным их повторение. Безмолвность и потому — неподотчетность идентификации сентиментального зрителя с тем, кто страдает, в любом случае кажется точкой равновесия между наиболее прославляемыми и наиболее проклинаемыми смыслами «сентиментального». Когда зритель(ница) неверно представляет качество или место своего скрытого участия в сцене — неверно представляет, например, желание как жалость, *Shadenfreude* как симпатию, зависть как осуждение, — это может становиться определяющими примерами худшего смысла эпитета; и все больше — определяющими примерами самого эпитета. Похоть; болезненность; жажда; снобизм;⁴³ хитрость; игривость — все это начинает означать субкатегории сентиментального в той степени, в которой каждое [из отношений] включает в себя завуалированную причину идентификации (какую-то ее степень, ее направление) посредством зрительства. Как говорит Ницше о Ренане (с которым у него столь много общего): «Я не знаю ничего, что действовало бы более тошнотворно, чем такое “объективное” кресло, такой благоухающий сластена, потирающий руки перед историей, полупоп, полусатири... такие “зрители” озлобляют меня против “спектакля” больше, чем спектакля (самой истории, вы понимаете меня)» (*Генеалогия*, 294\520–521, 2).

Из этого следует, что такое описание сцен или даже текстов, как внутренне «сентиментальных» (похотливых, болезненных и т. д.), — крайне проблематично, не в последнюю очередь потому, что такие описания стремятся обладать непререкаемым авторитетом: эпитет «сентиментальный» *всегда* нанесен несмыслаемыми чернилами. «Сентиментальное» с полным колчаном субкатегорий: разве они не столько статические решетки анализа, с помощью которых тексты можно наносить на плоскую карту, сколько снаряды, чье действие напрямую зависит от угла и импульса выстрела? В предыдущей главе мы обсуждали «мирское» как атрибуцию, чья сила зависит не только от прикрепленности к конкретному персонажу или тексту, но от ее способности выписывать цепь атрибутивных углов роста привилегии и молчания; «мирской» персонаж, например, это не тот/та, чья когнитивная привилегия в мире посто-

янно удостоверяется, но тот/та, кто может это удостоверить, неявно утверждает свой еще более широкий угол когнитивной привилегии, из которого уже и вырезается «мирской» угол, а молчаливое предложение читателю или аудитору этого более широкого угла, помимо всего прочего, как мы говорили, может формировать базис для мощных интерпелляций. «Сентиментальное» и его проклятые субкатегории работают аналогичным образом. Сами описания отношений заместительности, атрибутивная карьера каждого из этих прилагательных — также заместительна. Хорошо известно, например, что у Пруста легко распознать персонажей-снобов, поскольку только они способны распознать снобизм у других — и, таким образом, только они действительно снобизм не одобряют. Снобизм, как указывает Рене Жирар, может обсуждаться и атрибутироваться только снобами, которые всегда в этом отношении правы — за исключением их отказа признать снобизм у себя самих.⁴⁴ То же самое верно и в отношении как феномена «сентиментального» в целом, так и других его манифестаций вроде болезненности и похоти. *Honi soit qui mal у pense* — это одновременно и пароль, и структурный принцип сентиментальной атрибуции. Какая цепь атрибуции продлевается — при том, что она якобы обрывается, — когда Ницше восклицает: «О вы, сентиментальные лицемеры, вы, сластолюбцы! Вам недостает невинности в вожделении; и вот почему клевете вы на вожделение!» (*Заратустра*, 122–23/88, 2)? И каковы те молчаливые отношения соучастия в похоти, что структурируются, когда Ницше атрибутирует похоть во фрагменте, посвященном книге законов Ману:

«[Это произведение] имеет за собой, “в” себе действительную философию... оно кое-что дает даже самому избалованному психологу... Все вещи, на которые христианство испускает свою бездонную пошлость, как, например, зачатие, женщина, брак, здесь трактуются серьезно, с почтением, любовью и доверием. Как можно давать в руки детей или женщин книгу, которая содержит такие гнусные слова: “Во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа... лучше вступить в брак, нежели разжигаться”? И можно ли быть христианином, коль скоро понятием об *immaculata conceptio* самое происхождение человека охристианивается, т. е. загрязняется?.. Я не знаю ни одной книги, где о женщине сказано бы было так много нежных и благожелательных вещей, как в книге законов Ману; эти старые седобородые святые обладают таким искусством вежливости по отношению к женщинам, как, может быть, никто другой. “Уста женщины, — говорится в одном месте, — грудь девушки, молитва ребенка, дым жертвы всегда чисты”. В другом месте: “Нет ничего более чистого, чем свет солнца, тень коровы, воздух, вода, огонь и дыхание девушки”. Далее следует, быть может, святая ложь: “Все отверстия тела выше пупка — чисты, все ниже лежащие — нечисты; только у девушки все тело чисто”» (*Анти*, 176/683–84, 2).

Острота Видала в адрес Уайльда — «Нужно обладать каменным сердцем...» — по-видимому, связана с той же структурой. Если шутка в том, что Уайльд, воспользовавшийся преимуществом мощного риторического заряда, получаемого через уличение Диккенса в сентиментальности, в другое время, возможно, в более поздний период своей жизни, когда скрытые механизмы государственного наказания выполнили свою работу по разрушению истины и радости его чувствительности, также оказался подверженным той же ужасной ошибке, то это одно. Однако что если *невозможно* на самом деле различать между сентиментальностью и обвинением в ней? Но тогда мы имеем дело с шуткой, которая может относиться только к самому Гору Видалу, чья сверхбдительность к ляпсусам недалекости других может значить только то, что и он в свою очередь, как говорится, от этого не застрахован. Возможно, только те, кто сами склонны к этим заместительным импульсам, обладают способностью обнаруживать их в творчестве и жизни других; но именно они-то по некоторым причинам и подвержены, таким образом, подобным пертурбациям в собственной судьбе.

Здесь под «они» я по определению подразумеваю «мы». Чтобы обойтись без дальнейшего бездонного структурирования этой части аргументации через бесконечную череду подмигивающих прочтений «других» авторов, позвольте мне попытаться порвать с традицией объявления личной невовлеченности и раскрыть свою истинную сущность, скоренько, но тем не менее искренне покаявшись в том, что мне присущи — и в какой степени! — такие атрибуты, как сентиментальность, похоть и болезненность — по меньшей мере. (Понимая, сколь бесконечно малы шансы, что скептицизм читателей будет благосклонен к подобному признанию, все же хочу предоставить в качестве доказательства своей ответственности — или же, можно выразиться иначе, своей квалификации эксперта — тот пафос, с которым в первой главе пересказывается «Эсфирь»; я сочиняла ее вдохновенно, но она получает свою эмоциональную и, возможно, риторическую эффективность от определенного перекоса в моем собственном пути идентификаций. Кто-то из моих друзей, кому это место не понравилось, колко заметил, что я не рискую здесь раскрыться, но зато становятся совершенно очевидными мои фантазии о спасении.)

Понятно, что такое понимание «сентиментальности» создает проблемы для проекта реабилитации сентиментального, будь он феминистски или геевски центрирован. Проблема же не только в том, что спектр дискредитирующих имен, подходящих под эти формы внимания и выражения, слишком утончен, пристален, дескриптивно полезен и риторически действен, хотя и это целиком справедливо. Худшая проблема заключается в том, что, поскольку сама антисентиментальность стала, в этой структуре, собственно двигателем и выражением современных сентиментальных отношений, войти в дискурс сентиментальности в любой

точке или с любой целью означает, что ты практически неизбежно будешь захвачен(а) импульсом атрибуции, в своей сущности связанным с фигурой козла отпущения.

Попытка конструирования версий данной аргументации предоставляет, я могла бы также сказать, восхитительно отчетливое доказательство силы этого импульса. Принимая во внимание желание поднимать те вопросы, что я здесь поднимаю, чрезвычайно легко визуализовать путь малейшего сопротивления подобной аргументации. Баллистическая сила атрибутирования «сентиментальности» сегодня столь интенсивна, что, я считаю, было бы примечательно затруднительным делом придумать такой аналитический проект — или проект переоценки, — касающийся сентиментальности, что не увенчивал бы свое реабилитационное прочтение неким еще более проклятым разоблачением «истины» и, что куда более опасно, сентиментальности автора, с этим термином ранее не ассоциировавшегося. И это конгруэнтно определенной траектории (ее очень трудно избежать) универсализующего понимания гомо/гетеросексуального определения — классическим примером этой траектории является то, что Иригаре пишет о «гом(м)осексуальности»,⁴⁵ хотя феминистская мысль тут не держит монополию — согласно которой авторитарные режимы гомофобной маскулинистской культуры следует предать проклятию на том основании, что они *еще более гомосексуальны*, чем мужская гей-культура.⁴⁶ И каждая из этих траекторий приводит прямо к ужасным общим местам о фашизме. В случае Ницше и Уайльда наиболее подходящим — настолько подходящим, что ему почти невозможно сопротивляться — путем аргументации было бы использование демонстративно гомосексуального Уайльда как фигуры необходимости и истины «хорошей» версии сентиментальности, а затем доказательство того, что подчеркнуто гетеросексуальный и антисентиментальный Ницше был — подобно Уайльду (и даже более активно, чем Уайльд, — поскольку это не признавалось) и таким образом, что можно показать, как это сказывалось в его работах и в его мысли, — был «на самом деле» гомосексуальным и в то же время «на самом деле» сентиментальным.

Почему же столь трудно размышлять над этими вопросами и при этом не следовать аргументации, что неизбежно приводит к разоблачению предполагаемой предтечи фашизма как *настоящего* гомосексуала и особенно как *настоящего* сентименталиста? Я пыталась избежать этого пути разоблачения по четырем причинам. Во-первых, конечно, Ницше, как и Уитмен, автор столь коварный и уклончивый, что не стоит биться об заклад на предмет его неосведомленности о самом себе. Во-вторых, такая траектория аргументации предполагает, что где-то зарезервировано стабильное и внятное определение как того, что такое «на самом деле гомосексуальное» и «на самом деле сентиментальное», тогда как наш исторический аргумент заключается как раз в обратном: что в данный

исторический период эти определения не являются ни исторически стабильными, ни внутренне непротиворечивыми. В-третьих, что очевидно, этот аргумент с необходимостью зависит в отношении своей риторической (если не аналитической) силы от крайнего современного обесценивания обеих категорий, гомосексуального и сентиментального — зависимость, весьма успешно вызывающая дискомфорт, хотя большая часть работ самого Ницше немало поспособствовала этому фатальному обесцениванию. И наконец, наиболее продуктивные вопросы, которые мы можем сформулировать в адрес этих дефиниционных проблем, должны быть, я думаю, не в духе «Каково истинное значение и правильное распределение этих ярлыков», но — «Какие отношения устанавливаются при навешивании этих ярлыков?». В этом случае любая потенциально эффективная аналитическая дистанция, что мы можем занять, будет разрушена в той степени, в которой наша аргументация будет выстраиваться так, чтобы достичь своего апогея синхронно с этим актом именованья.

Однако же кое-что о том, как формация современных гей-идентичностей вмешалась в новые представления об этих действенных отношениях с аудиторией, могут нам рассказать категории «кича» и «кэмпа». Кич — это классификация, удваивающая агрессивную энергию эпитета «сентиментальное», с одной стороны провозглашая неподверженность того, кто этот эпитет произносит, заражению от кичевого объекта, с другой стороны постулируя существование настоящего *потребителя кича*, или, следуя знаменитой фразе Германа Броха, «кичмена».⁴⁷ Кич-мен никогда не пользуется словом «кич»; кич-меном можно манипулировать с помощью кич-объектов, а создатель кича воображается существом цельным и совершенно не критичным. Кич-мена представляют либо в качестве точного двойника столь же непросвещенного производителя кича либо в качестве неспособного сопротивляться тупицы, поддающегося его циничной манипуляции: скажем так, воображаемый производитель кича находится *либо* на отвратительно низком уровне сознания кич-мена, *либо* на трансцендентно высоком и развязывающем руки для злоупотреблений уровне сознания человека, способного распознать кич при контакте с ним. В чрезвычайно спорном мире кича и распознавания кича не существует промежуточных уровней сознания; с необходимостью оказывается истинным то, что структура заражения, посредством которой *познавать захватывает*, посредством которой *любой* объект, относительно которого можно задать вопрос «А не кич ли это?» — немедленно *становится* кичем, остается, в рамках системы атрибуции кича, главным скандалом, что может вести к самоисключению либо к цинизму, но ни к чему — более интересному.

Кэмп, с другой стороны, как будто задействует более жизнерадостный [= гомосексуальный, *gay*. — Прим. перев.] и более широкий угол зрения. Я думаю, не ошибусь, если скажу, следуя Роберту Давидофф,

что типичный жест кэмп на самом деле есть нечто удивительно простое: это момент, когда потребитель культуры решается на следующее дикое предположение: «А что, если тот, кто это сделал, тоже был безбашенным [= гомосексуалом, *gay*. — Прим. перев.]?».⁴⁸ Итак, в отличие от атрибуции кича, распознавание кэмп не предполагает вопроса «Что ж за дегенераты могли бы стать подходящей аудиторией для этого спектакля?». Вместо этого задействуется конструкция «а что если»: А что если как раз я и есть подходящая аудитория для этого спектакля? Что если, например, те сопротивляющиеся, косвенные, отклоняющиеся инвестиции внимания и влечения, что я могу привнести в этот спектакль, как раз и отвечают сверхъестественным образом на сопротивляющиеся, косвенные, отклоняющиеся инвестиции того человека или тех людей, что его создал(и)? И более того, а что, если другие люди, которых я не знаю или не распознаю, тоже видят его под этим «извращенным» углом? В отличие от атрибуции кича, распознавание кэмп никогда не теряет чувствительности к тому, что оно имеет дело с читательским/зрительским отношением и проективной фантазией (проективной, но не столь уж редко и справедливой), что направлены на пространства и практики культурного производства. Это распознавание, более щедрое, поскольку признает (в отличие от атрибуции кича), что восприятия с необходимостью являются также его собственным продуктом,⁴⁹ мало заботится о том, что кэмп может влечь за собой чрезвычайно тонкие и мощные эффекты в нашей весьма сентиментально-атрибутивной культуре.

Эти репрезентационные значения «сентиментального», «антисентиментального» и даже «рессентиментального» невозможно огульно ни реабилитировать, ни опорочить; они символизируют фигуры риторические — скажем так, фигуры отношений — фигуры утаивания, косвенности, заместительности, переименования, и их этические аспекты можно обсуждать только в тех разнородных контекстах, в которых они создаются и воспринимаются. Каждую из них можно назвать формой подлога, но также — и фигурой безудержного желания и творчества — если только не кристально чистой и никогда не признаваемой жадной поиска способов уловить и воспроизвести боль или наслаждение кого-то другого. «Благо», — замечает Ницше, и его аффектация выглядит здесь несколько загадочной, — не есть уже благо, если о нем толкует сосед!» (По ту сторону, 53\274, 2).

Тожественное/Различное; Гомо/Гетеро

Если сентиментальность, антисентиментальность и рессентиментальность — это фигуры заместительного желания, кто же тогда знает, чье желание изображается таким образом? Кем оно так изображается? Дальше: если мы примем ту гипотезу, что главной ложной репрезентацией рессентиментальности христианской эпохи была возвратно-посту-

пательная ложная репрезентация, непрерывно возникающая между концептами «тождественного» и «различного», рискуем ли мы сверхобщить нашу тему до степени несуществования? Конечно же, именно так; ничто в западной мысли не может избежать категоризации и деконструкции под рубриками «тождественного» и «различного». Давайте обратимся к переводам греков и примем ту же гипотезу о рессентиментальности как взаимной ложной репрезентации между *гомо* и *гетеро*: тем самым не сверхдетализуем ли мы свою тему фатальным образом? Однако же эта область наложения бинаризов двойной связи, в которые мы действительно по уши втянуты — не скандальной сентиментальной заместительностью самой христианской психологии и не самим по себе желанием многих мужчин к другим мужчинам, но относящимся к концу девятнадцатого века помещением этих двух вещей в концепты гомо- и гетеросексуальности.

Начиная с Фуко, общим местом стало отличие современного концепта «гомосексуальности» — обрисовывающей длящуюся *идентичность* — от предположительно предсовременного (но тем не менее устойчивого) концепта «содомии», что обрисовывает дискретные *акты*. Однако последующие изыскания показали, что даже в рамках миноритизирующих, таксономических дискурсов идентичности, установленных в конце девятнадцатого века, существовало непредсказуемо последовательное расхождение между терминами, которые Фуко считал практически взаимозаменяемыми: гомосексуальности и сексуального извращения. Как говорит Джордж Чонси, «сексуальное извращение, термин, использовавшийся наиболее широко в девятнадцатом веке, не обозначал тот же концептуальный феномен, что и гомосексуальность. “Сексуальное извращение” отсылало к извращению во всем широком спектре отклоняющегося гендерного поведения», — феномен женской «маскулинности» и мужской «феминности», сконденсированный в таких формулировках, как знаменитое самописание Карла Хайнриха Ульриха — *anima muliebris virili corpore inclusa*, женская душа, заключенная в мужском теле — «тогда как “гомосексуальность” отсылала к узкому вопросу о выборе сексуального объекта».⁵⁰ Согласно Давиду Гальперину, «выбор сексуального объекта может совершенно не зависеть от таких “вторичных” характеристик, как мужественность и женственность, похоже, никому не приходило в голову, пока Хэвлок Эллис не организовал кампанию за отделение объектного выбора от игровой роли, а Фрейд... не ввел ясное разграничение в отношении либидо между сексуальным “объектом” и сексуальной “целью”».⁵¹

Гальперин описывает некоторые последствия такого сдвига:

«Концептуальная изоляция сексуальности *per se* от вопросов о маскулинности и феминности сделала возможной новую таксономию сексуального поведения и психологии, целиком базирующуюся на анатомическом поле инди-

видов, вовлеченных в сексуальный акт (тот же пол или другой пол); тем самым она аннулировала немалое количество разграничений, что традиционно функционировали в рамках более ранних дискурсов в отношении однополюх сексуальных контактов и радикально отличали активного сексуального партнера от пассивного, нормальные сексуальные роли от ненормальных (или конвенциональных от неконвенциональных), мужские стили от женских, педерастию от лесбиянства: все эти типы поведения теперь классифицировались схожим образом и помещались под одной рубрикой. Так сексуальная идентичность была поляризована согласно центральной оппозиции, жестко определенной бинарной игрой тождества и различия полов сексуальных партнеров; отныне люди принадлежали к той или иной из непересекающихся категорий... Основная на позитивных, доказуемых и объективных поведенческих феноменах — на фактах, относящихся к тому, кто и с кем имел секс, — новая сексуальная таксономия могла претендовать на описательную историческую валидность. И таким образом она перешагнула «порог научности» и была со священным трепетом принята в качестве рабочей концепции в социальных и естественных науках.⁵²

Удивительно осознавать, что тот аспект «гомосексуальности», что сегодня кажется жестко зафиксированным и совершенно неприступным — ни с какой стороны — а именно ее связь с определяющей *тождественностью* партнеров, — кристаллизовался совсем недавно.⁵³ И можно также добавить, что этот процесс остается радикально незавершенным.⁵⁴ Потенциал «остранения», концентрирующийся в подобном историческом восприятии, только начинает выходить на поверхность.

Это *гомо-* в возникающем концепте гомосексуального, видимо, обладает потенциалом де-дифференциации в определениях — всегда предоставляя средство для потенциального их взаимопроникновения — определениях двух типов отношений, что ранее казались относительно раздельными: идентификации и желания.⁵⁵ Именно в связи с гомосексуальностью *гомо-*стиля, но никак не с извращением, педерастией или содомией (и менее всего, конечно, с кросс-гендерной сексуальностью) обрел свое существование эротический язык, эротический дискурс, предоставляющий постоянную возможность для символизирующих взаимных переходов идентификации и желания друг в друга. И попутно он открыл новые возможности для камуфляжа и маскировки или же очень избирательной, точечной демонстрации запрещенного или диссидентского эротического отношения и признания через цепи заместительности — через те механизмы, что, как я показываю, объединяются под стигматизирующим именем «сентиментальности».

Позвольте мне прояснить, о чем я здесь говорю, а о чем — нет. Лично я не считаю, что однополюе отношения с гораздо большей вероятностью основываются на сходстве, чем отношения между полами. То есть я не считаю, что идентификация и желание обязательно более тесно связаны друг с другом в отношениях однополюх, чем в отношениях между

полами (или же — что у геев они связаны друг с другом теснее, чем у негеев). Вообще-то я полагаю, что они, фактически, тесно связаны друг с другом во многих отношениях и у многих индивидуумов — если не в большинстве случаев. Но я со всей определенностью не считаю, что в отношении любого произвольно взятого мужчины следует полагать, что у него больше общего с другим произвольно взятым мужчиной, чем, возможно, с любой произвольно взятой женщиной. Однако именно эти предположения лежат в основании дефиниционного изобретения «гомосексуальности» — и затем ею же удостоверяются.⁵⁶

Как любовь мужчины к *другому* мужчине становится любовью к *такому же*? Этот процесс графичен в «Дориане Грее», поскольку сюжет романа обеспечивает движение вперед и назад между «мужским желанием к мужчинам» и тем, что очень похоже на традицию, которая вскоре будет названа «нарциссизмом». Сюжет романа определенно связан с мужским желанием к мужчине — это все, что относится к состязанию Бэзила Холлуорда и лорда Генри Уоттона за любовь Дориана Грея, и конденсирует его в сюжетный ход мистической связи фигуральной схожести и фигурального искупления — связи между Дорианом Греем и его портретом. Подавление исходно определяющих *различий между* Дорианом и его обожателями-мужчинами — различий возраста и иницированности, в первую очередь, — в пользу проблематики Дорианова *сходства* с мужским образом на картине, что есть и не есть он сам, означает несколько вещей. Начнем с того, что троп сходства, по моему мнению, здесь не выстраивается в строгой оппозиции к модели «извращения», к которой Уайльд очень редко проявляет интерес и риторика которой совершенно отсутствует в «Дориане Грее». Скорее эта сюжетная особенность романа воспроизводит дискурсивное затмение в этот период того основанного на классике *педерастического* допущения, что связи между мужчинами любой продолжительности должны структурироваться вокруг некоторого диакритического различия — юный/старший, например, или активный/пассивный — и бинаризирующая культурная сила его как минимум сравнима с таковой силой гендера. Иницирующее, вместе со стигмой нарциссизма, новое утопическое видение строго эгалитарной связи, что гарантируется исключением всякого побочного различия, новое исчисление *гомо/гетеро*, воплощенное в сюжетном ходе с портретом, обязано своим елейно-утилитарным характером лингвистически безапелляционной классификации какого-то одного со мной гендера и потому «тождественного» мне, и какого-то не одного со мной гендера и потому моего Другого.

Однако же все это служит и дополнительной цели. Для Уайльда, в 1891 году молодого человека, кому было много что терять, который пытался воплотить свои таланты и желания в самопротиворечивом мужском гомосоциальном обществе, где слишком много было недоста-

точно, но в то же время чего угодно могло оказаться слишком много, схлопывание гомо/гетеро с я/другой должно было быть очень привлекательным защитным/выразительным камуфляжем для однозначно гомосексуального содержания. Не у каждого был любовник одного с ним пола, но у каждого, в конце концов, было «я» одного с ним пола.⁵⁷ (Этот камуфляж, кстати, продолжает быть эффективным в институциях, что ему потворствуют: когда я читала курс в Амхерст колледже, большинство студентов говорили, что изучали «Дориана Грея» на предыдущих курсах, однако никто из них никогда не обсуждал эту книгу в терминах гомосексуального содержания: все они знали, что ее можно объяснять в терминах Темы Двойника — «Разделенное “Я”» — или еще Проблемы Мимезиса — «Жизнь и Искусство».)

Для Уайльда прогрессия *гомо* к тождественному, а затем к «я» завершается, по крайней мере на первом этапе, как мы увидим, в поновому артикулируемых модернистских рефлексивности «я» и антифигуративности, антирепрезентационизме и иконофобии, что сражается в антисентиментальных перипетиях «Дориана Грея» и терпит крах в сентиментальных мобилизациях «Рэдингской тюрьмы».⁵⁸ Ницше использует нарождающиеся приложения нового концепта до странности более просто, и все, что вам нужно сделать, — это принять его описание как мужчины, что пытается вернуть гетеро обратно в *Ессе Homo*. Фрейд в своем обсуждении случая доктора Шребера дает следующий список эрото-грамматических трансформаций, что могут возникать в противоречии фразе, невозможной при гомофобном режиме высказывания: «Я (мужчина) люблю его (мужчину)». Это, во-первых, «Я не люблю его — я его ненавижу»; во-вторых, «Я не люблю его, я люблю её»; в-третьих, «Я не люблю его; она его любит»; и наконец, «Я не люблю его; я никого не люблю».⁵⁹ Ни один из этих сдвигов не чужд Ницше; фактически, можно представить такое оглавление жизни-и-творчества Ницше, в котором эти четыре фразы просто чередуются в постоянном цикле. Однако его собственная чрезвычайно специфическая и аффективная грамматика для этой запрещенной фразы совершенно другая, а именно та, что лежит в основании проекта Фрейда столь глубоко, что тому никогда не приходилось извлекать ее на свет божий; куда более близкая костяку возникающего «гомо»-понимания того, что значит для мужчины желать мужчину: «Я не люблю его, я и есть он».

Я не желаю, скажем, Вагнера; я и есть Вагнер. В любовном панегирике «Вагнера в Байрейте» «речь идет только обо мне — можно без всяких предосторожностей поставить мое имя... там, где текст дает слово: Вагнер» (*Ессе*, 82\731, 2). (Или: «Если предположить, что я окрестил Заратустру чужим именем, например именем Рихарда Вагнера, то не хватило бы остроумия двух тысячелетий на то, чтобы узнать в авторе “Человеческого, слишком человеческого” провидца Заратустры...» (*Ессе*,

59\714, 2).). Совсем не «одного из моих друзей, превосходного доктора Пауля Рэ я озарил {в “Человеческом, слишком человеческом”} всемирно-исторической славой»; это был только пример того, как «с инстинктивной во мне хитростью я и здесь вновь обошел словечко Я» (*Ессе*, 94\740, 2). Я не желаю Заратустру, хотя

И праздник праздников настал для нас,

Час славы бранной:

Пришел друг *Заратустра*, гость желанный!

Смеется мир, завеса порвалась,

В объятьях брачных с светом тьма слилась...

(*По ту сторону*, 204\406, 2)

- нет, в эти моменты дефиниционного напряжения я и есть Заратустра. Я не желаю Диониса, несмотря на весь тот пышный эротизм, которым окружен

«тот великий Таинственный, тот бог-искуситель... чей голос способен проникать в самое преисподнюю каждой души, кто не скажет слова, не бросит взгляда без скрытого намерения соблазнить... гений сердца... который угадывает скрытое и забытое сокровище, каплю благодати и сладостной гениальности под темным толстым льдом и является волшебным жезлом для каждой крупинки золота... гений сердца, после соприкосновения с которым каждый уходит от него... новее для себя самого, чем прежде, раскрывшийся, обвеянный теплым ветром, который подслушал все его тайны, менее уверенный, быть может, более нежный, хрупкий, надломленный, но полный надежд, которым еще нет названия, полный новых желаний и стремлений с их приливами и отливами... Дионис, этот великий и двуликий бог-искуситель» (*По ту сторону*, 199–200\402–3, 2)

- нет, в этом анализе я и есть Дионис. (Например, фразы посвящения, что открывают часть «Дионис» «Воли к власти», «Тому, кто удачлив, кто излечил мое сердце, кто вырезан из дерева твердого, нежного и вместе с тем благоухающего — в нем даже нос находит наслаждение», почти дословно обнаруживаются в части «Почему я так мудр» *Ессе Homo*, с примечанием «я только что описал себя».)⁶⁰ Действительно, «с чем я не могу согласиться и что оскорбляет мою скромность, так это то, что, в конечном счете, я — это каждое имя в истории».⁶¹ И, как и в случае доктора Шребера, в свою очередь возникает разом весь разработанный синтаксис контроверзы *этих* утверждений: Ницше как тот, кто *contra* Вагнер («мы антиподы»);⁶² «Дионис против Распятого» (последние слова *Ессе Homo*); Ницше — и это, возможно, важнее всего — как Антихрист.

Абстракция/Фигурация

Указывать на параноидную структуру этих мужских инвестиций не значит (в тех теоретических рамках, которые я, надеюсь, установила) их патологизировать и маргинализировать, но скорее — заново разворачивать их в их принятой центральности. «Безумие единиц — исключение, а безумие целых групп, партий, народов — правило» (*По ту сторону*, 85/302, 2). В той степени, в которой Ницше здесь вовлечен в проективную героинку воплощения, уже характерную для пост-романтических проектов, он дает пример готически маркированного взгляда на девятнадцатый век как на Эпоху Франкенштейна, эпоху, философски и тропологически маркированную дикой игрой дихотомий вокруг солипсизма и интересубъективности мужского параноидального сюжета — того, что всегда заканчивается изображением двух мужчин, преследующих друг друга в пейзаже, освобожденном от любой другой жизни и других интересов, достигая апогея, что стремится сконденсировать любовь с убийством в репрезентации мужского изнасилования.⁶³ Аномальность Ницше в этом контексте проявляется отнюдь не в той власти, что имеет над ним данный сюжет, но в той извилистой сладостности, которую он в этот сюжет инвестирует:

Ты, что огненною пикой
Лед души моей разбил
И к морям надежд великих
Бурный путь ей проложил:
И душа светла и в здравье,
И вольна среди обуз,
Чудеса твои прославит,
Дивный Януариус!⁶⁴

Откровенно готический «Дориан Грей», когда данный сюжет перестает быть, как мы видели, сюжетом мирским, построенным на сложном интересубъективном соперничестве, и становится герметическим сюжетом Двойника *tout court*, черпает глубоко и в куда более традиционной манере из того датируемого девятнадцатым веком потока, которым желание мужчины к мужчине, что до сегодняшнего дня многообразно запрещено, но все еще не окончательно определено, одновременно может запускаться в обращение, канализоваться, распространяться вширь и перегораживаться. В четвертой главе, посвященной истории создания самой по себе мужской гомосексуальной паники и манипуляций с ней, мы обсудим эти механизмы более подробно. Однако столь отчетливо современной/модернистской книгой «Дориана Грея» делает не то, в какой степени в нем реализуется ассоциируемое с паранойей гомо-фобное алиби «Я не люблю его; я и есть он». Здесь модернизмом «Дориана Грея» вводится в действие другое алиби, хоть и близко связанное с первым: алиби абстракции.

На рубеже веков, как мы знаем, благодаря процессу, который стал наиболее видимым на судах над Оскаром Уайльдом, но начался гораздо раньше и продолжился гораздо дальше, сам дискурс, связанный с мужской гомосексуальностью, стал впервые абсолютно публичным и бросился ветвиться по медицинским, психиатрическим, карательным, литературным и другим социальным институциям. Вместе с новым публичным дискурсом, касающимся мужской гомосексуальности, что становился все более дискриминирующим, все более карающим, все более тривиализующим или маргинализующим, возникла риторика обретения утраченного, что обрела до странности косвенную форму. Я бы описала ее как заблокированное пересечение миноритарной риторики «открытого секрета» или стеклянного чулана и классифицирующей публичной риторики «пустого секрета».

Термин «открытый секрет» обозначает здесь секрет совершенно конкретный, а именно секрет гомосексуальный. Как я поясню в первой главе, я пользуюсь им для описания в конденсированном виде феномена «стеклянного чулана», водоворотов тотализующего знания-власти, столь неистово кипящих вокруг любой идентичности, но наиболее открыто признаваемых в отношении идентичности мужской гомосексуальности. Лиловый значок, что я однажды приобрела в книжном магазине имени Оскара Уайльда, лаконически сообщающий «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ», — это игровая и соблазнительная версия все того же Стеклянного Чулана. Недавно вновь показанный готический фильм Хичкока «Веревка» — хороший пример его смертоносной версии. Фильм начинается с того, что двое мужчин, явные любовники, удушают третьего в темном пентхаусе; затем, с оргазматическим облегчением, они поднимают занавески и впускают в дом солнечный свет — «Жаль, что мы не смогли это сделать при открытых занавесках, при ярком свете. Ладно, все сразу не бывает, правда? Зато мы проделали это днем», — а потом помещают мертвое тело своего друга в большой ящик, который ставят посредине гостиной и превращают в обеденный стол и центральный объект званого ужина, на который приглашены невеста, отец, тетка, лучший друг убитого и даже бывший директор их подготовительной школы. Наверное, будет лишним говорить, что наши любовники постарались на славу, чтобы существование Секрета и нахождение этого секрета в большом ящике посреди комнаты не слишком долго оставалось Секретом.

Публичная риторика «пустого секрета», с другой стороны, вся совокупность восприятий и интуиций, что существуют как будто специально для означивания «модернизма» (как минимум высокого мужского модернизма), очерчивает пространство, окруженное пустотой, ссылкой на себя самое, что отсылает — будучи от него отличным — к параноидальному солипсизму девятнадцатого века, и расщеплением между содержанием и тематикой, с одной стороны, и структурой, с другой, что подчер-

кивается в пользу структуры за счет тематики. В следующей главе я покажу, что эта риторика мужского модернизма служит цели универсализации, натурализации и тем самым, по существу, избегания — лишения содержания — элементов специфично и исторически мужской гомосексуальной риторики. Но так же как мужская гей-риторика сама по себе уже маркирована, структурирована, практически вызвана и «раскрычена» историческими формами гомофобии, например сложившимися обстоятельствами и географией весьма пронизаемого чулана, столь же верно, что гомофобный мужской модернизм несет на себе атавистические признаки той специфичности желания, ради отрицания которой он существует, — и он фактически распространяет и воспроизводит ее.

«Портрет Дориана Грея» занимает особенно симптоматическое место в этом процессе. Опубликованный за четыре года до «разоблачения» Уайльда как содомита, он в некотором смысле является совершенным риторическим дистиллятом открытого секрета, стеклянного чулана, сформированного смычкой экстравагантности спорности и экстравагантности живописной демонстрации. Он совершеннейшим образом репрезентирует стеклянный чулан еще и потому, что весьма и весьма разнообразно выходит *из-под* целеполагающего контроля своего автора. Читая «Дориана Грея» с нашей позиции людей двадцатого века, для которых имя Оскар Уайльд, в сущности, *значит* «гомосексуал», стоит снова подчеркнуть, насколько основательно элементы даже этого романа могут прочитываться двойственным или двусмысленным образом, могут прочитываться либо как имеющие тематически пустое «модернистское» значение, либо как имеющие тематически наполненное «гомосексуальное» значение. И с такой пустой «модернистской» точки зрения это наполненное значение — *любое* наполненное значение, но в некотором показательном репрезентативном отношении, *именно это* конкретное наполненное значение — *именно это* настоящие на нарративном содержании, что означает настоящие на *именно этом* нарративном содержании, начинает выглядеть кичем.

Бэзил Холлуорд совершенным образом схватывает ту обездвиживающую панику, что лежит в основании этой несовершенной трансформации открытого секрета в секрет пустой. Он был способен, не выходя за рамки приличий, трактовать свою одержимость Дорианом художнически, пока относился к ней анахронически, «классически» — даже осознавая, что «такие восторги души опасны» (128\173), — но

«Наконец мне пришла в голову новая идея. Я уже ранее написал вас Парисом в великолепных доспехах и Адонисом в костюме охотника, со сверкающим копьем в руках... Эти образы создавались интуитивно, как того требует наше искусство, были идеальны, далеки от действительности. Но в один прекрасный день — роковой день, как мне кажется иногда, — я решил написать ваш портрет, написать вас таким, какой вы есть, не в костюме прошлых веков,

а в обычной вашей одежде и в современной обстановке. И вот... Не знаю, что сыграло тут роль, реалистическая манера письма или обаяние вашей индивидуальности, которая предстала передо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированная, — но, когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый удар кисти все больше раскрывает мою тайну. И я боялся, что, увидев портрет, люди поймут, как я боготворю вас, Дориан. Я чувствовал, что в этом портрете выразил слишком много, вложил в него слишком много себя... А через несколько дней он был увезен из моей мастерской, и, как только я освободился от его неодолимых чар, мне показалось, что все это лишь моя фантазия, что в портрете люди увидят только вашу удивительную красоту и мой талант художника, больше ничего. Даже и сейчас мне кажется, что я заблуждался, что чувства художника не отражаются в его творении. Искусство гораздо абстрактнее, чем мы думаем. Форма и краски говорят нам лишь о форме и красках — и больше ни о чем» (128–29\173–74).

Или, как Бэзил формулирует это ранее, прерывая собственное признание в любви и желании к Дориану: «И в тех моих картинах, на которых Дориан не изображен, его влияние чувствуется всего сильнее. Как я уже тебе сказал, он словно подсказывает мне новую манеру письма. Я нахожу его, как откровение, в изгибах некоторых линий, в нежной прелесть иных тонов. Вот и все» (17\80).

Подобные пассажи, так же как некоторые существенные антинарративные проекты, что, по-видимому, сформировали ранние фрагменты «Дориана Грея», похожи на прототип манифеста модернистской эстетики, согласно которому сентиментальность свойственна не столько изображаемому объекту, сколько сладострастной вульгарности, ассоциируемой с самой фигурацией. Постмодернизм, с этой точки зрения, разыгрываемое по-новой напряженное состязание между царствующим победителем, модернистской абстракцией и свергнутым претендентом, фигурацией, с *необходимостью* должно разворачиваться главным образом в пространствах кича и сентиментальности. Но настолько, насколько модернистское стремление к абстракции в первую очередь черпает не поддающуюся исчислению часть своей энергии в точности из мужской гомо/гетеросексуальной дефиниционной паники рубежа веков — а это определенно верно по крайней мере для литературной истории от Уайльда и до Хопкинса, Джеймса, Пруста, Конрада, Элиота, Паунда, Джойса, Хемингуэя, Фолкнера и Стивенса — в той же степени «фигурация», что должна с отвращением отторгаться модернистской само-рефлексивной абстракцией, не есть фигурация-изображение просто-напросто *любого* тела, фигурация самой фигуральности, — но фигурация, репрезентированная в очень определенном теле, желаемом мужском теле. Так что как только кич или сентиментальность начинают обозначать репрезентацию как таковую, то, что репрезентирует «репрезентацию как таковую»,

становится в то же время весьма показательным образом очень конкретным, маскулиным объектом и субъектом эротического желания.

Изобретение/Признание; Целостность/Декаданс

Антифигуралистский модернизм сам по себе, похоже, никогда не формировал никакую часть программы Ницше. Похоже, однако, что после того, как его любовь к Вагнеру сменилась ненавистью, опера для Ницше стала функционировать практически так, как фигурация как таковая функционировала для Уайльда; она представляла, так сказать, чарующий импульс, которому почти невозможно сопротивляться, который вряд ли можно преодолеть — если это возможно вообще, — но против которого тем не менее можно развернуть очистительную полемику — развернуть ее продуктивно и разоблачительно. Как тематически, так и риторически, нищевская трактовка оперы сходна с уайльдовской трактовкой мимезиса — вот что он пишет в 1886 году о своей главной вагнерианской работе пятнадцатилетней давности:

«Опять скажу, в настоящую минуту это для меня невозможная книга {“Рождение трагедии”} — я нахожу ее дурно написанной, неуклюжей, тягостной, безумной и запутанной в своей картинности, сентиментальной, кое-где пересахаренной до женственности, неровной в темпе, без стремления к логической опрятности... в качестве книги для посвященных, “музыки” для сих последних, крещенных знаменем музыки, соединенных от основания вещей для совместных и редких переживаний в искусстве, — знака, по которому узнают друг друга родные по крови *in artibus* [в искусствах]... книга... которая... как то доказал и доказывает ее успех, знает достаточный толк в том, как найти себе сомечтателей и заманить их на новые тайные тропинки и места для плясок. Здесь во всяком случае говорил — это признавали и с любопытством, и с некоторым нерасположением — *странный* голос, ученик еще “неведомого бога”... тут был налицо дух со странными, еще безымянными потребностями».⁶⁵

Ницше называет «безумными в своей картинности» отношения вокруг вагнеровской «сентиментальности» в том специфическом смысле, что они включают в себя его «смешение себя с тем, чем я не являюсь» (*Ессе*, 93\738, 2); что касается «вагнерианца» вообще, «я “пережил” три поколения их, от покойного Бренделя, путавшего Вагнера с Гегелем, до “идеалистов” Байрейтских листков, путавших Вагнера с собою» (*Ессе*, 90\737, 2). Неразборчиво заместительный импульс, запущенный Вагнером, хотя и влечет за собой всю «нечистоту», что связана с его христианским происхождением («Когда я читаю партитуру “Тристана”, я надеваю перчатки» [*Will*, 555]), также выполняет другую функцию, которую Ницше сложнее отвергнуть: функцию построения сообщества через механизм взаимного признания, что появляется благодаря взаимопроникновению, среди «посвященных», желания и идентификации. Само акцентирование «тайного», «любопытного», «странного», «неведомого»,

«безымянного», терминов, что живописно сводят воедино открытый секрет с секретом пустым, бросает вызов этому признанию.

Одна из наиболее уайльдианских функций, которую опера выполняет у Ницше, — это закрепление риторики декаданса. Вагнер здесь служит великолепным фоном для эротической грамматики Ницше: сам будучи достоверяемо гетеросексуально активным, если не гиперактивным, он тем не менее, так же как Ницше, запускает процесс кристаллизации в перенасыщенном растворе того, что было — или вот-вот должно было стать — гомосексуальными означающими. Основанная под пресловутой эгидой Людвига II, вагнерианская опера представляла собой в культуре путеводную звезду для того, что Макс Нордау в «Дегенерации» обозначает как «ненормальное»; неутомимый таксоном Крафт-Эбинг упоминает гомосексуального пациента, «горячего сторонника Рихарда Вагнера, пристрастие к которому я отмечаю у большинства из нас {страдающих от «обратного сексуального чувства»}; я считаю, что эта музыка соответствует очень многому в нашей природе».⁶⁶ Так что когда Ницше говорит о «невероятно патологической сексуальности» Вагнера (*Will*, 555), он может характерным образом подключаться к энергии возникающих тропов гомосексуальности и пополнять ее запасы, не упоминая о гомосексуальности как таковой вообще. Ретроспектива конца двадцатого века позволяет увидеть, как мы уже отмечали, практически единственный подвид из всего богатства сексуальностей девятнадцатого века, что представляет собой *всю* патологию (так же, как фраза о «сексуальной ориентации» сегодня отсылает почти исключительно к гендеру объектного выбора); чтение Ницше через такую тенденциозно настроенную оптику — это, безусловно, насилие над смыслом написанного им, но такое насилие, от которого он никак не остается в стороне.

И тематика, и аргументация декаданса у Ницше близки к тематике и аргументации рессентиментальности: рыхлость расслаивающейся кожиры, как у «перезрелой, многосторонней и избалованной совести» христианства (*По ту сторону*, 57\278, 2), осязаемое зияние, сползание, брожение там, где должна быть твердость, — как в увертюре к *Мейстерзингерам*, у которой «дряблая, поблекшая кожа слишком поздно созревающих плодов» (*По ту сторону*, 151\359, 2). Хотя негативная оценка, связанная с *ressentiment* как таковым — *ressentiment* под его собственным именем, — одно из наиболее стойких этических суждений Ницше, тем не менее понятно, что его мастерство психолога рессентиментальности требует также и его собственной подвластности ее процессам. Всякому, кто прошел обучение у Ницше, будет легко продемонстрировать наличие *ressentiment* в наиболее мощной его мысли, принимая во внимание как отсутствие у Ницше какого-либо другого сравнимо психологизированного альтернативного подхода к человеческим эмоциям, так и то, что в саму терминологию *ressentiment* включено представ-

ление о неразделимости предполагаемой активности эмоции и предполагаемой пассивности восприятия, что деградация *re-* уже входит в сам смысл *sentiment*. Однако Ницше в явной форме говорит о *décadance* то, что о *ressentiment* мы должны сказать сами — насколько всеобъемлющего его признание, в виде ли прославления или порицания, входит в беспредельную логику, среди всего прочего, гомосексуальной атрибуции, посредством которой *познавать захватывает*:

«Чтобы отнестись справедливо к этому сочинению {«Казус Вагнер»}, надо страдать от судьбы музыки, как от открытой раны. Отчего страдаю я, страдаю от судьбы музыки? — Оттого, что музыка... сделалась музыкой *décadance* и уже перестала быть свирелью Диониса... Но если кто-нибудь, подобно мне, чувствует в деле музыки *собственное* дело, историю *собственных* страданий, то он найдет это сочинение все еще слишком снисходительным, слишком мягким... — Я любил Вагнера. — Впрочем, в смысле и на пути моей задачи лежит нападение на более тонкого “незнакомца”, которого другой не легко разгадает» (*Ессе*, 119\757, 2).

Его чутье на декаданс ведет прямо к его близости декадансу; соответственно, способность других подозревать его в декадансе ведет к их собственной декадансу близости.

«У меня более тонкое, чем у кого другого, чутье восходящей и нисходящей эволюции; в этой области я учитель *par excellence* — я знаю ту и другую, я воплощаю ту и другую. — Мой отец умер тридцати шести лет: он был хрупким, добрым и болезненным... Один врач, долго лечивший меня как нервнобольного, сказал наконец: “Нет! больны не Ваши нервы, я сам лишь болен нервами”... — Длинный, слишком длинный ряд лет означает у меня выздоровление — он означает, к сожалению, и обратный кризис, упадок, периодичность известного рода *décadance*. Нужно ли после этого говорить, что я *испытан* в вопросах *décadance*? Я прошел его во всех направлениях, взад и вперед» (*Ессе*, 38–39\698–9, 2).

«Но вот что самое странное: после {испытания долгой болезнью} появляется другой вкус — *второй* вкус. Из этих бездн, а также из бездны великого позорения возвращаешься рожденным заново, сбросив старую кожу, более чувствительным и саркастическим, с более изысканным вкусом к наслаждению, с языком, настроенным на все хорошее... более ребячливым и в то же время в тысячу раз более утонченным, чем был когда-либо прежде» (*Contra*, 681).

Относительно расслабленная открытость, с которой признается эта эпистемологическая структура, означает, что декаданс, в отличие от *ressentiment*, которому он во всех иных отношениях выглядит соответствующим очень близко, Ницше часто может обсуждать, не прибегая к жестокой, обвинительной машинерии проективного отрицания:

«Мы, европейцы послезавтрашнего дня, мы, первенцы двадцатого столетия, — при всем нашем опасном любопытстве, при нашей многосторонности

и искусстве переодевания, при нашей дряблой и как бы подслащенной жестокости ума и чувств, — нам, вероятно, *будь* у нас добродетели, выпали бы на долю лишь такие, которые могли бы прекрасно ладить с самыми тайными и самыми близкими нашему сердцу склонностями, с самыми жгучими нашими потребностями. Что ж! Поищем-ка их в наших лабиринтах...» (*По ту сторону*, 681\339, 2).

В самом деле, возможно, наиболее изысканная эротическая медитация девятнадцатого века возлежит, разметавшись, в этом подкожном брожении декадента, в «бесчисленном множестве тонких дрожаний до самых пальцев ног» (*Ессе*, 102–3\747, 2), расходящихся от точки проникновения, объект которого — и «я» и «не-я». Где, например, провести границу между «я» и другим во встрече Ницше с его собственной книгой «Утренняя заря»?

«Еще и теперь, при случайном моем соприкосновении с этой книгой, почти каждое предложение становится крючком, которым я снова извлекаю из глубины что-нибудь несравнимое: вся ее кожа дрожит от нежной дрожи воспоминаний» (*Ессе*, 95\741, 2).

Как Ницше говорит о своем идеале, «для дионисического человека невозможно не понять какого-либо внушения, он не проглядит ни одного знака аффекта... Он входит во всякую шкуру...» (*Сумерки*, 73\599, 2).

Произвольность/Зависимость; Космополитическое/Национальное

В содержательной книге Ричарда Гилмана «Декаданс» говорится о том, что львиная часть мощной иллюзии значения, сцепленного с понятием «декаданс» — с понятием, абсолютную концептуальную бессодержательность которого он демонстрирует, — видимо, относится к несколько более тематически насыщенной, полезной и пугающей гибкости в отношении этого понятия к визуализированному очертанию индивидуального организма. «Как прилагательное, — пишет, в частности, Гилман, —

“декадентский” функционирует сегодня в качестве покрытия, гладкой эмалированной кожи, прилагаемой к чему-то “нездоровому”, но не окончательно грешному; как существительное, это слово существует как тревожащая субстанция с подвижными, пузырящимися очертаниями, подобно некоему живому и угрожающему гелю из научно-фантастического фильма ужасов».⁶⁷

Фактически, хотя интерес к рассмотрению подобных вопросов в книге Гилмана не выражен, она показывает, что «декаданс» — это главное симптоматическое лабораторное слово, применяемое во всяком исследовании последствий нередуцируемой имманентности антропоморфного в рамках самой теории. Определенно, это совершенно верно в случае Ницше. И хотя, как мы видели, тропизм Ницше в отношении тематики такого органа, как кожа, — ее плотное прилегание, ее целостность

ее маскирующие свойства, ее разрывы и повреждения, та поверхность для заместительных отношений, которой она готова или не готова послужить, — хотя все это ни в коей мере не влечет с *необходимостью* позицию параноидного защитного исключения, едва ли не встроенный в данную метафорику потенциал к такой позиции с неизбежностью разветвится также и в политической карьере этой метафоры.

Некоторые наиболее важные рубрики, под которыми волею судеб развернулась работа по атрибутированию декаданса, и в ницшеанской мысли, и в окружающей [ее] культуре, другие дефиниционные ядра, что сами находятся под напряжением, включают в себя отношения естественного к искусственному, здоровья к болезни, произвольности к зависимости [addiction], еврея к антисемиту, национального самосознания к космополитизму. Привычное ницшеанское ассоциирование вагнеровской сентиментальности с наркотиками и наркотической зависимостью, например вагнеровского «наркотического искусства» (*Esse*, 92\738, 2) с «ядом» (*Esse*, 61\715, 2) «гашишного мира» «странных, тяжелых, обволакивающих испарений» (*Will*, 555), вытекает из произведенной в конце девятнадцатого века реклассификации употребления внутрь опиатов (что ранее рассматривалось в худшем случае как дурная привычка), реклассификации под медиализующей эгидой *зависимостей* и соответствующим новым социальным феноменом нарко-субкультур — эволюции, что была параллельна эволюции гомо/гетеросексуального определения, но также и включала ее в себя.⁶⁸ Так, Ницше говорит об «общем заблуждении инстинкта», что может притягивать молодых немцев к искусству Вагнера, «одна противоестественность буквально *вынуждает* другую» (*Esse*, 91–92\738, 2). В «Портрете Дориана Грея», так же, например, как в «Докторе Джекиле и мистере Хайде», наркотическая зависимость как маскирует, так и выражает динамику однополого желания и запрета на него: обе книги начинаются, в общем-то, как истории эротических отношений между мужчинами, а заканчиваются как поучительные притчи о тех, кто злоупотреблял кое-чем в одиночестве. Эти две новые таксономии — наркомана и гомосексуала — конденсируют в себе многое из схожей проблематики в культуре конца девятнадцатого века: старая антисодомитская оппозиция чего-то, что называется естественным, и того, что *contra naturam*, в вероломной кажущейся схожести смешивается с новой оппозицией субстанций *естественных* (например, «еды») и *искусственных* (например, «наркотиков») и таким образом — с характерным для двадцатого века способом проблематизации почти всего, что относится к воле, когда сами желания разделяются на естественные, называемые «нуждами», и искусственные, называемые «зависимостями». Похоже на то, что материализующаяся классификация некоторых конкретных, осязаемых субстанций как неестественных в их (искусственно стимулирующем) отношении к «естественному» желанию должна с необходимостью

приводить к вопросу о естественности любого желания вообще (Уайльд: «О, удовольствие можно находить во всем, что входит в привычку» (236/262)), так что ницшеанское гипостазирование Воли «как таковой», например, с необходимостью становится частью того же исторического процесса, что включает в себя происходящую в девятнадцатом веке изоляцию зависимости «как таковой».⁶⁹ И никакая индивидуальная практика в нашей сегодняшней культуре не может избежать этой неумолимой решетки накладывающихся друг на друга классификаций — этой смыслопорождающей таксономической системы, что фактически не делает ничего, кроме проталкивания исторически специфичной точки напряжения в область неразрешимого вопроса о произвольности. Хорошим примером здесь является эволюция современной мысли, относящейся к питанию: концепция зависимости от пищи с необходимостью приводит к концепции зависимости от диет, а та, в свою очередь, — к концепции зависимости от физических упражнений: каждое утверждение *воли* приводит к тому, что произвольность как таковая начинает казаться проблематичной в некоторой новой сфере, с теми последствиями, что само это утверждение воли начинает выглядеть как зависимость. (Фактически, недавно мы были свидетелями журналистского бума, базирующегося на том утверждении, что программы борьбы с зависимостями — такие, как «Анонимные Алкоголики» и другие, построенные по ее модели, — сами приводят к зависимости от них.) В некоторой современной литературе по самопомощи можно прочесть — это написано черным по белому, — что всякая наличествующая в нашей культуре устойчивая форма поведения, желания, взаимоотношений и потребления корректно должна описываться как зависимость. Подобные формулировки, однако, не приводят их авторов к пониманию того, что слово «зависимость» именуется контрструктуру, всегда присутствующую внутри этического гипостазирования «произвольности», но заставляет их еще более слепо и с еще большим энтузиазмом выделять и изолировать некие новые пространства чистой произвольности.

«Декаданс» наркотической зависимости в этих текстах конца девятнадцатого века пересекается с двумя типами телесного определения, каждый из которых сам по себе наполнен до краев гомо/гетеросексуальной проблематикой. Первый тип — это национальное экономическое тело; второй — тело медицинское. Начиная с опиумных войн середины девятнадцатого века и вплоть до сегодняшних нюансов отношений США с Турцией, Колумбией, Панамой, Перу и никарагуанскими «контрас», драма «чуждых субстанций» и драма новых империализмов и новых национализмов были неотделимы друг от друга. Целостность (новых и оспариваемых) национальных границ, новые воплощения национальной воли и витальности быстро организовывались вокруг этих нарративов интроекции. Более того, начиная еще с Мандевилля,⁷⁰

опиумный продукт — плотно конденсированная, портативная, дорогая, коммерчески насыщенная субстанция, ценящаяся за уникальную способность сдвигать траекторию потребности последовательно и все дальше от гомеостаза биологической нужды, — очень зрелищным образом становится репрезентацией возникающих интуиций товарного фетишизма. Вещистский ориентализм «Дориана Грея», например, излучается «зеленой пастой, похожей на воск, со странно-тяжелым запахом», этим крайним средством для Дориана, переизлучается затем ее хранилищем, «китайской лакированной шкатулкой, черной с золотом, тончайшей отделки, с волнистым орнаментом на стенках, с шелковыми шнурками, которые были унизаны хрустальными бусами и кончались металлическими кисточками», а затем «флорентийским шкафом черного дерева с инкрустацией из слоновой кости и ляпис-лазури», к треугольному секретному ящичку, в недрах которого «инстинктивно» тянутся за шкатулкой пальцы Дориана (201–2235). Как и вагнерианская опера, «Дориан Грей» выполняет для своего времени перформативную работу по обеспечению европейского гей-сообщества возможностью взаимного признания и самовыстраивания через популяризацию — по крайней мере частично — того консьюмеризма, что уже позаимствовал экономическую модель торговли наркотиками.

Возьмем в качестве примера роскошно-экстравагантный путеводитель по стилю жизни, декорированию интерьеров и тканям, что предлагает нам сподручно озаглавленная 11-я глава «Дориана Грея». Здесь весь набор эпистемологических уплотнений вокруг желания, идентификации и чуткой, едва ли не параноидальной взаимности, атрибутируемой гомосексуальному признанию, сконденсирован в почти маниакальном повторении, еще более интенсивном, чем во всем романе в целом, наркотически окрашенных прилагательных «curious» [любопытный] и «subtle» [утонченный], этих двух патерианских терминов,⁷¹ что прослеживают в «Дориане Грее» гомосексуально-гомофобный путь одновременного эпистемологического усиления и онтологического изгнания. В отличие от родственных им ярлыков, практически неотчуждаемо пришитых к Клегерту в «Билли Бадде», эти прилагательные свободно плавают в тексте: «какой-то удивительный [curious] сон» (8\71), «непостижимая [curious] влюбленность художника» (17\80), «вибрировала порывистыми [curious] толчками» (26\87), «коварное [subtle] очарование» (26\87), «тонкая [subtle] усмешка» (27\87), «странное [curious] очарование» (28\89), «тончайший [subtle] флюид или своеобразный аромат» (44\102), «столь счастливая [curious] случайность» (44\102), «женщины выходят замуж из любопытства [are curious]» (55\112), «жадное любопытство [curiosity]» (57\113), «непонятная [curious] власть» (61\117), «какой-нибудь [curious] роман» (63\119), «тайное [a subtle sense of] удовольствие» (64\120), «яды столь тонкие [subtle]» (66\122), «удивительно [curious] жестокая логика

страсти» (66\122), «в силу какого-то [curious] расового инстинкта» (77\130), «редкие [curious] гобелены времен Ренессанса» (102\151), «наслаждения утонченные [subtle] и запретные» (119\165), «его странная [curious] тайна» (136\180), «неведомые [curious], еще никем не описанные грехи, которым самая таинственность их придает коварное [subtle] очарование» (137\180), «метафоры, монструозные, как орхидеи, и столь же нежных [subtle] красок» (140\183), «настоящая [subtle] симфония изысканных цветов» (144\186), «то [curious] равнодушие, которое не несовместимо с пылким темпераментом» (147\189), «его пленяли [subtle fascination]» (148\189), «своеобразное [curious] удовольствие» (148\190), «своеобразное [curious] удовлетворение» (150\191) и так далее до бесконечности. Кроме того, что оба слова почти насильственно пикантны и неинформативны, «любопытное» [curious] объединяет с «утонченным» [subtle] встроенная эпистемологическая нерешительность или удвоение. Каждое из этих слов, как утверждает «Оксфордский словарь английского языка», может описывать «интересный объект»: среди предлагаемых данным словарем значений «любопытного» [curious] в этом смысле находим «сделанный тщательно или искусно, изысканный, *recherché*, тонкой работы, чрезвычайно детализированный, неочевидный, утонченный, исключительный, вызывающий удивление... ненормальный [queer]. (Обычный современный объективный смысл)». Однако в то же время каждое прилагательное описывает, и почти в тех же терминах, то качество восприятия, которое всматривающийся субъект *привносит* в подобный объект: для характеристики «любопытного» [curious] «как субъективного качества людей» наш словарь упоминает, например, «тщательный, внимательный, озабоченный, предусмотрительный, пылкий, въедливый, утонченный». Итак, познаваемая вещь есть отражение направленного на нее импульса познания, значит, и то и другое описывается как избыток, «проработанная» интенсивность этой ситуации познания.

Использование этих эпитетов в фетишистски-проработанной 11-й главе фиксирует, с одной стороны, жадную на находки сосредоточенность любопытного или утонченного воспринимающего глаза или мозга, и, с другой стороны, более чем соответствующую запутанность любопытных или утонченных воспринимаемых объектов — в типичных случаях, импортированных или награбленных артефактов, ошеломительная плотность сокровищ на которых и «проработанность» работы, такой как вышивка, свидетельствуют о тех откровенных зверствах, которые они зачастую изображают — больше, чем освидетельствуют их; и более всего те «монструозные», «странные», «ужасные» (я говорю словами Уайльда) взыскания дани в виде драгоценных минералов, убийственного труда и безудержной эксплуатации зрения (обычно женского), которой европейские нации обложили Восток. «Однако скоро они ему

надоели. И по вечерам, сидя в своей ложе в опере, один или с лордом Генри, Дориан снова с восторгом слушал “Тангейзера”» (150\192).

Однако редуکتивным было бы заточить национальный вопрос, воплощенный в сексуальности «Дориана Грея», в рамки упражнения в ориентализме. Действительно, сама очевидность уайльдовского ориентализма, гее-утверждающего и гее-преграждающего одновременно, делает затруднительной задачу обернуться и увидеть очертания сексуального тела и национального тела, обрисованные его *оксидентализмом* [Occident — Запад]. Да, ориентализм оказывается прямо под рукой в качестве обозначения отношения к Другому, но весьма затруднительно (и, кажется, Уайльд стремился к тому, чтобы это вызывало трудности) сопротивляться взгляду на желаемое английское тело как просто на домашнее То же. Однако тождественность этого Того же — говоря иначе, *гомо-* природа этой сексуальности — не менее открыта вопросам, чем самоидентичность национальных границ домашнего. Ведь вопрос национального в собственной жизни Уайльда только во вторую очередь — хотя и глубоко — затрагивает вопрос о заморской империи по отношению к европейской *patria*. Но тем не менее: Уайльд, будучи амбициозным ирландцем, сыном, близким другом и протеже прославленного ирландского поэта-националиста, не мог не обладать в качестве фундаментального элемента своего чувства собственного «я» изощренно обостренной чувствительностью к тому, насколько, по очереди, пористыми, хрупкими, эластичными, жесткими, всеохватными, непроницаемыми и смертоносными были мембраны «домашнего» национального определения, означаемые пластичными и трудноуловимыми терминами «Англия», «Британия», «Ирландия». Действительно, сознание фундаментального и/или зарождающегося национального различия, уже включенного в национальное определение, должно было стать частью того, что Уайльд буквально воплотил в своей экспрессивной, отзеркаливающей, симптоматической позиции, которую он открыто занимал по отношению к своей эпохе. Точно волхв, поклоняющийся «золоторозовой изящной душе» — индивидуальной или обобщенной фигуре кого-то «изящного, златовласого, точно ангел»,⁷² выражающей в одно и то же время сексуальность, чувствительность, класс и исключительно английский национальный тип, — Уайльд, чье собственное физическое сложение было прямо противоположного свойства и (в этом контексте) — бесконечно менее аппетитным, желанным и подходящим, демонстрировал свое обычное сверхъестественное бесстрашие («свое обычное сверхъестественное бесстрашие», наглость *anglice*), столь настойчиво выдвигая на передний план собственное тело в качестве указателя на такие эротические и политические смыслы. Отчуждающая физическая наследственность Уайльда — раздающееся во все стороны тело от его матери, ирландской националистки, подозрительная смуглокожесть от его кельти-

зирующего отца — подчеркивала в каждом самодемонстративном жесте его личности и личины хрупкость, несходство, странность — и в то же время трансформативную энергию смены восприятия — нового «гомо-» гомосексуального воображения желания мужчины к мужчине. И под этим же давлением происходила драматизация неуклюжего несовпадения английского национального тела с ирландским, драматизация домашних основ, откуда предстоит развивать стабильное понимание национальных/имперских отношений.

У Ницше, куда более ярого антинационалиста, чем Уайльд, злостного антигерманиста, и с конца 1880-х также злостного антиантисемита (хотя и не скажешь, что он не был антисемитом), сцепление темы наркотиков с темой национального также вызывает опасную риторику «палки о двух концах». Ретроспективно он пишет, например:

«Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Ну что ж, мне был нужен Вагнер. Вагнер есть противоядие против всего немецкого *par excellence* — яда, я не оспариваю этого... Сделаться более здоровым — это шаг назад для природы, каков Вагнер... Мир беден для того, кто никогда не был достаточно болен для этого “сладострастия ада”... Я думаю, я знаю лучше кого-либо другого то чудовищное, что было доступно Вагнеру, те пятьдесят миров чуждых восторгов, для которых ни у кого, кроме Вагнера, не было крыльев; и лишь такой, как я, бывает достаточно силен, чтобы самое загадочное, самое опасное обращать себе на пользу и через то становиться еще сильнее: я называю Вагнера великим благодетелем моей жизни» (*Ессе*, 61\115–16, 2).⁷³

Характерный для Ницше жест — вызвать призрак зависимости, но в то же время утвердить трансцендентную или инструментальную волю, что можно было бы сформулировать как «но что касается меня, я могу так же легко бросить, как и начать». Способность пользоваться угрожающим зависимостью стимулом, не капитулируя перед ним, — описывается как признак похвальной силы. Так, например, «великая страсть может пользоваться убеждениями, может использовать их, но она не подчиняется им — она считает себя суверенной» (*Анти*, 172\680, 2). В «Заратустре» сказано, что секс «только для увядшего сладкий яд, но для тех, у кого воля льва, великое сердечное подкрепление и вино из вин, благоговейно сбереженное» (*Заратустра*, 188\136, 2).⁷⁴ Та двусмысленность, с которой Ницше описывает отношение иудаизма к декадансу, структурно тождественна его описанию его собственного отношения к тому, что угрожает зависимостью:

«По психологической проверке еврейский народ есть народ самой упорнейшей жизненной силы; поставленный в невозможные условия, он добровольно, из глубокого и мудрого самосохранения, берет сторону всех инстинктов *décadance* — не потому, что они им владеют, но потому, что в них он угадал ту силу, посредством которой он может отстоять себя *против* “мира”. Ев-

реи — это эквивалент всех *décadents*: они сумели *изобразить* их до иллюзии... Для той человеческой породы, которая в иудействе и христианстве домогается власти, т. е. для *жреческой* породы, — *décadance* есть только *средство*» (*Анти*, 135\650, 2).

Всякая опасность, которую для Европы девятнадцатого века представляют евреи девятнадцатого века, проистекает от того, что «то, что нынче называется в Европе “нацией” и, собственно, есть больше *res facta* [вещь сделанная], чем *nata* [рожденная] (даже порою походит на *res ficta et picta* [вещь вымышленная и разукрашенная] до того, что их легко смешать), есть во всяком случае нечто становящееся, молодое, неустойчивое, вовсе еще не раса, не говоря уже о таком *aere perennius*, как евреи» (*По ту сторону*, 163\370, 2).

Как всегда у Ницше, его неумолимое сопротивление приданию стабильной фигурации хотя бы одной только возможности миноритизирующей гомосексуальной идентичности заставляет нас трижды подумать, прежде чем вчитывать в эти пассажи то, что мы могли бы ожидать найти, скажем, у Пруста. Но и у Пруста такая фигурация не чересчур стабильна. Что касается Пруста, в романе которого сюжетные линии дрейфусарства и гей-распознавания являются организующими принципами друг для друга — так же, как и вообще для тех томов, где они развертываются, мистическая идентификация мужской гомосексуальности с *пред-национальным*, *пред-современным* династическим космополитизмом — как через фигуру Шарлю, так и через евреев — одержима (и не более того) духом некоего гей-сионизма или пангерманизма, нормализующих политик по той номинально этничной модели, что саму гомосексуальную идентичность могла бы подвести под влияние того, что Ницше называет «эта *névrose nationale*, которой больна Европа» (*Ессе*, 121\759, 2). Но в любом случае, каждый из них, похоже, пользуется эротикой декаданса для денатурализации тела национального самого по себе. Однако, на что нам уже намекает псевдопсихиатрическая позиция Ницше как диагноста в этой незабвенной формулировке, та точка, из которой разворачивается эта денатурализация, сама по себе может представлять новые проблемы.

Здоровье/Болезнь

Наиболее фатальным аспектом ницшевского понимания декаданса есть его философское доверие к медицинской модели человеческого тела. Как мы видели, у Ницше тематика декаданса как она есть не влечет за собой с *необходимостью* какую бы то ни было фобическую этическую оценку — и это остается справедливым, даже когда эта тематика, вновь и вновь пересекается тем, что было и что становилось основными, означающими актов любви между мужчинами и соответствующих идентичностей. Действительно, письмо Ницше богато на моменты, равно-

ценные признаниям в идентификации с означаемыми декаданса и желаний к ним — а иногда это просто написано черным по белому. Подобные признания, однако, вряд ли ослабляют ужасающе мощный узел обвинительных указаний на декаданс, поскольку властью над этим процессом облечена, как того исторически требует антропоморфизирующая логика этой метафоры, вооруженная и очень опасная экспертная наука о здоровье и гигиене.

Но все таки можно показать, что Ницше заключил со своей культурой только одно катастрофически ошибочное пари: пари на то, что весь тот прогресс, которого он добился в болезненной борьбе за отодвигание артикулированных основ своей мысли дюйм за дюймом все дальше от могильно магнетической оси добра/зла, может наиболее надежно закрепиться приколачиванием этих основ к якобы альтернативной, научно обеспеченной оси здоровья/болезни или жизнеспособности/болезненности. («Кто в этом пункте не заодно со мною, того считаю я *инфицированным*...» [*Ессе*, 97\742, 2]). Геноцидный потенциал его мысли, похоже, был ретроактивирован только через культурное развитие, которое, сколь бы предсказуемым оно ни выглядело для других, совершенно укрывалось от его взгляда. Это та неослабевающе зловеющая игра в прятки, в которую под маской наук о жизни и человека весь век играли импульсы этизации. И эта игра в прятки, в свою очередь, зависела от невидимой эластичности, с помощью которой, в ходе развития егенической мысли на рубеже веков и после, такие вещи, как «сильное», «слабое», «нация», «цивилизация», определенные классы, «раса» и даже сама «жизнь», обрели обновленные антропоморфные очертания индивидуального мужского тела и объекта медицинской экспертизы. Например:

«Взаимно воздерживаться от оскорблений, от насилия и эксплуатации, соизмерять свою волю с волею другого — это можно считать в известном грубом смысле добронравием среди индивидуумов, если даны нужные для этого условия (именно их фактическое сходство по силам и достоинствам и принадлежность к *одной* корпорации). Но как только мы попробуем взять этот принцип в более широком смысле и по возможности даже сделать его *основным принципом общества*, то он тотчас же окажется тем, что он и есть, — волей к *отрицанию* жизни, принципом распада и гибели. Тут нужно основательно вдуматься в самую суть дела и воздержаться от всякой сентиментальной слабости: сама жизнь *по существу* своему есть присваивание, нанесение вреда, преодоление чуждого и более слабого, угнетение, суровость, насильственное навязывание собственных форм, аннексия и по меньшей мере, по мягкой мере, эксплуатация — но зачем же постоянно употреблять именно такие слова, на которые клевета наложила издревле свою печать? И та корпорация, отдельные члены которой, как сказано ранее, считают себя равными — а это имеет место во всякой здоровой аристократии, — должна сама, если только она представляет собою живой, а не умирающий организм, делать по отношению к другим корпорациям все то, от чего воздерживаются ее члены по отношению друг к другу: она должна быть воплощенной волей к

власти, она будет стремиться расти, усиливаться, присваивать, будет стараться достигнуть преобладания — и все это не в силу каких-нибудь нравственных или безнравственных принципов, а в силу того, что она *живет* и что жизнь и *есть* воля к власти. Но именно в этом пункте труднее всего сломить общие убеждения европейцев; теперь всюду мечтают, и даже под прикрытием науки, о будущем состоянии общества, лишенном “характера эксплуатации” — это производит на меня такое впечатление, как будто мне обещают избрести жизнь, которая воздерживалась бы от всяких органических функций “Эксплуатация” не является принадлежностью испорченного или несовершенного и примитивного общества: она находится в связи с *сущностью* всего живого, как основная органическая функция, она есть следствие действительной воли к власти, которая именно и есть воля жизни» (*По ту сторону*, 174-175\380-81, 2).

От тела «индивидуума» к телу «здоровой аристократии», к телу самой «воли жизни»: эти заклинания отнюдь не беспроблемные метонимии, но антропоморфные псевдозэквиваленции, чей скользкий сциентизм скрывает то самое насилие, которое он претендует прославлять.

Так что когда Ницше решает, в одной из последних книг, предложить описание настоящего тела Христа, он выбирает термины, красноречиво конгруэнтные его собственным декадентским само-описаниям и в то же время красноречиво рассеянные по фигурации и нарративу, свойственным медицинской модели в наиболее опасно эластичных ее инкарнациях.

«И из Иисуса делать героя! — А что за недоразумение со словом “гений”! [...] Говоря со строгостью физиолога, здесь было бы уместно совершенно иное слово, слово “идиот”. Мы знаем состояние болезненной раздражительности *чувства осязания*, которое производит содрогание при всяком дотрагивании, при всяком прикосновении твердого предмета. Представим подобный физиологический *habitus* в его последнем логическом выражении: как инстинкт ненависти против *всякой* реальности...

Я называю это высшим развитием гедонизма, на вполне болезненной основе» (*Анти*, 141-42\ 655-56, 2).

Слово «идиот» указывает тут направление на бледную мужскую пугливую звезду эротического потока и прибавки: «Можно было бы пожалеть, что вблизи этого интереснейшего из *décadents* не жил какой-нибудь Достоевский, кто-либо, кто сумел бы почувствовать захватывающее очарование подобного смещения возвышенного, большого и детского» (*Анти*, 143\ 656-57, 2). Ничто у Ницше не дает нам разрешения прочитывать это как всего лишь насмешку; и ничто не дает нам разрешения, достаточного для того, чтобы прочитывать это как будто не о самом Ницше. Но тем же жестом слово «идиот» указывает также на таксономические и крайне евгенические науки о «болезненном» — науки, что незаметно движутся туда и обратно между обрисовыванием очерта-

ний и составлением диагноза в отношении индивидуального тела — и укреплением этики коллективной гигиены, в бесконечно эластичном масштабе, в ответ на химеру демографического вырождения и фатально немой рой филогенетических фантазий. Оно указывает на геноцидное пространство взаимопроникновения, на странице «По ту сторону добра и зла», в отдельном взятом мужчине, «ухудшения *европейской расы*» и «желания сделать из *человека* возвышенного *выродка*» (*По ту сторону*, 70—71\290—91, 2; курсив И. К. С.).

Так что может быть, что большая часть того наследия, что сегодня устанавливает «сентиментальность» и ее еще более неуловимого, да, еще более невозможного Другого в определяющем центре столь многих суждений, и политических, и эстетических, столь активно вторгаясь в каждый всплывающий вопрос о национальной идентичности, постколониальном популизме, религиозном фундаментализме, о высокой массовой культуре, об отношениях между расами, отношении к детям, к другим видам, к земле, а также, наиболее очевидным образом, об отношениях между гендерами и сексуальностями и внутри них — может быть, что структурирование столь большей части культурной работы и апперцепции вокруг этого невозможного критерия представляет собой некий осадок или остаток от эротического отношения к мужскому телу, отношения исключенного, но всосанного в дополнительно к молчаливо этизованным медицинским антропоморфизациям, что на протяжении всего нашего века обладали столь большой властью.

Антисентиментальность никогда не будет адекватным Другим для «сентиментального», но только топливом для его заразных расщеплений и фигураций, и это означает, что источники отваги или комфорта нашего гомофобно гальванизированного века останутся особенно уязвимыми перед невозможностью мужского первого лица, неожиданной банальностью антропоморфного — для тех, кто надеется (как написал Оден в 1933 году), что:

Нас время разлучит, но не послужит
Тем вечерам могилой; помнишь, ужас
На круг друзей старался не смотреть,
Выпрыгивали горести из тени
И львиной мордой тыкались в колени,
И свой грессбух откладывала смерть.⁷⁵

¹ Herman Melville, *Pierre; Israel Potter; The Piazza Tales; The Confidence-Man; Uncollected Prose; Billy Budd* (New York: Library of America, 1984), p. 1354. (Мелвилл Г. Билли Бадд, фор-марсовый матрос // Тайпи: Повести. — Симферополь: Таврия, 1990. С. 246.) Дальнейшие цитаты из этой книги будут снабжены указаниями на номера страниц непосредственно в тексте.

² Oscar Wilde, *The Picture of Dorian Gray* (Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1949), p. 7. (Уайльд О. Портрет Дориана Грея // Избранное. — М.: Издательство «Правда», 1989. С. 71) Дальнейшие цитаты из этой книги будут снабжены указаниями на номера страниц непосредственно в тексте.

³ Эжен Атже (Eugene Atget, 1857—1927), французский фотограф, сделавший более 10000 снимков Парижа и его обитателей; начинал как матрос, затем стал актером, затем пробовал себя в качестве художника и наконец в возрасте 40 лет обратился к фотографии. Для его снимков характерен документальный лаконизм и отсутствие риторических излишеств, свойственных фотографии на ранних этапах ее развития. — *Прим. перев.*

⁴ Steakley, *The Homosexual Emancipation Movement in Germany*, pp. 14, 33.

⁵ О Бранде и Фридляндере см. Steakley, *The Homosexual Emancipation Movement in Germany*, pp. 43—69; о *Kümmerlinge* — pp. 46—47.

⁶ Так назывались в восемнадцатом веке в Англии заведения, где собирались мужчины-гомосексуалы и травести; сам термин «molly» обозначал как посетителей этих заведений и «женственных» мужчин-гомосексуалов, так и «женоподобных» мужчин вообще; иногда считают, что он употреблялся травести еще в Средние века и возник или от женского имени «Mary» или «Mary-Ann», или от латинского слова «mollis» — мягкий. «Дома молли» были местом общения мужчин-геев в основном из «нижних классов», не аристократов. Одна из недавних работ, посвященных этой субкультуре, — Rictor Norton, *Mother Clap's Molly House: The Gay Subculture in England 1700—1830* (London: GMP, 1992). — *Прим. перев.*

⁷ Friedrich Nietzsche, *Twilight of the Idols/The Anti-Christ*, trans. J. R. Hollingdale (New York: Viking Penguin, 1968), p. 110. Дальнейшие цитаты из этого издания будут приводиться в тексте указанием на номера страниц и помечаться как *Сумерки* или *Анти*. [Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом // Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: «Мысль», 1990. С. 629. Все дальнейшие цитаты из данного двухтомника будут помечаться номером страницы и тома. — *Прим. перев.*]

⁸ Friedrich Nietzsche, *Thus Spoke Zarathustra*, trans. Walter Kauffmann (New York: Viking Compass, 1966), p. 123. Дальнейшие цитаты из этого издания будут приводиться в тексте указанием на номера страниц и помечаться как *Заратустра* [Так говорил Заратустра // Т. 2. С. 88].

⁹ Friedrich Nietzsche, *Ecce Homo*, trans. J. R. Hollingdale (New York: Penguin, 1979), p. 99. Дальнейшие цитаты из этого издания будут приводиться в тексте указанием на номера страниц и помечаться как *Ecce* [Ecce Homo // Т. 2. С. 744].

¹⁰ Один пример из многих (Friedrich Nietzsche, *Beyond Good and Evil*, trans. J. R. Hollingdale (New York: Viking Penguin, 1973), p. 161; дальнейшие цитаты из этого издания будут приводиться в тексте указанием на номера страниц и помечаться как *По ту сторону* [По ту сторону добра и зла // Т. 2. С. 368]):

«Есть два вида гения: один, который главным образом производит и стремится производить, и другой, который охотно дает оплодотворять себя и рождает. Точно так же между гениальными народами есть такие, на долю которых выпала женская проблема беременности и таинственная задача формиро-

вания, вынашивания, завершения, — таким народом были, например, греки, равным образом французы, — но есть и другие, назначение которых — оплодотворять и становиться причиной нового строя жизни — подобно евреям, римлянам и — да не покажется нескромным наш вопрос — уж не немцам ли? — народы, мучимые и возбуждаемые какой-то неведомой лихорадкой и неодолимо влекомые из границ собственной природы, влюбленные и похотливые по отношению к чуждым расам (к таким, которые «дают оплодотворять себя» и при этом властолюбивые).

Спрашивать у Ницше, кто есть я, а кто — *другой* в этих драмах беременности столь же бесполезно, сколь и о чем бы то ни было еще. Отношение к Заратустре можно принять за эмблематичное:

«Да буду я готов и зрел в великий полдень: готов и зрел, как раскаленная добела медь, как туча, чреватая молниями, и как вымя, вздутое от молока,

— готов для себя самого и для самой сокровенной воли своей: как лук, пламенеющий к среде своей, как стрела, пламенеющая к звезде своей;

— как звезда, готовая и зрелая в полдне своем, пылающая, пронзенная, блаженная перед уничтожающими стрелами солнца;

— как само солнце и неумолимая воля его, готовая к уничтожению в победе!» (*Заратустра* 214—215/156, 2).

¹¹ Уолтер Патер (Walter Horatio Pater, 1839—94), английский критик и эссеист, лекции которого Уайльд слушал в Оксфорде. Считается, что именно взгляды Патера и Рескина (также преподававшего в то время в Оксфорде; позже Рескин был предметом пристального внимания Пруста) — Патер прославлял итальянский Ренессанс, Рескин — Средневековье и прерафаэлитов, но оба проповедовали культ прекрасного — оказали наиболее сильное влияние на формирующийся эстетизм Уайльда. — *Прим. перев.*

¹² Как пример этой смеси эротизма и запрета, что характеризует этот натянутый лук, я процитирую «С высоких гор» (*По ту сторону*, 203—4/406, 2) — брачную песнь в саду с Заратустрой. Будущий союз певца с Заратустрой превратил его в объект нескazanного ужаса для других его друзей:

Стал *злым* ловцом я! Лук натянут мой

Крутой дугою!

Кто обладает силою такою?

Но он грозит опасною стрелой,

Бегите же скорей от смерти злой!..

...

Одной надеждой с ними жило ты [сердце],

Но бледно стало,

Что некогда любовь в нее вписала.

Кто вас прочтет, истлевшие листы

Письмен, хранивших юные мечты?

И если предположить, что «далеко напряженный» ритм относится к тому же самому ощущению натянутого лука:

«Понятие откровения в том смысле, что нечто внезапно с нескazanной уверенностью и точностью становится *видимым*, слышимым и до самой глу-

бины потрясает и опрокидывает человека, есть просто описание фактического состояния. Слышишь без поисков; берешь, не спрашивая, кто здесь дает; как молния, вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме, не допускающей колебаний, — у меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в потоках слез, при котором шаги невольно становятся то бурными, то медленными; частичная невменяемость с предельно ясным сознанием бесчисленного множества тонких дрожаний до самых пальцев ног... инстинкт ритмических отношений, охватывающий далекие пространства форм — продолжительность, потребность в далеко напряженном ритме, есть почти мера для чувства вдохновения, своего рода возмещение за его давление и напряжение... Все происходит в высшей степени произвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, силы, божественности... Действительно, кажется, вспоминая слова Заратустры, будто вещи сами приходят и предлагают себя в символы. (“Сюда приходят все вещи, ластясь к твоей речи и льстя тебе: ибо они хотят скакать верхом на твоей спине. ...”)¹³ (Esse, 102–3\746–7, 2).

¹³ Один из известнейших исполнителей кантри (родился в 1933 году). — Прим. перев.

¹⁴ Другой известный исполнитель кантри (родился в 1937 году), в 1990-х участвовал в совместном с Вилли Нельсоном и другими музыкантами проекте «Highwaymen» («Разбойники с большой дороги»). Оба успешно продолжают выступать и записывают новые альбомы. — Прим. перев.

¹⁵ Ответ на письмо-реплику в адрес рецензии, цитируемой ниже, J. M. Cameron, in *New York Review of Books* 33 (May 29, 1986): 56–57.

¹⁶ J. M. Cameron, «The Historical Jesus» (рецензия на Jaroslav Pelikan, *Jesus through the Centuries: His Place in the History of Culture*), *New York Review of Books* 33 (February 13, 1986): 21.

¹⁷ J. M. Cameron, «The Historical Jesus», p. 22.

¹⁸ «Длинная черная шаль» (“Long Black Vail”) — очень популярная песня в стиле кантри, написанная в 1959 году (слова — Денни Дилл, музыка — Мэри-он Уилкин). Сюжет: Обвиненный в убийстве не может доказать свое алиби, поскольку в момент совершения преступления «лежал в объятьях» жены лучшего друга, которая и посещает впоследствии по ночам его могилу, надев длинную черную шаль. Песня претерпела множество римейков (существует мнение, что она исходно не была оригинальна), один из них входит в альбом Ника Кейва 1986 года «Kicking Against the Pricks» («Стукнуть так, что больно самому»). — Прим. перев.

¹⁹ Строчка из кантри-хита «Роки» середины 1970-х годов. Структура этой песни (посвященной, грубо говоря, любви до гроба и немного после) как грамматическая, так и нарративная очень напоминает структуру песен, процитированных в начале раздела. Автор и исполнитель — Рональд Дж. Джонсон, он же Джей Стивенс, он же Вуди П. Сноу, ныне ди-джей одной из радиостанций на юго-западе Миссури. — Прим. перев.

²⁰ *Dear Abby* — колонка ответов на письма читателей практически во всех крупных газетах США (а также соответствующая программа на ТВ и т. д.). Ее особенность — «задушевность» в стремлении помочь читателям в их пробле-

мах и «политика добрых дел»; за 45 лет своего существования «Дорогая Эбби» провела немало филантропических и информационных национальных кампаний. Была задумана и реализована в газете *San Francisco Chronicle* в 1956 году Полиной Филлипс, взявшей псевдоним «Эбигейл Ван Бурен», от которого и было образовано название колонки; почти сразу же к Полине Филлипс примкнула ее дочь Джина. Это предприятие мгновенно завоевало национальную популярность, что не угасает до сих пор. — Прим. перев.

²¹ См., например, Jane P. Tompkins, *Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790–1860* (New York: Oxford University Press, 1985).

²² Песенка Дороти из классического фильма MGM 1939 года «Волшебник страны Оз». «За радугой» и находится страна Оз; согласно песенке, Дороти слышала об этой стране; она узнала о ней из колыбельной... — Прим. перев.

²³ Здесь можно обратиться к примерам Ахилла и Патрокла, Вергилиевых пастухов, Давида и Ионафана, к иконографии св. Себастьяна, к элегической поэзии Мильтона, Теннисона, Уитмена и Хаусмана или к «Некрологии» «Целлулоидного чулана» Вито Руссо...

²⁴ Привлек мое внимание к важности этого феномена Нейл Герц, особенно в ходе дискуссий в ответ на его эссе: Neil Hertz, «Medusa's Head: Male Hysteria under Political Pressure», in *The End of the Line: Essays on Psychoanalysis and the Sublime* (New York: Columbia University Press, 1985).

²⁵ Подполковник Оливер Норт играл ключевую роль в военных операциях США во Вьетнаме, Гренаде, и т. д.; особенно стал заметен при Рейгане (вошел в Совет национальной безопасности); замешан во многих военно-политических скандалах, связанных с военным участием США, например, в Иране и Никарагуа. В настоящее время активная медиа-фигура, много печатается, показывается на ТВ, ведет общенациональное радишоу. — Прим. перев.

²⁶ Устойчивый штамп в американской поп-музыке; вероятнее всего, автор имеет в виду песню, исполнявшуюся в конце 1950-х—начале 1960-х Джеки Уилсоном. — Прим. перев.

²⁷ Еще один распространенный штамп. Можем припомнить песню «А-На» (римейк песни «Everly Brothers» эпохи 1960-х) или Ковердейла (из альбома «Whitesnake» 1982 года, «Saints and sinners»). — Прим. перев.

²⁸ Склейка штампов из популярных в США песен середины 1960-х. — Прим. перев.

²⁹ Еще одна популярная в начале 1960-х песня группы «Everly Brothers». — Прим. перев.

³⁰ Ричард Бернард Скелтон (1913–1997) один из самых известных послевоенных клоунов и комиков США (его *The Red Skeleton Show* входило в топ-твенти NBC и CBS двадцать лет — с 1951 г. по 1971 г.). — Прим. перев.

³¹ Gore Vidal, «A Good Man and a Perfect Play» (review of Richard Ellmann, *Oscar Wilde*), *Times Literary Supplement* (October 2–8, 1987): 1063.

³² Дело в том, что Видал буквально повторяет фразу Уайльда (заменяя только объект чтения), сказанную тем по поводу смерти маленькой Нелл, персонажа «Лавки древностей» Диккенса. — Прим. перев.

³³ *The Complete Works of Oscar Wilde* (Twickenham, Middlesex: Hamlyn 1963), pp. 732, 735. Дальнейшие цитаты из этого издания будут помечаться в тексте как *Complete*. [Баллада Рэдингской тюрьмы // Избранное. С. 51–52.]

³⁴ Уильям Купер (William Cowper, 1731–1800) — английский поэт. — *Прим. перев.*

³⁵ William Cowper, «The Castaway», lines 64–66, in the *Complete Poetical Works of William Cowper*, ed. H. S. Milford (Oxford: Humphrey Milford, 1913), p. 652. [Русский перевод (Е. Суриц) взят из: Вирджиния Вулф. На маяк. Флаш. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.]

³⁶ Речь идет о персонаже романа «На маяк», что всю третью (последнюю) главу одержим этими строками. — *Прим. перев.*

³⁷ Как важно быть серьезным // Оскар Уайльд. Пьесы. — М.: «Искусство», 1960. С. 466.

³⁸ «Эти неудачники: какое благородное красноречие льется из их уст. Сколько сахаристой, слизистой, безропотной покорности плещется в их глазах!» Friedrich Nietzsche, *The Birth of Tragedy and The Genealogy of Morals*, trans. Francis Golfing (New York: Doubleday Anchor, 1956), pp. 258–59 [К генеалогии морали // Т. 2. С. 493.]. Дальнейшие цитаты из этого издания будут приводиться в тексте указанием на номера страниц и помечаться как *Рождение или Генеалогия*.

³⁹ Центральное понятие «К генеалогии морали»; см., например, блестящий комментарий Свасьяна в примечаниях к этой работе (Т. 2. С. 784–786). «В общем *ressentiment* характеризуется как *психологическое самоотравление* со вполне выраженным со вполне выраженным поначалу детерминированным характером» (С. 785). — *Прим. перев.*

⁴⁰ В этом фрагменте, заключенном между двумя тире, автор переходит от прямых фонетических ассоциаций (как в предыдущих двух предложениях) к заместительным, например в *re-palpating* можно легко заподозрить перифраз *re-sentience*, от которого до *resentment* меньше, чем полшага, и т. д. — *Прим. перев.*

⁴¹ Пересказано в Gilles Deleuze and Félix Guattari, *Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia*, trans. Robert Hurley, Mark Seem, and Helen R. Lane (New York: Viking, 1977), p. 110.

⁴² См., например, David Marshall, *The Surprising Effect of Sympathy: Marivaux, Diderot, Rousseau, and Mary Shelly* (Chicago: University of Chicago Press, 1989); Jay Caplan, *Framed Narratives: Diderot's Genealogy of Beholder* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986).

⁴³ Я имею в виду «снобизм», разумеется, не в смысле почтения перед высоким социальным положением, но в более полном смысле, поясненном Жираром, том смысле, чей базовый принцип, по Гручо Марксу, таков: «Я бы не вошел ни в один клуб, который бы меня принял». Именно это молчаливое очищение позиции «я» делает снобистское отношение столь полезной моделью для понимания отношений сентиментальных. См. René Girard, *Deceit, Desire, and the Novel: Self and Other in Literary Structure*, trans. Yvonne Freccero (Baltimore: John Hopkins University Press, 1965), pp. 53–82, 216–28.

⁴⁴ Girard, *Deceit, Desire, and the Novel*, pp. 72–73.

⁴⁵ Двойное «м» здесь отсылает к французскому *l'homme* — «мужчина, человек». — *Прим. перев.*

⁴⁶ Эта аргументация обсуждается в: Craig Owens, «Outlaws: Gay Men in Feminism», in Alice Jardine and Paul Smith, eds., *Men in Feminism* (New York: Methuen, 1987), pp. 219–32.

⁴⁷ Herman Broch, *Einer Bemerkungen zum Problem des Kitsches*, in *Dicten und Erkennen*, vol. 1 (Zurich: Rhein-Verlag, 1955), p. 295; популяризована эта теория, например, в Gillo Forfies, *Kitsch: The World of Bad Taste* (New York: Universe Books, 1969).

⁴⁸ Личное общение, 1986. Разумеется, начало дискуссий о кэмпе датируется «Заметками о “кэмп”» Сюзан Зонтаг, см. *Against Interpretation and Other Essays* (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1966). Один из подходов, что наиболее значительно сказался на моей книге с ее акцентом на теме открытого секрета, изложен в: Philip Core, *Camp: The Lie that Tells the Truth* (New York: Delilah Books, 1984).

⁴⁹ «КЭМП зависит от того, где ты кэмпингуешь... КЭМП — в глазах смотрящего, особенно если смотрящий — это кэмп». Core, «CAMP RULES», *Camp*, p. 7.

⁵⁰ Chauncey, «From Sexual Inversion to Homosexuality», p. 124.

⁵¹ Halperin, *One Hundred Years of Homosexuality*, p. 16.

⁵² Halperin, *One Hundred Years of Homosexuality*, p. 16.

⁵³ В самом деле, хотя этимологические корни штампа «гомо-сексуальность», возможно, вначале указывали на отношения (неопределенного типа) между людьми *того же пола*, мне кажется, что сегодня это слово практически всегда воспринимается как указующее на *сексуальные* отношения между людьми, которые, на основании их пола, огульно и тотально категоризируются как *тождественные*.

⁵⁴ Например, многие средиземноморские и латиноамериканские культуры проводят отчетливое разграничение между активными (*insertive*) и пассивными (*receptive*) сексуальными ролями при установлении маскулинности/феминности мужчин, вовлеченных в однополый секс; концепт гомосексуальной идентичности как таковой как будто не имеет отчетливого смысла в этих культурных контекстах, или же обретает такой смысл только для тех, кто идентифицирует себя как *jotos*, или *pasivos*, но не как *tachos*, или *activos*. И эти культуры так же относятся к культурам США, как и англо-европейская, и многие другие. См., например, Ana Maria Alonso and Maria Teresa Koreck, «Silences: “Hispanics”, AIDS, and Sexual Practices», *Differences* 1 (Winter 1989): 101–24.

⁵⁵ Об этом см. первую главу моей книги *Between Men*.

⁵⁶ В то же время это факт, что «гомосексуальность», будучи, в отличие от предшествующих ей терминов, выстроенной на дефиниционном сходстве, была первым фрагментом современного сексуального определения, что просто пренебрегает разграничением между отношениями идентификации и отношениями желания, а значит со всем радикализмом ставит под вопрос кросс-гендерные отношения и затем само гендерное определение. Первый раз со времен, по крайней мере, Ренессанса возникла потенциальная возможность

дискурса, в котором желание мужчины к женщине не гарантировало бы его отличие от нее и в котором это желание могло бы даже указывать на его сходство с ней. Подобная возможность — это явное противоречие в гендерных определениях *гомо/гетеро*, и вместе с тем — явное их следствие; тем самым сформировался некий концептуальный узел, и можно сказать, что его распутывание стало определяющим проектом, постоянно находящимся под угрозой срыва, но постоянно же и продуктивным, проектом психоаналитической теории от Фрейда и до наших дней.

⁵⁷ Если, во всяком случае, в рамках этой новой дефиниционной возможности, то, что я *есть*, и то, что я *желаю*, может более не предполагаться различным, тогда каждый из этих терминов может подвергаться операциям перехода в другой. Мы видели, как и Уайльд, и Ницше камуфлируют то, что выглядит мужскими объектами мужского желания, под, «в конечном счете», нистые отражения разделенного «я». Что может действовать и в другом направлении: *гомо*-конструкция также предоставляет язык, в котором желающих мужчина может заявлять об обретении некоторых из привлекательных трибутов мужчины желаемого. У Ницше, например, невообразимая дистанция между болезненным философом, который желает, и теми решительными хозяевами мира», которых он желает, столь окончательно и бесповоротно нивелируется силой его риторики, что нас удивляет даже напоминание о том, что «некий Гомер не сочинил бы Ахилла, некий Гете Фауста, если бы Гомер был неким Ахиллом, а Гете неким Фаустом» (*Генеалогия*, 235/475, 2). И, как мы увидим, Уайльд представляет схожий двойной профиль.

⁵⁸ Для Ницше, чьи литературные импульсы в этом смысле не являются модернистскими, желаемая мужская фигура никогда не прекращает визуализироваться как фигура мужская, исключая, как мы уже отмечали, те случаи, когда смысл этого вида осознанно подавляется.

⁵⁹ «Psycho-analytic Notes upon an Autobiographical Account of a Case of 'aranoia (Dementia Paranoides)», in *Three Case Histories*, ed. Philip Rieff (New York: Macmillan/Collier, 1963), pp. 165–68.

⁶⁰ *The Will to Power*, trans. Walter Kaufmann (New York: Vintage, 1968), p. 520 (далее будет цитироваться в тексте с пометкой *Will*); *Ecce*, 40–41/700, 2.

⁶¹ Из письма к Якобу Бурхардту, датированному 6 января 1889 года; *The Portable Nietzsche*, ed. and trans. Walter Kaufmann (New York: Viking Penguin, 1976), p. 686.

⁶² *Nietzsche Contra Wagner*, in *The Portable Nietzsche*, p. 662 (далее будет цитироваться в тексте с пометкой *Contra*). «Как я могу уважать немцев, если даже мои друзья не могут отличить меня от такого лжеца, как Рихард Вагнер?» (вычеркнутые из *Ecce* фрагменты, см. в *Basic Writings of Nietzsche*, trans. Walter Kaufmann (New York: Modern Library, 1968), p. 798).

⁶³ Об этом см. *Between Men*, главы 5, 6, 9 и 10.

⁶⁴ Перевод Холлингдейла (*Ecce*, 98). Эта поэма — эпитафия к Четвертой книге *La gaya scienza* («Веселая наука»), переведена Вальтером Кауфманом в его издании этой книги (New York: Random House / Vintage, 1974), p. 221 [Русский перевод — «Веселая наука», 624, 1 \ «Ecce», 743, 2].

⁶⁵ Из «Опыта самокритики», введения 1886 года к переизданию «Рождения трагедии», *Basic*, pp. 19–20 [Рождение трагедии // Т. 1. С. 50].

⁶⁶ Nordau, *Degeneration*, trans. from 2nd ed. of the German work, 6th ed. (New York: D. Appleton), p. 452; Krafft-Ebing, quoted by Nordau, p. 452n, from Richard von Krafft-Ebing, *Neue Forschungen auf dem Gebiet der Psychopathia sexualis* (Stuttgart: F. Enke, 1891), p. 128.

⁶⁷ Richard Gilman, *Decadance: The Strange Life of an Epithet* (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1979), p. 175.

⁶⁸ См. об этом Virginia Berridge and Griffith Edwards, *Opium and the People: Opiate Use in Nineteenth-Century England* (New Haven: Yale University Press, 1987), pp. 229–69.

⁶⁹ Это рассуждение о воли и зависимости, а также о том, что наследует опиуму как фигуре империалистических отношений, построено на рассуждении в главе 10-й *Between Men*, pp. 180–200.

⁷⁰ Сэр Джон МанDEVИЛЛЬ, псевдоним автора «Путешествий сэра Джона МанDEVИЛЛЯ» (14 век, Англия), написанных в жанре путевых заметок путешественника по Востоку, но по большей части являющихся компиляцией. — *Прим. перев.*

⁷¹ См. сноску 11. — *Прим. перев.*

⁷² Обе цитаты взяты из писем Уайльда, и обе являются описанием лорда Альфреда Дугласа (Бози), его роковой любви. В 1895 году отец Бози, маркиз Квинсберри, публично обвиняет Уайльда в содомии, тот (подстрекаемый молодым любовником) подает в суд, что немедленно приводит к встречному иску. Уайльда помещают в лондонскую тюрьму Холлоуэй, где он каждый день видится с Бози; вторая цитата — из письма, написанного в этой тюрьме. Первая же цитата — из письма к Бози, датированного 1893 годом, посланного в ответ на сонет «Гиацинт» (написанный по-французски; этот сонет позже (1894) был опубликован в «Хамелеоне», журнале, факт существования которого способствовал раздуванию скандала вокруг Уайльда); письмо было выкрадено и цитировалось на первом судебном процессе, против Квинсберри, а затем и на втором, уже против Уайльда (был и третий процесс, закончившийся обвинением; на втором присяжные не смогли прийти к окончательному решению), — любопытно, что цитировался тот же фрагмент, что и у автора данной книги (с небольшой неточностью: Сэдживи заимствует «розовость» из предыдущей фразы письма, о губах Бози — «лепестках розы»). Через пятнадцать лет этими словами (Slim Gilt Soul) назовет одно из своих стихотворений Алистер Кроули, но это уже совсем другая история. — *Прим. перев.*

⁷³ Или об англичанах: «Более тонкие ноздри уловят даже и в этом английском христианстве истинно английский припах сплина и злоупотребления алкоголем, против которых эта религия вполне основательно применяется в качестве целебного средства, — именно, как более тонкий яд против более грубого: отравление утонченным ядом в самом деле является у грубых народов уже прогрессом» (*По ту сторону*, 165/371, 2).

⁷⁴ И далее: в одной из частей «Генеалогии морали» помещаются рядом, не противопоставляясь, «наркоз, усыпление» «бессильных, угнетенных» и здоро-

вая «стимулирующая забывчивость сила» «крепких и цельных натур» (*Генеалогия*, 172–73\426, 2).

⁷⁵ Из «Я на лугу раскинулся в кровати» (1933) [преподавая английский в Даунс Скул в 1932–35, Оден настоял, чтобы летом его кровать находилась не в помещении, а на лугу — *Прим. перев.*], стр. 29–32, *W. H. Auden: Selected Poems*, ed. Edward Mendelson (New York: Random House / Vintage, 1979); процитированные строки находятся на стр. 30. Я наткнулась на них, не читая Одена, но на странице некрологов в *New York Times*, July 23, 1988, где кто-то, пожелавший остаться неизвестным, купил место и воспроизвел на нем эти строки в память об умершем днем раньше человеке по имени Ник Нолден (Nick Knowlden).

ЗВЕРЬ В ЧУЛАНЕ

ДЖЕЙМС И ЛИТЕРАТУРА ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ПАНИКИ

Историография мужской гомосексуальной паники

В двадцать пять лет Д. Г. Лоуренс восхищался творчеством Джеймса М. Барри. Ему казалось, что оно помогало ему понять себя и объяснить себя. «Прочти “Сентиментального Томми” и “Томми и Гризель”, — писал он Джесси Чамберс. — Они помогут тебе понять, что есть я. Я отнущусь к абсолютно той же категории».¹

Четырнадцать лет спустя Лоуренс отнес Барри к тем писателям, которых он считал подходящими объектами авторского насилия. «Какой смысл в безысходности, если имеешь кованый ботинок, которым можешь [их] лягнуть? *Хватит Нищих Духом!* Война! Однако самыми Искусными, самыми интимными способами. Размозжить лицо тому, кто, как мы знаем, уже сгнил».²

Отнюдь не только в интимных битвах одного писателя произошли изменения с 1910 по 1924 годы. Однако склонность Лоуренса к мужественному брутальному отрицанию своей прежней идентификации с сексуально неопределенными персонажами отражает две довольно различные траектории: во-первых, конечно же, изменения в историческом и интеллектуальном контексте, в котором прочитывалась британская литература; но, во-вторых, однозно кристаллизованная литерализация как между мужчинами того, что было отображено в значимых романах Барри как та самая «Искусная, самая интимная война» в самом мужчине. В серии романов Барри также прослеживался интерес, не разделяемый Лоуренсом, к разрушающему воздействию этой маскулинной гражданской войны на женщин.

В предыдущих двух главах всеми возможными способами строились предположения о том, насколько глубоко проникает тема мужского гомо/гетеросексуального определения и насколько она может или, вернее, *должна* прочитываться в многослойной ткани, создавшей современную евро-американскую культуру. В этой главе (которая генетически, так уж случилось, представляет собой первый по времени этап всего данного исследования) я доказываю, что тот Барри, к которому Лоуренс относился сперва с такой легкостью, а затем с такой злостью, писал в постромантической традиции литературных медитаций на тему совершенно конкретной гомосексуальной паники. Писатели, чьи работы я также привожу здесь, включают в себя — кроме Барри — Теккеря, Джорджа Дюморье и Джеймса: странное смешение больших и маленьких имен. Низкопробность и компромиссность этой традиции окажутся, однако, не

менее важными, чем ее свежайшие образцы чопорности, поскольку одной из функций традиции является создание пути наименьшего сопротивления (или, в крайнем случае, патологии наименьшего сопротивления) для артикуляции ранее малоизвестного материала.

Еще одна проблема: эта традиция была скорее привнесенной, нежели изначально проявленной в британской литературе, и, следовательно, ее трудно с уверенностью распознать или же вписать в более широкий контекст беллетристики конца девятнадцатого — начала двадцатого века. Однако имеет смысл проследить эту традицию отчасти именно по этой причине: сложные вопросы характерологического и тематического воплощения весьма остро сопрягаются с другим кругом трудных вопросов, то есть того же сексуального определения и воплощения. Воображаемые противопоставления, которые в особенности структурируют этот тип литературы — респектабельность «против» богемности, цинизм «против» сентиментальности, провинциальность «против» космополитичности, бесчувственность «против» сексуальности, — кажется, помимо всего прочего, видоизменяют и прокладывают путь другой псевдооппозиции, которая крепко засела, заражая их, во внутренностях британских мужчин и через них вошла в жизнь женщин. Название этой псевдооппозиции, когда пришло время дать ей название, это, как мы уже отмечали, — гомосексуальность «против» гетеросексуальности.

В современной сексуальной историографии, например у Алана Брэя в его «Гомосексуальности английского Ренессанса», утверждается, что практически до времен Реставрации гомофобия в Англии, будучи довольно высокой, большей частью теологизировалась, носила характер анафемы по тону и структуре и не содержала когнитивного контекста в том смысле, как люди воспринимали и переживали свои собственные и чужие реальные практики.³ Гомосексуальность «совсем не представлялась частью существующего порядка», пишет Брэй, но [представлялась] как «часть его распада. И как таковая, она не была сексуальностью в своем праве, но существовала как возможность путаницы и беспорядка в конкретной неразделимой сексуальности».⁴ Если содомия была наиболее характерным определением противоестественности или самого Антихриста, она не являлась тем не менее, а возможно, именно поэтому, легко возникающим в сознании объяснением тем звукам, которые слышались с соседней кровати — или даже удовольствиям собственной постели. Однако, как показывает Брэй, к концу восемнадцатого века, с началом кристаллизации мужской гомосексуальной роли и мужской гомосексуальной культуры, стала распространяться гораздо более пронизательная и явно психологизированная светская гомофобия.

В «Между мужчинами» я доказываю, что эта ситуация была важна не только для установления системы наказаний для зарождающегося меньшинства проявленных гомосексуальных мужчин, но также и для

упорядочения мужских гомосоциальных связей, которые структурируют всю культуру — по меньшей мере, всю публичную, или гетеросексуальную, культуру.⁵ Этот аргумент следует леви-строссковскому определению культуры, подобно браку, в терминах «тотальных отношений обмена... установленных не между мужчиной и женщиной, но между двумя группами мужчин, [в которых] женщина выступает только как один из объектов обмена, а не как один из партнеров»;⁶ или же соглашается с Хайди Хартманн в ее определении патриархата как «отношений между мужчинами, имеющих материальную базу, которые, будучи иерархическими, все же устанавливают или создают взаимозависимость и солидарность между мужчинами, что позволяет им доминировать над женщинами».⁷ В этом контексте естественно предположить, что возникшая концепция светской психологизированной гомофобии, которая как будто обеспечивает новые обличительные или описательные обоснования для всего континуума мужских гомосоциальных связей, становится одновременно базисной и наиболее критикуемой концепцией.

Брэй описывает случаи ранних преследований законом мужской гей-субкультуры постреставрационного периода, сконцентрированных в местах, называемых «molly houses»,⁸ которые были нерегулярными и, по его словам, «погромоподобными» по структуре.⁹ Я особенно подчеркнула бы характерно террористическую или показательную сторону этой структуры: поскольку всякий гомосексуал не мог знать, явится он или нет объектом узаконенного насилия, правовые меры имели диспропорционально широкий эффект. В то же время это открыло возможность для более тонкой стратегии реагирования, для некой идеологической скрупулезности, которая распространила влияние этой театрализованной практики во многих направлениях. Как говорится в «Между мужчинами», следуя этой стратегии (или, лучше сказать, в этом пространстве стратегической возможности),

«не только мужчины-гомосексуалы не должны иметь возможности выяснить, станут ли они объектом “случайного” гомофобного насилия, но ни один мужчина не может быть уверен, что он не гомосексуален (и его связи тоже). Таким способом относительно малое употребление физического или правового принуждения способно установить широкий контроль над поведением и отношениями людей...

Так называемая “гомосексуальная паника” является наиболее приватной, психологизированной формой... социального давления гомофобного шантажа, который заставляет западных мужчин чувствовать свою уязвимость».¹⁰

Таким образом, как минимум в восемнадцатом веке в Англии и Америке континуум мужских гомосоциальных связей был жестоко структурирован секуляризированной и психологизированной гомофобией, которая исключала некоторые меняющиеся и более или менее произвольно определяемые сегменты континуума из участия во всеобщих мужских

привилегиях — в сложном сплетении мужской власти над производством, воспроизводством, товарообменом, людьми и значениями. Я утверждаю, что исторически меняющаяся, совершенно произвольная и противоречащая самой себе природа того, как *гомосексуальность* (и предшествующие ей термины) определялась по отношению к остальному спектру мужской гомосоциальности, явилась очень мощным и защищенным локусом власти надо всей системой мужских взаимосвязей, и, возможно, особенно над теми, кто определяет себя не как гомосексуалы, а по сравнению с гомосексуалами. Поскольку способы определения принадлежности к мужскому роду, особенно в девятнадцатом веке, требовали определенных интенсивных мужских связей, которые не так легко можно было отличить от самых непристойных связей, эндемическое и неискоренимое состояние, которое я называю гомосексуальной паникой, стало нормальным условием мужской гетеросексуальной принадлежности.

Некоторые последствия такого подхода к мужским взаимоотношениям требуют, как мне кажется, дальнейшего разъяснения. Прежде всего, как я говорила ранее, этот подход не основывается на изначальной дифференциации между «гомосексуальными по существу» и «гетеросексуальными по существу» мужчинами, помимо той исторически сложившейся малой группы осознающих и принимающих себя гомосексуалов, которые уже не подвержены гомосексуальной панике, как я определяю ее здесь. Если такие обязательные отношения, как мужская дружба, наставничество, отождествление себя с предметом восхищения, бюрократическая субординация и гетеросексуальное соперничество, включают в себя положения, которые толкают мужчин в нечетко очерченные, противоречивые и чреватые гонением зыбучие пески мужского слегка дистанцирующегося гомосоциального желания, тогда получается, что мужчины вступают во взрослое мужское сообщество, только согласившись на постоянную опасность того, что то малое пространство, которое они очистили для себя на этой территории, может в любой момент так же произвольно и с теми же основаниями быть у них отнято.

Результатом этого мужского согласия на это неустойчивое положение является, во-первых, высокая *манипулируемость*, реализуемая через страх собственной «гомосексуальности» у окультуренных мужчин; и, во-вторых, источник потенциального *насилия*, возникший в результате самоневедения, которое формирует и усиливает такой режим. Исторически зафиксированное обостренное внимание на усилении гомофобного порядка в армии, например в Англии и Соединенных Штатах, подтверждает такой вывод. В этих учреждениях, где манипулируемость и потенциальное насилие наиболее демонстративны, *прескрипция* наиболее тесных мужских связей и *проскрипция* (на удивление близкие по

звучанию понятия) «гомосексуальности» проявлены гораздо сильнее, чем в любом гражданском сообществе, — здесь они близки к абсолюту.

Мое детальное описание широко распространенного эндемического явления гомосексуальной паники как феномена не изначального, а постромантического, что развился в результате гомофобного давления в конкретной гомосексуальной культуре веком раньше, связано с (как я воспринимаю это) центральностью параноидальной готики¹¹ как литературного жанра, где гомофобия появляется в наиболее подходящем и многообразном воплощении. Гомофобия нашла себя в параноидальной готике не потому, что этот жанр обеспечил платформу для истолкования уже сформированной гомофобной идеологии — разумеется, это не имело места, — но посредством более действенного многоголосого участия «приватного» и «публичного» дискурсов, наподобие буйной дихотомической игры вокруг солипсизма и интерсубъективности мужского параноидального сюжета, подобного сюжету «Франкенштейна». Взаимопревращаемость внутриспсихического в интерсубъективное в этих сюжетах, где сознание одного мужчины может прочитываться через сознание страшного и желаемого другого; назойливость и насильственность, с которыми в этих сюжетах огромные, клочковатые, экономически разнородные семьи, подобные Франкенштейнам, переформировывались к идеологически гипостатизированному образу тесной эдипальной семьи; и затем новая кульминация насилия, с которой оставшийся женский элемент в этих треугольных семьях вычеркивался, оставляя, как во «Франкенштейне», осадок двух могущественных мужских персонажей, зажатых в эпистемологически нерасчленимом объятии воли и желания, — этими способами параноидальная готика мощно обозначала — в тот самый момент кристаллизации современной, маркированной капитализмом эдипальной семьи — невозможность выпутаться из этой формации удушающего сплетения мужской гомосексуальной конструкции. Говоря другими словами, уместность той фрейдовской формулировки в случае доктора Шребера, что паранойя у мужчин является результатом репрессии их гомосексуального желания,¹² не имеет отношения к параноидальной готике в контексте понятий «латентных» или «открытых» «гомосексуальных» «типов», но непосредственно относится к тем основам, образовавшимся в специфических исторических условиях ранней готики, где интенсивное мужское гомосоциальное желание являлось одновременно наиболее навязанным и наиболее запретным видом общественных отношений.

Вписывание такой вульгарной классификации, предположительно исходящей от Фрейда, в то, что небесспорно можно считать моментом основания мировоззрения и социального формирования, которое он систематизировал, вряд ли можно считать разумным. Однако только что сформулированный и обозначенный «универсальный» императив/зап-

рет, приложенный к мужскому гомосоциальному желанию, даже если его претензия на универсальность уже исключала (женскую) половину населения, требовал тем не менее дальнейшего воплощения и спецификации, в новых таксономиях личности и характера. Эти таксономии станут посредниками между предположительно бесклассовыми «персональными» объектами идеологических измышлений и конкретными, классово обозначенными, экономически прописанными жизнями, на которые они оказывали влияние; и в то же время полнокровный и всеобъемлющий плюрализм этих таксономий утаивал, через иллюзию выбора, всепроникающую сущность структурирующей их двойственности.

Современная мужская гей-историография оказалась, под влиянием Фуко, особенно успешной в распаковке и интерпретации тех моментов системы классификации девятнадцатого века, которые наиболее близко группируются вокруг того, что современные таксономии конструируют как «гомосексуала». «Содомит», «мужеложец», «гомосексуал» и сам «гетеросексуал» — все они объекты исторически и институционально объяснимых конструкций. Однако в дискуссии о мужской гомосексуальной панике — обманчивом срединном участке современного гомосоциального континуума и территории, изнуряющей суровости которой смог избежать *только* мужчина, идентифицирующий себя как гомосексуал, — необходим другой, менее определенно сексуализированный ряд категорий. Опять же, имеет смысл повториться, что объект этого предприятия должен не столько претерпеть более современное и точное отнесение к «диагностической» категории, сколько лучше понять то широкое пространство силового распределения, где маскулинность — а следовательно, *хотя бы* для мужчин, сама принадлежность к роду человеческому — могла бы (может) в определенный момент конструировать самое себя.

Мне хочется думать, что Теккерей и другие ранние и средние викторианцы ввели в обиход определенную категорию литературного героя — «холостяка», тип, который сузил поле действия для некоторых мужчин, но в то же время удивительным образом десексуализировал вопрос мужского сексуального выбора.¹³ Ближе к концу века, когда медицинская и социологическая модель «гомосексуального мужчины» институционализировала эту классификацию для некоторых мужчин, вновь возникла более обширная тема эндемической мужской гомосексуальной паники, отделившись от таксономии персонажей и явившись скорее нарративным описанием решающего момента в лабиринте развития некоего (мужского) индивидуума. Сменив прежнего неженатого готического героя, холостяк снова стал репрезентативным мужчиной: Джеймс писал в 1881 году в своем «Дневнике»: «Я завоевываю (Лондон) как художник и как холостяк; как человек, сжигаемый страстью наблюдения, чья задача — изучение человеческой жизни».¹⁴ В произведениях таких писателей, как Дюморье, Барри и Джеймс, помимо прочих, мужская го-

мосексуальная паника временами разыгрывалась как агонизирующая сексуальная анестезия, которая была разрушительна как для мужских субъектов, так и для женских необъектов. Параноидальная готика, сама по себе обобщающая структура, одомашненная в процессе развития таксономии холостячества, вновь возникла в некоторых этих произведениях как формально навязчивый и неуместный, но исключительно стабильный литературный элемент.¹⁵

Знакомьтесь — мистер Бэтчелор

— Бэтчелор, старина Тиресий, не превратился ли ты в очаровательную юную леди, *par hazard*?

— Ступайте вон, абсурдный Трумперианский профессор! — отвечаю я.

Теккерей. *Ловел-вдовец.*

В викторианской беллетристике именно фигура городского холостяка, особенно та, что была популяризирована Теккереем, персонифицирует контрастирующее снижение тональности по отношению к эсхатологическим страданиям и эпистемологическим вывертам параноидального готического персонажа. Там, где готический герой был солипсистом, герой-холостяк — эгоист. Где готический герой бушует в ярости, герой-холостяк стервозничает. Там, где готический герой склонен к суициду, герой-холостяк ипохондричен. Диапазон готического героя — от эйфории к отчаянию; диапазон героя-холостяка — от сварения к несварению желудка.

Более того, в то время как структурно готический герой персонифицирует тематику и тональность целого жанра, холостяк точно прописан и часто является маргинализированной фигурой произведения. Иногда, подобно Арчи Клеверингу, майору Пенденнису и Джосу Седли, он является второстепенным персонажем; но, даже когда он, казалось бы, главный персонаж, как герой Сарти «Мыльный» Спондж, он действует в роли сушки для белья или комического антуража в дискурсивном сюжете.¹⁶ Герой-холостяк может быть только ироикомическим; он не только сам приуменьшен и пародичен, но и символизирует приуменьшение и низведение определенных героических и тотальных возможностей всего типового воплощения. Роман, в котором абсурдный Джос Седли не является героем, это роман *без* героя.

Имеет смысл, я думаю, рассматривать развитие этого странного персонажа холостяка и его разлагающее влияние на романический жанр, помимо всего прочего, как шаг в сторону восстановления в качестве таксономии персонажей той эндемической «вилки» мужской гомосексуальной паники, которая разыгрывалась в параноидальной готике как фабула и структура. Это восстановление, возможно, лучше всего может быть описано как одомашнивание во многих смыслах слова. Наиболее очевидно то, что во все более увеличивающейся в девятнадцатом веке

буржуазной дихотомии между домашним женским пространством и внесемейным политическим и экономическим мужским пространством холостяк хотя бы отчасти феминизирован благодаря его вниманию и интересу к домашним делам. (В то же время, однако, его интимная связь с клубным пространством и богемой обеспечивает ему специальный паспорт в мир мужчин.) Затем разрушительный, не ведающий самого себя потенциал насилия готического героя также замещается у холостяка физической робостью, нередко высокой значимостью самоанализа и (хотя бы отчасти) самопознанием. И наконец, холостяк приручен уже самим разрывом связи с дискурсом генитальной сексуальности.

Рассказчики от первого лица во многих поздних произведениях Теккерея являют хороший пример городского холостяка в мажорной тональности. Даже несмотря на то, что Пенденнис, излагающий «Ньюкомов» и «Филипа», предположительно женат, его голос, личность и вкусы удивительным образом схожи с архетипическим теккереевским холостяком, рассказчиком в новелле «Ловел вдовец» (1859 г.) — человеком, отнюдь не случайно названным «мистер Бэтчелор» [по аналогии с *bachelor* — холостяк. — Прим. перев.]. (Разумеется, сомнительный брачный статус самого Теккерея — женатого, но на психотически депрессивной и постоянно содержавшейся в лечебницах женщине — облегчил это перевоплощение в рассказчиков, которых Теккерея, похоже, списывал с себя.) Мистер Бэтчелор, как пишет Джеймс об Олив Канцлер, не женат по всем признакам своего существования. Он маниакально многословен по поводу брачных перспектив, включая его собственные (прошлые и настоящие), но из его тона так или иначе следует, что сама подобная мысль абсурдна. Например, гиперболизированное описание его раннего романтического разочарования одновременно высмеивает и принижает важность этого инцидента для него самого, и в то же время использование оскорбительного сравнения заранее дискредитирует серьезность любой возможности подобной ситуации в будущем:

«Некоторые болеют корью дважды, но не я. В моем случае, если сердце разбито, оно разбито: если цветок завял, он завял. Если я предпочитаю говорить о своей печали шутя, почему бы и нет? С какой стати вы думаете, что я буду делать трагедию из такой устаревшей, затертой, вульгарной, тривиальной повседневной темы, как плутовка, играющая со страстью мужчины, смеясь над ним и оставляя его с носом? Тоже мне трагедия! Ну да, конечно! Яд — бумага с черным обрезом — мост Ватерлоо — еще один несчастный и тому подобное! Нет: если она уходит, пусть уходит! — *si celeres quatit pennas*, я плевал на эти ваши штучки!»¹⁷

Фабула «Ловела» — достаточно облегченная — это маленькая не приметная станция подземки, ведущей от *Liber Amoris* к Прусту. У мистера Бэтчелора, когда он снимал комнаты, завязалась легкая нежная дружба с дочерью домохозяйки Бесси, которая зарабатывала деньги для

семьи, танцую в мюзик-холле. Несколько лет спустя он устраивает ее в качестве гувернантки в дом своего друга Ловела, вдовца. Несколько мужчин соперничают друг с другом, чтобы завладеть любовью Бесси: местный доктор, проницательный самоучка дворецкий и, почти без энтузиазма, сам Бэтчелор. Когда какой-то нахал, оказавшийся в доме, подвергает сомнению репутацию Бесси, напав на нее, Бэтчелор, подслушавший эту сцену, роковым образом не торопится вступить за нее, неожиданно засомневавшись в ее сексуальной чистоте («Гром и молния! Он знал ее раньше» [глава 5]) и в собственном желании вступить в брак. В результате ей на выручку спешит самоучка-дворецкий, а женится на ней сам Ловел.

Если отношение к романтическим возможностям, предположительно составляющим смысл «Ловела», имеет тенденцию их дематериализовать еще прежде, чем они начали проявляться, отношение к другим физическим удовольствиям выражено с такой непосредственностью, что они усиливаются в той же пропорции. Фактически, материальность физического удовольствия непосредственно связана с состоянием холостяка.

«Лечь на этой удобной, прохладной холостяцкой постели... Однажды в Шраблендсе я слушал шаги у себя над головой и слабый, непрекращающийся плач ребенка. Я проснулся, почувствовал раздражение, но перевернулся и снова заснул. Я знал, что наверху живет адвокат Биддлкомб. Он спустился на следующее утро со страшной желтизной на щеках и темными кругами вокруг глаз. Его младенец, у которого резались зубы, гонял его по комнате всю ночь... Он погрыз кусочек тоста и отправился на омнибусе в контору. Я очистил второе яйцо; я мог отведать всякой всячины со стола (страсбургскому паштету я не могу сопротивляться и считаю, что он всячески полезен). Я мог видеть свое симпатичное лицо в зеркале напротив, и мои жабры были розовыми, как у жареного лосося» (глава 3).

В отличие от сакраментальной функции сближения людей у Диккенса, еда у Теккерея, даже хорошая еда, скорее склонна символизировать горечь зависимости и неравенства.¹⁸ Менювая стоимость еды и питья, ее дороговизна или дешевизна, соотносимая со статусом и ожиданиями потребляющих ее, показная роскошь или скаредность, с которой она преподносится, или низость, с которой она выпрашивается, маркируют ее изменчивый, оскорбляющий чувства путь в каждом из произведений Теккерея, включая это. Поэтому округлое пиквикское самодовольство поджаристо-розового холостяка за завтраком особенно поражает по контрасту. В стервозном мастерстве Теккерея, где, как и у Джеймса, изменчивость перспективы периодически разьедает и субъект, и объект восприятия, возникают моменты, когда герой-холостяк, именно благодаря его безбрачию и эгоизму, воспринимается чуть ли не как единственная человеческая частица, достаточно измельченная, чтобы проникать сквозь пространства невредимой.

Иногда невредимой, но никогда не безвредной. Конечно же, одним из главных удовольствий прочтения этой части произведений Теккерея является эта кошачья безвозмездность агрессии. В иные моменты неожиданно обнаруживаешь неспрятанные кошачьи коготки в миллиметре от собственного глаза. «Ничто, дорогой друг, не избегнет вашего пронизательного взгляда: если в вашем присутствии прозвучала шутка, вы реагируете на нее мгновенно, и ваша улыбка является вознаграждением шутнику, доставившему вам удовольствие: вы были готовы к этому...» (глава 1). Когда один холостяк обсуждает с другим холостяком третьего холостяка, от него не остается ничего, кроме ушей и усов:

«Когда я ездил в Лондон, мне довелось встретить моего друга капитана Фитца, завсегдагая не менее дюжины клубов и знающего хоть что-нибудь о каждом человеке в Лондоне. “Знаешь что-нибудь о Кларенсе Бейкере?” “Конечно, знаю, — отвечает Фитц, — и если тебе нужно какое-то *renseignement*, дружище, я имею честь сообщить тебе, что более черная овечка не ступала по лондонским *parvé*... знаю ли я что-нибудь о Кларенсе Бейкере! Друг мой, достаточно, чтобы ты посидел, если, конечно (как мне порой представляется), природа уже не произвела этот процесс, тогда я вряд ли стану изображать краску для волос”. (Усы персонажа, говорившего со мной самым невинным образом, топорщились мне в лицо и были выкрашены в самый бесстыдный пурпурный цвет.)... Он вывез из гарнизонных городов, где квартировался, не только сердца модисток, но их перчатки, галантерею и парфюмерию» (глава 4).

Если, как я считаю, холостяки Теккерея создали или внесли в список типажей один из способов реакции на удушающую гомосексуальную панику, их основная стратегия прослеживается довольно просто: предпочтение атомизированного мужского индивидуализма семейной клетке (и соответствующая демонизация женщин, особенно матерей); многословное отрицание всего, что может интерпретироваться как генитальная сексуальность в отношении всех объектов, и мужских и женских; соответствующее подчеркивание удовольствий, доставляемых другими органами чувств; и хорошо защищенная легкость общения, нагружающая немалой долей магнетизма склонность к пародии и непредсказуемому садизму.

Должна сказать, что это не вызывающий у меня удивления портрет исключительно викторианского типа человека. Отказ от сексуального выбора в обществе, где сексуальный выбор мужчины одновременно навязан и всегда противоречит сам себе, кажется, по крайней мере для образованного мужчины, все еще связан с прецедентом возникновения этого персонажа девятнадцатого века — возможно, не самого мистера Бэтчелора, но того обобщенного, эгоцентричного и одновременно самомаргинализирующегося холостяка, которого он персонифицирует. Тем не менее этот персонаж носит специфические характеристики фигуры, населявшей метрополию девятнадцатого века. Он тесно связан с *flâneurs*

Эдгара По, Бодлера, Уайльда, Беньямина. Что особенно подчеркивается в его описании, так это его положение в классовом распределении — между уважаемой буржуазией и богемой — богемой, которую, опять же, Теккерей, в своих романах о Пенденнисе отчасти изобрел и отчасти выпестовал для английской литературы.

Теккерей буквально ввел это слово и саму концепцию богемы в английскую культуру из Парижа.¹⁹ Как резервная рабочая сила и полупрофессиональное, пограничное пространство для профессионального отбора и социальных взлетов и падений, богема, казалось, была открыта для проникновения из любого социального слоя; но, по крайней мере в этой литературной версии, она наилучшим образом отвечала потребностям позитивного и негативного самоопределения тревожной и конфликтной буржуазии. За исключением восприятия самих мужчин-гомосексуалов, идея «богемы» до 1890-х годов, кажется, не имела явственной геевской окраски. В этих холостяцких романах простое отсутствие укрепленной семейной структуры могло демонстрировать ее прелести в более общем виде; и наиболее страстное мужское товарищество существовало в откровенно свободных отношениях с эротическим употреблением всеобщих женщин. Возможно, было бы вернее, однако, рассматривать флюктуации богемы как временное пространство, где литературный субъект молодого мужчины из буржуазии должен проследовать своим путем через «гомосексуальную панику» — воспринимаемую здесь как стадия *развития* — к более репрессивному, не ведающему самого себя и зафиксированному статусу взрослого буржуазного отца семейства.²⁰

Среди последователей Теккерея в исследовании буржуазных холостяков богемы самыми углубленными и значимыми являются Дюморье, Барри и — например, в «Послах» — Джеймс. Родственные связи этой традиции многозначны и гетерогенны. Например, Дюморье предложил Джеймсу фабулу «Трильби» за много лет до того, как сам написал этот роман.²¹ Так же Маленький Биллэм в «Послах» кажется близким родственником Маленького Билли, героя «Трильби», маленького, похожего на девушку студента-художника с Левого Берега. Маленький Билли снимает студию вместе с двумя взрослыми, более крупными мужественными художниками, которых он очень любит — связь, которая, похоже, позволила Дюморье использовать в эротическом контексте морскую балладу Теккерея, из которой Дюморье, в свою очередь, позаимствовал имя Маленького Билли:

Жил толстый Джек и пропойца Джимми,
А самым младшим был маленький Билли.
Когда к экватору дошли, еды ребята не нашли.
Осталось зернышко гороха.

Тут толстый Джек пропойце Джимми
Сказал: «Мы что-то голодны».

Пропойца Джим обжоре Джеку
 Ответил: «Нас должны есть мы».

Но Джек-толстяк пропойце Джимми
 Сказал: «Так дело не пойдет!
 Вон крошка Билл, парнишка свежий,
 Пусть он на ужин к нам идет».

«Эй, Билли, съешь тебя хотим мы,
 Давай расстегивай штаны!».²²

Как только мы минуем Теккерея, двигаясь к концу века, по направлению к еще большей видимости через границы классов медиализованного дискурса — и теперь уже карательным нападкам на мужскую сексуальность, — мы обнаруживаем, что эта удобно фригидная кэмповость теккереевских холостяков начинает просматриваться почти неизбежно как паника. Мистер Бэтчелор играл во влюбленность с женщинами, но не торопился доказывать им, что влюблен по-настоящему. Для холостяков из «Трильби» и «Томми и Гризель», однако, даже это поле мужской асексуальности было усеяно психическими наземными минами.

Фактически, самой постоянной ключевой нотой этой поздней литературы является именно тема сексуальной анестезии ее героев. Более того, в каждом из этих произведений агонизирующая и тут же отрицаемая сексуальная анестезия трактуется *одновременно* как аспект определенного идиосинкразического типа личности и *также* как проявление великого Универсального. Эти (анти-)герои являются, в сущности, прототипами нарождающихся несоответствий между миноритизирующим и универсализующим пониманием мужского сексуального определения. Маленький Билли, например, герой «Трильби», объясняет свою неожиданную неспособность желать женщину наличием «сгустка» в «шишке любви» — «вот именно в этом моя проблема — сгусток — маленький тромб на корешке нерва, не больше булавочной головки».²³ В этом же длинном монологе, однако, он объясняет недостаток желания не наличием тромба, а гораздо более серьезной причиной — своим положением постдарвиновского Современного Мужчины, неспособного более верить в Бога. «Сентиментальный» Томми, герой Барри из одноименного романа, и также «Томми и Гризель» — в каждом из этих удивительно тонких и поразительно самоуничижительных произведений описывается одновременно и как человек с характерной уродливой моралью и психологическими дефектами, и как тип особо одаренного художника.

Гетеросексуальное прочтение Джеймса

«Зверь в чаше» Джеймса (1902 г.) является одной из историй холостяка этого периода, которая, кажется, претендует вполне явственно на «универсальную» применимость на основе гетеросексуальной симмет-

рин, но также трогательно подвержена изменениям гештальта и видимых характеристик, как только предполагаемая мужская гетеросексуальная норма подвергается сомнению. Как в «Томми и Гризель», здесь рассказывается о мужчине и женщине, состоящих в близости в течение десятилетия. В обеих историях женщина желает мужчине, но у мужчины не получается желать женщину. В сущности, в обоих сюжетах мужчина вообще не способен на желание. Сентиментальный Томми страстно желает испытывать желание к Гризель и при всех благих намерениях окончательно сводит ее с ума. Джон Марчер в истории Джеймса даже не подозревает, что в его жизни отсутствует желание и что Мэй Бартрем желает его, до тех пор, пока она не умирает из-за его непонимания.

Если судить по биографиям Барри и Джеймса, эротические предпочтения каждого из них были достаточно сложными, весьма изменчивыми в гендере их объектов и, по крайней мере на длительные периоды, дистанцированными от *éclaircissement* или физического проявления, чтобы представить каждого как выразительную фигуру для литературной дискуссии о мужской гомосексуальной панике.²⁴ Барри состоял в практически не реализованном браке и испытывал нереализованную страсть к замужней женщине (дочери Джорджа Дюморье!) и пожизненную некатегоризированную страсть к ее сыновьям. У Джеймса было — в сущности, именно то, о чем мы знаем, что ничего не знаем. Как ни странно, однако, гораздо легче читать психологическую фабулу «Томми и Гризель» — ужасающе основательные и осознанные разрушительные действия по отношению к женщине со стороны мужчины, принужденного делать вид, что он желает ее — через таинственную и трагическую историю отношений Джеймса с Констанс Фенимор Вулсон, чем прочитывать ее через какие-либо события жизни самого Барри. Невозможно воспринимать гипотезу Леона Эделя о продолжительной (или возобновляющейся) и яркой, но странным образом скрываемой²⁵ близости Джеймса к этой глухой интеллектуальной американской писательнице, которая явно любила его, без того мучительного ощущения, что Джеймс чувствовал, что, помимо всего прочего, он должен чем-то доказать свое сексуальное отношение. И трудно также читать о том, что, похоже, было ее самоубийством, не задаваясь вопросом, не является ли ценой гетеросексуальные испытания себя, предпринятые Джеймсом, — ценой, если вспомнить Барри, неожиданно «щедрых», «изменчивых» импульсов и равно таких же неожиданных приступов отвращения, — которую пришлось платить более и больше всего этой его компаньонке, всегда скрываемой в его многочисленных путешествиях и резиденциях. Если это так, то отработка отрицаемой им гомосексуальной паники оказалась, видимо, еще убийственной для нее в сравнении с непревзойденным даром Джеймса и его моральным магнетизмом.

Если нечто похожее на эти вдвойне разрушительные взаимодействия, описанные мной, действительно имело место между Джеймсом и Констанс Фенимор Вулсон, тогда его структура была, безусловно, воспроизведена практически во всех критических дискуссиях о творчестве Джеймса. Ошибкой в жизни Джеймса, похоже, стал этот слепой шаг от собственных представлений о добре, о необходимости переживать любовь и сексуальность — к автоматическому принятию на себя специфически *гетеросексуальных* обязательств. (Я говорю «принятии на себя», имея в виду, что он, конечно же, не изобрел гетеросексуальную специфику собственных обязательств; он просто не смог, на том этапе жизни, активно сопротивляться ей.) Простейшее предположение (со стороны Джеймса, общества и критиков), что сексуальность и гетеросексуальность всегда легко взаимозаменяемы, безусловно, гомофобно. Немаловажно и то, что оно также глубоко гетерофобно: оно отрицает любую возможность различия желаний и объектов. Теперь, разумеется, уже не вызывает удивления то репрессивное простодушие, которое проявляет литературная критика по этим вопросам; но для Джеймса, в чьей жизни сценарий гомосексуального желания был достаточно смелым и жизнеутверждающим, чтобы, по крайней мере, не исчезнуть из его биографии, хотелось бы надеяться, чтобы в критике его трудов возможные различия разных эротических выборов не были столь жадно поглощены навязанной — а следовательно, никогда истинно не «гетеро» — гетеросексуальной моделью. За удивительно малым исключением, однако, эта критика активно отторгала любое исследование асимметрии гендерно окрашенного желания.

Возможно, критики были мотивированы в своем активном нелюбопытстве желанием защитить Джеймса от ошибок гомофобного толкования в перманентно репрессивном сексуальном климате. Возможно, они боятся, что из-за асимметрично маркированной структуры гетеросексистского дискурса любое обсуждение гомосексуального желания или литературного содержания способно маргинализировать его (или их?) как просто *гомосексуала(лов)*. Возможно, они желают защитить его от того, что представляют себе как анахронистическое геевское прочтение, основанное на свойственном концу двадцатого века восприятию мужского желания мужчины как более стабилизированного и культурно оформленного, чем желание самого Джеймса. Возможно, они прочтывают самого Джеймса как позитивно отрицающего или растворяющего в своих работах этот элемент его эроса, перевода переживаемые гомосексуальные желания, там, где они у него были, в написанные гетеросексуальные настолько тщательно и настолько успешно, что разница *не делает* никакой разницы и трансформация происходит без остатка. Или же, возможно, что, веря — как и я — в то, что Джеймс часто, хотя и не всегда, пытался осуществить эту трансформацию или сокрытие, но остав-

лял-таки надежные следы как от материала, который он не намеревался трансформировать, так и от материала, который мог быть трансформирован, но только весьма грубо и неаккуратно, некоторые критики опасаются предпринять эту «атаку» на искренность Джеймса или его художественную цельность, что могло бы стать следующим шагом в данной аргументации. Любой из этих мотивов критики можно понять, но их геометрическая сумма является обычной репрессивной элизией и отбраковыванием предположительно сомнительного материала. В работе со множественными валентностями сексуальности выбор критиков не должен ограничиваться либо грубым разрушением, либо умалчиванием ортодоксального принуждения.

Даже Леон Эдель, который прослеживает *одновременно* и историю Джеймса с Констанс Фенимор Вулсон, и некоторые нарративы его эротического желания к мужчинам, связывает «Зверя в чаше» с историей Вулсон,²⁶ но не связывает ни одну из них со спецификой джеймсовской — или вообще чьей-либо — сексуальности. Результатом этой предельно тенденциозной путаницы в практически любой критической работе по Джеймсу является интерпретация «Зверя в чаше», как будто бы в интересах демонстрации универсальности этой книги (то есть «о художнике»), через то предположение, не оставляющее места сомнению, что моральной позицией повести является не только то, что Мэй Бартрем желала Джона Марчера, но и что Джон Марчер *должен был бы желать* Мэй Бартрем.

«Томми и Гризель» еще более ясно демонстрирует ту же самую позицию. «*Должен был бы желать*», как графически ясно показывает этот роман, не только абсурдно как моральное суждение, но является самим механизмом, который усиливает и продлевает разрушительную шарату гетеросексуальной эксплуатации (маниакальное использование Вилсон Джеймсом, например). Трагедия Гризель не в том, что мужчина, которого она желает, не способен желать ее — что было бы грустно, но, как явственно показано в книге, выносимо, — но то, что он делает вид, что желает ее, и периодически даже убеждает себя в том, что желает ее, не желая на самом деле.

Впечатляет также, что ясность, с которой «Томми и Гризель» передает этот процесс и его разрушительное действие, не зависит от начальной naïвной или монолитной идеи о том, как это бывает, когда мужчина «действительно» желает кого-либо. На этот счет роман предпочитает агностическую позицию, оставляя открытой возможность того, что где-то существует другое качество вроде «настоящего» мужского желания или что это всего лишь периодически возникающая вспышка того же самого убийственного синдрома, который руководит мужским эросом вообще. Однако Барри весьма недвусмысленно говорит о том, что худшим видом жестокости гетеросексуальности становится навяз-

занное мужчине желание к женщине и сопутствующий ему обман и самообман.

«Томми и Гризель» — экстраординарный и несправедливо забытый роман. Его состарил и не сделал великим романом, несмотря на ту остроту, с которой описывается мужское желание, именно — нельзя признать это — викторианский слащавый оппортунизм, с которым рассматривается женское желание. Вполне допустимо, что реальная энергия воображения и психологизма фокусируется исключительно на герое. Недопустимо — и здесь структура самого романа в точности воспроизводит разрушение своего героя — наличие морализаторской претензии на то, что столько же внимания уделено цельной, независимой, наделенной воображением и психологизмом женской героине, которая, однако, отнюдь не будучи романически «желаемой», действительно и явственно создана как идеальный негативный образ героя — создана, чтобы стать единственным существом в мире, которое наиболее оптимально приспособлено к тому, чтобы испытывать наиболее изощренную боль от его и только его разрушительного влияния. В этом соответствии не видно ни одного изъяна. Гризель — дочь сумасшедшей проститутки, унаследовавшая от нее — помимо жизнелюбия, ума, воображения — высокую чувственность и страх (который сильно подчеркивается в романе) пробудить эту чувственность. Проницательность Барри позволила ему увидеть, что именно эта женщина — если такие существуют, — которая кажется сильной и независимой, окажется наименее способной сопротивляться уничтожению со стороны Томми с его двухфазным ритмом сексуального «давай», сменяемого репрессивной фригидностью, и его эмоциональной геологией гуттаперчевой покладистости, базирующейся на жесткой позиции навязанного обязательства. Но высочайшая точность соответствия женского персонажа, как существа, возвращенного для сексуальной жертвы без сопротивления и без остатка, лишает роман права вынести безучастное суждение о репрезентативной ценности Томми.

Прочтенный в этом контексте, «Зверь в чаше» выглядит с точки зрения женского желания как потенциально революционный. Кем бы ни была Мэй Бартрем и чего бы она ни хотела, повесть очевидно обладает джеймсовским негативным достоинством — отсутствием претензии на представление ее в виде цельной натуры. Она впечатляющий персонаж, но — *также* — взятый в скобки. Отличное исполнение Джеймсом манипуляций позициями позволяет ему самому резко отмежеваться от эгоизма Джона Марчера — от чувства, что не существует *возможности* другой субъективности, кроме субъективности Марчера, — но дает возможность, в конечном счете, оставить на месте этого эгоизма аскезу, некую умеренность точки зрения, якобы *сведенную* к Марчеровой. Об истории Мэй Бартрем, о ее эмоциональных детерминантах, о ее зрительских построениях читатель узнает очень немного; нам позволено, если

мы вообще обратим на это внимание, *знать*, что мы узнали очень мало. Равно как у Пруста, где любой незначительный или гротескный персонаж в любой момент вдруг становится обладателем высокого артистического таланта, которым, впрочем, роман отнюдь не озабочен, так же и «Зверь в чаше» как будто дает читателю разрешение вообразить себе некие женские потребности и желания и наслаждения, которые вовсе не увязаны с образом Марчера или с законами самой повести.

Только последняя сцена повести — последний визит Марчера к могиле Мэй Бартрем — скрывает или отрицает смирение, незаконченность, с которой представлена в произведении ее субъективность. Это сцена, в которой неожиданное осознание Марчером, что *она* чувствовала и проявляла желание по отношению к *нему*, получает ответ в совершенно симметричном, «завершающем» риторическом выражении через нарративное/авторское предписание: «Спасением была бы любовь к ней; вот *тогда* его жизнь действительно стала бы жизнью». ²⁷ Следующий абзац, последний в этой повести, построен в том же самом кульминационном, авторитетном (и даже авторитарном) ритме предоставления Ответов в форме симметричной дополнительности. Только в этом единственном моменте, формально привилегированном моменте изложения — развязке, происходящей у мертвого тела Мэй Бартрем, — Джеймс и Марчер представлены воссоединившимися, открытие Марчера подписано риторическим авторством Джеймса, а эпистемологическая аскеза Джеймса мгновенно заполняется, становясь неузнаваемой, принудительной, самозащищающейся уверенностью Марчера. В отсутствии Мэй Бартрем оба мужчины, автор/рассказчик и герой, наконец-то воссоединяются в своем общем безапелляционном, мужественном знании того, что она Действительно Хотела и чего ей было Действительно Нужно. И то, чего она Действительно Хотела и чего ей было Действительно Нужно, показывает, разумеется простодушную близость к тому, что сам Марчер Действительно (предположительно) Хотел и что ему было Нужно.

Вообразите «Зверя в чаше» без этой усиливающей симметрии. Вообразите (вспомните) историю с живой Мэй Бартрем. ²⁸ Представьте возможную альтернативу. И имя альтернативы вовсе не *всегда* «женщина». Что, если у самого Марчера были другие желания?

Закон джунглей

Имена... Ассингам — Пэдвик — Латч — Мэрфл — Бросс — Крэпп — Дидкок — Уичелс — Путчин — Брайнд — Кокзетер — Кокстер... Диквинтер... Джейкс... Марчер —

Джеймс. *Дневник*, 1901.

До сих пор, кажется, не было причин, или почти не было, по которым то, что я называю «мужской гомосексуальной паникой», с тем же успехом

нельзя было бы назвать «мужской гетеросексуальной паникой» — или, проще, «мужской сексуальной паникой». Хотя я начала со структурного и историзованного нарратива, который подчеркивал пре- и проскрипционно определяющую важность мужских связей с мужчинами, потенциально включающих генитальные связи, книги, которые я анализировала, по большей части не фокусировались эмоционально или тематически на таких связях. В сущности, в большинстве из них описывается, пожалуй, исключительно мужская паника перед лицом *гетеросексуальности*. И никакое предположение не может быть более гомофобным, чем автоматическое ассоциирование однополого выбора сексуального объекта со страхом гетеросексуальности или перед другим полом. Вполне приемлемо настаивать, как и я, на том, что гомосексуальная паника всегда является эндемической проблемой только мужчин, определяющих себя как негомосексуалов; однако отсутствие в этих книгах воплощения мужской гомосексуальной тематики, пусть и неизбежное, возымело снижающий эффект на структуру и ткань моих аргументов. Отчасти, впрочем, только отчасти, причина этого отсутствия историческая: только к концу девятнадцатого века стали очевидными кросс-классовые гомосексуальные роли и постоянный, идеологически полноценный тематический дискурс мужской гомосексуальности в ситуациях, которые приобрели оттенок публичной драмы — но не ограничились этим — в судебных преследованиях Уайльда.

Я хочу доказать, что в «Звере в чаше», написанном на рубеже нового века, возможность воплощенной мужской гомосексуальной тематики становится именно пороговым явлением. Она присутствует там — как очень конкретная, исторически обозначенная тема отсутствия, и особенно отсутствия речи. Первое (в каком-то смысле единственное), что мы узнаем о Джоне Марчере, это то, что у него есть «тайна» (358/388), судьба, нечто неизвестное в его будущем. «Вы сказали, — напоминает ему Мэй Бартрем, — что с самых давних пор в вас есть что-то скрытое, ощущение, что вы созданы для чего-то редкого и странного, возможно неестественного и ужасного, что должно рано или поздно случиться» (359/389). Я полагаю, что если у секрета Марчера есть содержание, то это содержание — гомосексуальность.

Разумеется, если секрет Марчера действительно существует, он не только неявный, но в кульминационной сцене активно отрицается. «Он оказался человеком своего времени, олицетворил собой человека, с которым *ничего* не может случиться» (401/430). Отрицание того, что у секрета есть содержание — утверждение, что вместо секрета есть его отсутствие, — это стильный и «удовлетворяющий» формальный жест Джеймса. Очевидные провалы смысла, на которые он указывает, однако, далеки от того, чтобы быть пустыми; он не только утверждает наличие провала, но и обильно заполняет его самыми ортодоксальными на-

вязанными этическими позициями. Риторическое указание на пустоту этого секрета, «этого ничего», странным образом оказывается тем же жестом, что и атрибутирование ей навязанного гетеросексуального содержания — того пресловутого «он должен был желать ее»:

«Упустил он *ее*... Назначенное совершилось с полнотой даже чрезмерной, чаша была выпита до последней капли: он оказался человеком своего времени, олицетворил собой человека, с которым *ничего* не может случиться. Вот какой удар его постиг, вот что ему открылось... Та, что вместе с ним несла стражу, вовремя поняла это и дала ему шанс перехитрить судьбу. Но судьбу перехитрить невозможно, и в тот день, когда она сказала ему, что уже все произошло, он тупо не заметил предложенного ею спасительного выхода.

Спасением была бы любовь к ней, вот *тогда* его жизнь действительно стала бы жизнью» (401/430–431).

Предполагаемая «пустота» смысла невыразимой судьбы Марчера, таким образом, неизбежно и именно гетеросексуальна; она относится к совершенно конкретному отсутствию предписанного гетеросексуального желания. Если критики, стремящиеся помочь Джеймсу в морализации окончания повести, настаивают на том, что это (отсутствующее) гетеросексуальное желание можно легко и безболезненно перевести в абстрагированную возможность любой человеческой любви, у нас есть серьезные основания их притормозить. Это обобщающее, коварно симметричное представление о том, что «ничто», составляющее невыразимую судьбу Марчера, является зеркальным отражением «всего», что он мог и должен был иметь, находится в *тайной* связи с абсолютно другой историей смыслов в притязаниях на эротическое отрицание

Давайте прибежем, пожалуй, к другой стратегии раскрытия смысла. Более откровенное, «полноценное» значение этой невыразимой судьбы может исходить из многовековой истории субстантивного употребления расчищающих пространство отрицаний с целью вымарывания и в то же время подчеркивания возможности мужской однополой генитальной связи. Риторическое название этой фигуры — умолчание. Непроизносимое, не упоминаемое, *nefandam libidinem*, «грех не называемый и не совершаемый»,²⁹ «мерзкий и ужасный грех, не имеющий имени у христиан»,

Чье зло особо, заявляю,
Коль названо, то небо сотрясает,

«вещи, которые страшно назвать», «оскорбительное звучание неподобающих слов»,

Тот грех, настолько одиозный,
Что слух о нем ввергает в ужас проклятых в Геенне грозной,³⁰

«любовь, не смеющая назвать свое имя»³¹ — такими были произносимые, немедицинские выражения, принятые в христианской традиции,

описывающие возможность гомосексуальности для мужчин. Маргинальность семантического и онтологического статуса этих выражений как имен существительных отражала и определяла ограниченность — но также и потенциально обеспечивала секретность — подобной «возможности». А новый определяющий, материализующий медицинский и карательный публичный дискурс мужской гомосексуальной роли, развившийся в годы судов над Уайльдом, вовсе не упразднил и не вывел из обихода те имена умолчания, а, наоборот, еще более тесно и определенно увязал их с гомосексуальным содержанием.³²

«Тайна» Джона Марчера, его «странность» (366/399), то, «что она знает о нем, и что с годами вошло у них в обычай называть не иначе как “истинной правдой о нем”» (366/399), «бездна» (375/407), «его странное чувство» (378/409), «загадка стольких лет» (379/409), «тайна богов» (379/410), «любая гнусность и чудовищное деяние» (379/411), «нечто страшное... что невозможно назвать» (381/413): то, как в рассказе описывается тайная судьба Марчера, имеет то же свойство — маркирования и стирания одновременно.

Есть в рассказе и некоторые «более насыщенные», хотя все же весьма двусмысленные лексические указатели на гомосексуальное содержание: «Для всех прочих он, разумеется, *странный* [в оригинале *queer*. — Прим. перев.] человек, но только она, она одна знает чем и, более того, из-за чего он странный, поэтому так умело расправляет складки спасительного покрывала. Перепяв у него тон, который обоим мнился *веселым* [в оригинале *gaiety*, образовано от прилагательного «gay». — Прим. перев.], как она переняла все остальное... она следила за продвижением его *горестной одержимости* [unhappy *perversion*] на путях, которые для него были скрыты» (367/399, курсив И. К. С.). Все же большей частью именно в конкретизирующей грамматике парафраз и умолчаний — «этот катаклизм», «катастрофа», «странное положение», «великое нечто», «настоящая правда», «постоянная тема», «все, о чем они все время думали», «ужасы», «нечто более ужасное, чем все ужасы, которые мы знаем», «все утраты и все постыдное, что можно вообразить» — гомосексуальное содержание становится видимым, насколько это возможно. «Я не осознаю этого. Я не могу это назвать. Я знаю только, что я незащищен».

Однако я убеждена, что одним из важных моментов повествования является то, что материализующий эффект иносказания и умолчания этого конкретного смысла более разрушителен, чем его стирающий эффект (хотя и неотделим от последнего). Суметь добиться этого — что было вовсе не очевидно, — сломать многовековой код, который через сформулированное-отрицание-возможности-сформулировать всегда обеспечивал двойственность значения: либо (гетеросексуального) «ничто», либо «гомосексуального содержания» означало также признать свое место в дискурсе, в котором *существовало* гомосексуальное со-

держание, в котором все гомосексуальные содержания имели одно значение. Сломать код и испытать радость удовлетворения от знания означало принятие специфической формулировки «Мы Знаем, Что Это Означает». (Я полагаю, что именно этот механизм заставляет даже критиков, которые задумываются о мужских эротических траекториях персональных желаний Джеймса, исключать их из рассмотрения его творчества без особых проблем.³³ Как будто этот вид желания наиболее просчитываем, наиболее просто прибавляется, вычитается или допускает свободное фланирование между жизнью и искусством!) Но если, как я предполагала в первой части этой главы, вступление мужчины в гетеросексуальное пространство в современную эпоху всегда базировалось на культивируемом и принужденном отрицании непознаваемости, на своейвольности и внутренней противоречивости гомо/гетеросексуального определения, тогда торжествующая интерпретационная формула «Мы Знаем, Что Это Означает» становится неожиданно центральной. Во-первых, это ложь. Но, во-вторых, это совершенно определенная ложь, которая оживляет и увековечивает механизм гомофобного мужского самонезнания, насилия и манипулируемости.

Соответственно, имеет смысл попытаться разделить и различить возможные плюралистические толкования произносимых значений «Зверя в чаше». Указать на то, на что, по моему мнению, указывает сам нарратив, и на что указывали мы сами, то есть просто на *возможность* «гомосексуального содержания», значит, хуже, чем ничего не сказать: значит, сказать только что-то одно. Но даже на поверхности изложения тайна, «то самое нечто», «нечто, что она знала», выделена сама по себе, и выделена на время. Тайн же, по меньшей мере, две: Марчер чувствует, что он знает, но никогда не говорил никому, кроме Мэй Бартрем, что (тайна номер один) имеет некую конкретную и странную предназначенность в будущем, предназначенность, природа которой (тайна номер два) ему неизвестна. На протяжении времени повести как равновесие когнитивного контроля над содержанием тайны между двумя персонажами, так и временное расположение между будущим и прошлым второй тайны все время колеблется; вдобавок, вполне возможно, что истинное содержание (если существует) этих тайн меняется вместе с временными и когнитивными изменениями, если время и интересубъективность являются сущностью тайн.

Позвольте мне в таком случае изложить напрямую свою гипотезу о том, каковым может быть набор «полноценных» — то есть гомосексуально окрашенных — содержаний Невыразимого в этой повести, отличающихся в зависимости от времени и персонажа.

Предположим, для Джона Марчера тайна будущего — тайна его неведомой предназначенности — важным образом включает в себя возможность чего-то гомосексуального, хотя и не ограничивается этим. *На Мар-*

чера наличие возможности гомосексуального содержания, связанного с внутренней, будущей тайной, воздействует совершенно так, как мы описывали феномен Невыразимого — материализуя, соединяя воедино и ослепляя. Что бы (как чувствует Марчер) ни обнаружилось там, оно, имея в виду его панику, это одна *единственная* вещь, наихудшая, «ощущение Зверя». Его готовность подчинить весь ход своей жизни приготовлению к этому — к защите от этого — перестраивает его жизнь в целом в соответствии с монолитной связью *этого* с гомосексуальным желанием, капитуляцией, разоблачением, скандалом, стыдом, аннигиляцией. В конце концов «у него осталось одно желание»: что *это* «будет достойно его внутренней готовности, которую он сохранял всю жизнь, осознавая его присутствие» (379/411, русский текст изменен. — Прим. перев.).

Таким образом, получается, что внешняя тайна, тайна обладания тайной, действует в жизни Марчера в точности как *чулан*. Это не чулан, в котором находится мужчина-гомосексуал, поскольку Марчер не гомосексуал. Наоборот, это просто чулан гомосексуальной тайны — чулан воображаемой гомосексуальной тайны. Однако Марчер бесспорно живет в *чулане*. Его отношение к повседневной жизни и форма общения соответствуют поведению «спрятавшегося в чулане»:

«... [она проникла в] тайну разрыва между внешними формами его жизни — малоприметной государственной службой, обменом приглашениями и визитами с лондонскими приятелями, заботами о небольшом наследственном имуществе, о собранной им библиотеке, о загородном саде — и жизнью внутренней, настолько отстраненной от этих форм, что все поведение Марчера, все хоть сколько-то заслужившее этого названия, превратилось в сплошное лицедейство. А в результате — маска с намалеванной идиотически приветливой улыбочкой, меж тем как глаза, глядевшие из прорезей, выражали совсем другое. Но хотя прошли годы и годы, тупоумный свет так до конца этого и не понял» (367—8/400).

Каким бы ни было содержание глубокой тайны, ему требуется для ее защиты изображать гетеросексуальность, осознавая, что это всего лишь маска. «Вы помогаете мне слыть таким же, как все», — говорит он Мэй Бартрем (375/406—407). И «знаете, что спасает нас? — объясняет она. — Полнейшее внешнее сходство наших отношений с таким привычным явлением, как дружба женщины с мужчиной, настолько уже повседневная, что стала как бы обязательной» (368—69/401). Как ни странно, они не только кажутся, но и являются такими мужчиной и женщиной. Элемент обмана окружающих, очковтирательства появляется в их отношениях *только* из-за ощущаемого им принуждения сопроводить их узаконивающей печатью видимой, институционализированной генитальности: этим отношениям, «чья основа заложена столь прочно, естественно было принять форму брака. Но в том-то и загвоздка, что именно она, эта основа, исключала даже мысль о браке. Не может он предложить жен-

щине разделить с ним его уверенность, недоброе предчувствие, говоря короче — одержимость; отсюда — все особенности его поведения» (365/397—98).

Вследствие пугающей неменяемости его фантазии о глубокой будущей тайне у Марчера складывается, до самого последнего момента повести, очень статичное восприятие и ощущение обеих этих тайн. Даже после обнаружения, что тайна уже кому-то известна, допущение Мэй Бартрем в святая святых этой тайны, к «сумеречному свету их сдержанной, сокровенной дружбы» ничего не меняет в чулане, но лишь меблирует его: камуфлирует для глаз посторонних, добавляет мягких сидений для его удобства. Фактически, проникновение туда Мэй Бартрем важным образом *консолидирует и укрепляет* чулан для Джона Марчера.

По моей гипотезе, однако, восприятие тайны Марчера Мэй Бартрем отлично от его [собственного] и более подвижно. Смею предположить, что, хотя она и испытывает желание к нему, ее увлечение им происходит изначально на основании понимания, что он находится во власти гомосексуальной паники и что ее собственный интерес к его чулану заключается не в желании помочь укрепить его, но помочь его разрушить.

В таком прочтении Мэй Бартрем видит, безошибочно, с самого начала, что возможность для Марчера обрести реальную способность быть с женщиной — сексуально или как-то иначе — неразрывно связана с необходимостью разрушить это всеобъемлющее, грозное очарование и страх гомосексуальной возможности. Только выйдя из своего укрытия — либо как гомосексуальный мужчина, либо как мужчина с менее жестко определенной сексуальностью, которая все же допускает возможность желать других мужчин, — Марчер смог бы воспринимать внимание женщины иначе, чем пугающий императив или унижительное соучастие. Эта истина становится очевидной уже в начале истории, в догадках, которые строит Марчер (и о чем он не помнит) при упоминании Мэй Бартрем о том, что он говорил ей много лет назад: «Но важнее было другое; речь, несомненно шла не о “признании в нежных чувствах”. У женского тщеславия долгая память, но Мэй Бартрем не собиралась взыскивать с него за какой-то комплимент или бестактность. Будь на ее месте другая, совсем иного склада женщина, Марчер, возможно, даже испугался бы — вдруг ему собираются напомнить о совсем уже дурацком “предложении”» (356/390). Альтернативой этому в его представлении является другой вид «нежных чувств» — добровольно разделяемое затворничество: «сладость причастности Мэй Бартрем» (358/391). «И вообще все это было наслаждением — неизведанным до той минуты, пока Мэй Бартрем не оказалась причастной. Если нет привкуса иронии, значит, есть сочувствие, а его-то Марчер был лишен долгие-долгие годы. И еще он подумал, что нынче уже мог бы открыться ей, но, пожалуй, может извлечь утонченную радость из той давней случайной испо-

веди» (358/391–92). Так начинается заточение Мэй Бартрем в чулане Джона Марчера — заточение, что явствует из повествования, обусловленное его неспособностью воспринимать или ценить ее вне контекста ее соучастия его собственному предназначению.

В традиционном прочтении этой истории, акцентирующемся на стремлении Мэй Бартрем освободить, непредумышленно, гетеросексуальные возможности Марчера, эта попытка воспринимается как неудавшаяся до самого конца, когда становится слишком поздно — и истинное откровение приходит после ее смерти. Если в освобождении нуждается прежде всего способность Марчера к гомосексуальному желанию, траектория повествования в этом случае видится гораздо более неудачной. Я предполагаю, что Мэй Бартрем хотела бы, чтобы нарратив, который она вскормила для Марчера, развивался от болезненного зияющего само-незнания в отношении возможностей гомосексуальности для себя, к познанию их, что помогло бы ему освободиться и насладиться сексуальностью любого рода. Однако вместо этого она наблюдает у Марчера «развитие», настойчиво навязываемое культурой: развитие от болезненного и зияющего само-незнания о возможностях гомосексуальности к само-незнанию завершено, рационализированному, совершенно умалчиваемому и общепринятому. Тот момент, когда Марчер полностью принимает свое эротическое само-незнание, является моментом, когда власть культуры перестает принуждать его, и он сам становится инструментом принуждения от лица культуры.

Часть 4-я относится к моменту, когда Мэй Бартрем понимает, что вместо того, чтобы помочь Марчеру разрушить темницу, она позволила ему безвозвратно укрепить ее. Именно в этой части, как и в следующей, становится очевидно, что назначение Марчера, то, что должно было с ним произойти и произошло, заключалось в его превращении из страдающего объекта Закона или суда (осуждения в первоначальном смысле слова) в воплощение этого Закона.

Если переход, который я здесь описываю, в некоторых аспектах носит знакомые эдиповские черты, структурирующая метафора, стоящая за этим описанием, особым образом подкрепляет его. Вопрос, который мучает Марчера в этой части: присутствует ли то, что он считает тайной своего будущего в прошлом; и вопрос перехода — кто проходит через что или что проходит через кого, что еще *осталось* пройти, — так выглядит загадка, которую он обязан решить: Зверь ли пожирает его или он пожирает зверя? «Оно коснулось вас, — говорит ему Мэй Бартрем, — и свое дело сделало. Завладело вами» (389/420). «Все прошло. Осталось позади», — говорит ему она, на что он отвечает: «Для меня *ничего* не прошло. И не *пройдет*, пока не пройду я сам — дай бог, чтобы это случилось поскорее. Вот вы говорите... будто я уже получил все сполна, но... как я мог не почувствовать того, что именно мне и было предна-

значено почувствовать?» (391/421–422). Мэй Бартрем видит, но Марчер не видит, что этот процесс принятия — или воплощения — Закона маскулинного само-незнания в реальности менее всего относится к чувствам.³⁴ Разинуть рот на Закон и затем, протестуя, по принуждению проглотить его — значит чувствовать; но позволить ему врасти в кожу, стать чужеродной, но частью собственного организма — значит одновременно совершенствовать его с трудом завоеванное безразличие и принятие (или подчинение) идентификации с ним. Мэй Бартрем отвечает на вопрос Марчера: «Вы заранее поверили, что обязательно “почувствуете”. Вам предстояло претерпеть свою судьбу. А ее можно претерпеть и не зная об этом» (391/422). Предназначение Марчера в том, чтобы перестать страдать от него, а просто стать им. Предназначение Мэй Бартрем в том, чтобы «с медленным легким содроганием», кульминирующим ее последний призыв к Марчеру, проглотить эту гигантскую горькую пилюлю, с которой у нее не может быть глубокой идентификации, и умереть от нее — от того, в чье могущество она не верит. «Он как бы слышал голос этого закона, вещавшего устами Мэй Бартрем» (389/420). Или ощущал его вкус.

Закончить чтение истории Мэй Бартрем ее смертью, покончить с ней, замолкнувшей навсегда в этом последнем уединении, в «ее» могиле, репрезентирующей (для Марчера) *его предназначение*, означает оказать ее женскому желанию ту же непростительную «услугу», которую, как я утверждала, Барри оказал Гризель. Это, если можно так сказать, оставляет опасность представить Мэй Бартрем, или вообще женщину в гетеросексуальном пространстве, как всего лишь точно соответствующее героическое дополнение к убийственному принуждению мужского гомофобного/гомосоциального само-незнания. «Лиса, — писала Эмили Дикинсон, — пригодна для собаки».³⁵ Было бы слишком просто описать Мэй Бартрам в качестве лисы, которая слишком пригодна для данной конкретной собаки. Она кажется женщиной (а нам ли их не знать), которая не только обладает самым чувствительным нюхом, но и наиболее мощным влечением к мужчинам, переживающим кризис гомосексуальной паники... Однако в таком случае не согласятся ли большинство женщин с тем, что возвышающий ореол, бурно вращающийся и опасный водоворот эротизма, сопутствует мужчинам именно в эти моменты, даже обычно неинтересным мужчинам?

Если попытаться избежать барризма в описании Мэй Бартрем, который низводит ее до абсолютного без остатка самопожертвования в пользу Зверя Джона Марчера, это можно сделать, исследовав различия в тропинках ее собственного желания. Чего она хотела не для него, а для себя от их отношений? Что она, в сущности, получила? Говоря менее двусмысленно, опираясь на своей эрос и опыт, скажу, что есть определенная связь с истиной и властью, что отображение мужской гомосексу-

альной паники предлагает женщине в эмоциональном соседстве. Тот факт, что мужская принадлежность к гетеросексуальному сообществу в культуре (по крайней мере, современной англо-американской) связана с доведенным до совершенства, но часто хрупким само-непониманием у мужчин значения их желания к другим мужчинам, означает, что женщинам открыто нечто, что гораздо опаснее для осознания любого не гомосексуально определившегося мужчины. Почвой для отношений Мэй Бартрем и Джона Марчера прежде всего является то, что у нее есть перед ним есть когнитивное преимущество: она помнит, а он нет, где, и когда, и с кем они встречались раньше, но более всего она помнит его «тайну» спустя десять лет, хотя он забыл, что говорил ей об этом. Различие в этом знании позволяет ей быть «слегка ироничной», «иметь преимущество» — но такое, что он может со своей стороны использовать его в своих интересах, как «зарытый клад ее знания», «это маленькое сокровище». В процессе их отношений ощущение власти и явственной, скорее ненаправленной иронии у Мэй Бартрем все усиливается, даже пропорционально развивающемуся процессу само-незнания и слепого эгоистического присвоения Марчером ее эмоционального труда. И ее забота, и ее творческое участие в нем, изобретательность подхода к пестованию его гомосексуального потенциала как пути назад к его более верному восприятию ее самой являются формой гендерно-политической гибкости, присущей ей, и самой любви. Это также и формы возбуждения, реальной жесткой, но недостаточной власти, и удовольствия.

В последней сцене «Зверя в чаше» Джон Марчер становится, в нашем прочтении, не познавшим себя человеком, способным на гетеросексуальную любовь, но безнадежно не знающим себя мужчиной, олицетворяющим и усиливающим гетеросексуальное принуждение. В этом толковании можно сказать, что пророчество Мэй Бартрем — «Теперь вы уже никогда не узнаете» (390/420) — истинно.

Для гомосексуальной фабулы, впрочем, финальная сцена тоже единственная во всей повести, где раскрывается или испытывается эмоциональное наполнение восприятия Марчером другого мужчины. «Удар человеческого лица» (399/429): это когда в последней сцене Марчер в конечном счете осмысляет «редчайший случай, произошедший с ним». В начале столкновения Марчера с этой мужской фигурой на кладбище эротические возможности связи между мужчинами кажутся открытыми. Мужчина, чье «беззвучное нападение» Марчер ощущает так сильно, что «он зашатался», глубоко скорбит над «свежим холмиком», но (возможно, только в подозрительном сознании Марчера, обостренном затворничеством) неуловимая возможность уитменовского ухаживания ощущается в воздухе:

«Он медленно шел по дорожке мимо могилы Мэй Бартрем и, поравнявшись с Марчером, заглянул ему в глаза ищущим голодным взглядом. Марчер

сразу почувствовал, как глубоко ранен этот человек... существовало только лицо, изборожденное глубоким и разрушительным страданием... *Подлинное* страдание — в этом было все дело; когда он проходил мимо Марчера, в нем что-то шевельнулось, то ли участие, то ли, скорее всего, вызов чужому горю. Может быть, он успел заметить нашего друга... Так или иначе, сперва Марчеру передалось ощущение, владевшее этим олицетворением раненой страсти, — ощущение незримого присутствия чего-то кошунственного, а затем, когда тот продолжил свой путь, он, взволнованный, обескураженный, задетый, поймал себя на том, что с завистью глядит ему вслед» (429).

Путь, пройденный Марчеровым желанием в эту краткую и загадочную несостоявшуюся встречу, повторяет классическую траекторию вхождения в мужское сообщество. Марчер начинает с возможности *желать* мужчину в ответ на продемонстрированный «голод» («все еще вспыхивавший» затем «перед его глазами, как дымный факел» [401/430]). Отклонив это желание из боязни его осквернения, он заменяет его завистью, *идентификацией* с этим мужчиной, который (смущенно) желает кого-то другого, предположительно женщину, мертвый объект. «Незнакомец ушел, но глаза с их обнаженной мукой по-прежнему испуганно глядели на Марчера, и, полный жалости, он попытался понять, какая беда, какое несчастье, какая непоправимая утрата может придать глазам такое выражение» (401/430).

Чем же обладал этот мужчина? Утрата, заставляющая мужчину кровоточить, но все-таки жить, предполагает, не правда ли, кастрационную утрату фаллоса, фигурирующего как мать, неизбежность жертвы которой толкает сыновей на позицию отцов и под контроль (истолкованный двойкой) Закона. То, что поражает откровением в окончании «Зверя в чаше», — насколько центрально в этом процессе желание мужчины к мужчине и отрицание этого желания. Обязательность *наличия* мужской фигуры, занимающей это место, гораздо явственнее в более раннем кульминационном моменте, в женском «ударе человеческого лица», когда Мэй Бартрем представила Марчеру свое собственное лицо с осознанным откровением, которое гораздо яснее говорило о желании:

«И вдруг ее движение, ее поза с прекрасной живостью подсказали ему, что у нее есть еще что-то для него: поэтому так нежно сияло ее изможденное лицо, так светилось белым свечением серебра. Марчер видел — она не ошибается, из ее глаз глядит та самая истина, о которой шел их разговор, до сих пор наполнявший воздух недобрыми отголосками, но сейчас, без всякой логики и оснований, эта истина почудилась ему несказанно успокоительной. Охваченный изумлением, он с жадной благодарностью ждал ее откровений, и минута шла за минутой, а они все молчали, она — обратив к нему светящееся изнутри лицо, он — ощущая невесомую настоятельность ее близости, глядя на нее ласково и по-прежнему только выжидательно. Но напрасно он ждал, слово так и не было произнесено» (386/417).

Марчер не испытывает ужаса перед ударом женского лица, он просто бесчувствен. Только превращая свое желание к мужскому лицу в завистливое отождествление с мужской утратой, Марчер в конце концов вступает в *какие-то* отношения с женщиной — и тогда это отношения через одну мертвую женщину (другого мужчины) к другой мертвой женщине, его собственной. Это, можно сказать, и есть отношения *принудительной* гетеросексуальности.

Когда Литтон Стрейчи подвергся допросу за отказ идти в армию, его спросили, что он сделал бы, если бы фашист пытался изнасиловать его сестру. Предполагают, что он ответил: «Я попытался бы подставить собственное тело».³⁶ Но не шутовское геевское самосознание, а гетеросексуальное само-незнающее отыгрывание именно этой фантазии завершает «Зверя в чаше». Встретиться лицом к лицу с этим Зверем означало бы для Марчера исчезновение Зверя.³⁷ Взглянуть в лицо этому «голодному взгляду» того скорбящего мужчины — хотя бы попытаться исследовать более острые ощущения этой встречи — означало бы уничтожить чулан, преобразить его гипостатическое принуждение в желания. Вместо этого Марчер до самого конца поворачивается спиной — воссоздавая двойной сценарий гомосексуального принуждения и гетеросексуального принуждения. «Он увидел Чашу своей жизни и Зверя; увидел, как этот огромный, уродливый Зверь, затаившись, припадает к земле, а потом, точно поднятый ветром, весь напряжись, взлетает для сокрушительного прыжка. В глазах у Марчера потемнело, он отпрянул — Зверь был уже рядом — и, спасаясь от галлюцинации, ничком упал на могилу» (402/431).

¹ Письмо Лоуренса к Джесси Чамберс, август 1910 года, *The Collected Letters of D. H. Lawrence*, ed. Harry T. Moore London: W.H. Heinemann, 1962), 1:63.

² Письмо Лоренса к Рольфу Гарднеру, 9 августа, 1924 года. В *Collected Letters*, 2:801.

³ Gray, *Homosexuality*, chapters 1—3. Обратите внимание на особенно яркие примеры на стр. 68—69, 76—77.

⁴ Gray, *Homosexuality*, p. 25.

⁵ *Between Men*, pp. 83—96.

⁶ Claude Lévi-Strauss, *The Elementary Structures of Kinship* (Boston: Beacon Press, 1969), p. 115; также цитируется и глубоко дискутируется у Rubin, «The traffic in Women,» pp. 157—210.

⁷ Heidi Hartmann, «The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union,» in Lydia Sargent, ed. *Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism* (Boston: South End Press, 1981), p. 14; курсив мой.

⁸ См. сноску 6 к гл. 3. — *Прим. ред.*

⁹ Gray, *Homosexuality*, chapter 4.

¹⁰ *Between Men*, pp. 88—89.

¹¹ Под «параноидальной готикой» я имею в виду романы эпохи романтизма, в которых герой-мужчина состоит в тесных, часто убийственных отношениях с другим мужским персонажем, в каком-то смысле его «двойником», для которого его сознание является прозрачным. Примеры параноидальной готики включают, кроме «Франкенштейна», «Итальянца» Энн Рэдклифф, «Калей Уильямс» Уильяма Годвина, «Исповедь раскаявшегося грешника» Джеймса Хоггса. Эта традиция подробнее рассматривается в *Between Men*, chaps 5 and 6.

¹² Freud, «Psycho-Analytic Notes upon an Autobiographical Account of a Case of Paranoia.»

¹³ Еще о холостяках см. у Frederic Jameson, *Wyndham Lewis: Fables of Aggression* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1979), chap. 2; у Джеймсона также цитируется Jean Borie, *Le Célibataire français* (Paris: Le Saggiataire, 1976); and Edward Said, *Beginnings* (New York: Basic Books, 1975) pp. 137—52.

¹⁴ Henry James, *The Notebooks of Henry James*, ed. F.O. Matthiessen and Kenneth B. Murdock (New York: Oxford University Press, 1947); p.28.

¹⁵ Литература о холостяках, в которой параноидальная готика — или, шире, сверхъестественное — появляется вновь, включает в себя, помимо «Трильби» Дюморье и многих рассказов Джеймса, таких как «Веселый уголок», «Поднятую вуаль» Джордж Эллиот, «Доктора Джекила и мистера Хайда» Стивенсона и рассказы Киплинга, например «В одной лодке».

¹⁶ Соответственно в Trollope's *The Claverings* and Thackeray's *Pendennis and Vanity Fair*, «Мыльный» Спондж в P.S. Surtees's *Mr. Sponge's Sporting Tour*.

¹⁷ *Lovel the Widower*, in *Works of Thackeray*, vol. 1, (New York: National Library, n.d.) Chapter 2. Все ссылки на этот роман относятся к этому изданию и цитируются с указанием страниц в скобках.

¹⁸ На эту тему см. Barbara Hardy, *The Exposure of Luxury: Radical Themes in Thackeray* (London: Owen, 1972), pp. 118—60.

¹⁹ Richard Miller, *Bohemia: The Protoculture Then and Now* (Chicago: Nelson Hall, 1977) p.58.

²⁰ Некоторые рассуждения о том, как и когда это стало репрезентироваться в нарративе развития, см. в *Between Men*, pp. 176—79.

²¹ James, *Notebooks*, pp. 97—98.

²² «Ballads», in *Works of Thackeray*, 6:337.

²³ George Du Maurier, *Trilby* (New York: Harper & Bros., 1922), p.271.

²⁴ Эффект яркого примера следует воспринимать с осторожностью — не потому, что отнесение к этим конкретным людям опыта мужской гомосексуальной паники может показаться некорректным, а потому, что гораздо легче вдохновиться по поводу мужчин, которые предположительно являются гомосексуалами (если существует такая вещь) «базовой» сексуальной ориентации; я же пытаюсь доказать, что эта самая паника соотносится не с гомосексуальными, а с негомосексуально-идентифицируемыми элементами характеров этих мужчин. Следовательно, если Барри и Джеймс очевидно являются авторами, с которых можно *начать* анализировать мужскую гомосексуальную панику, то рассуждения, которые я предлагаю здесь, должны стать неадекватными в том смысле,

ле, что они работают так же хорошо — и даже лучше — в отношении Джеймса, Фолкнера, Лоуренса, Йейтса, и т. д.

²⁵ Leon Edel, *Henry James: The Middle Years: 1882–1895*, vol.3 of *The Life of Henry James* (New York: J.B. Lippincott, 1962; rpt. Ed., New York: Avon Books, 1978), демонстрирует, что эти контакты — совпадение поездок в некоторые города и совместные путешествия в другие (там же, 3:94), «специальные встречи» в Женеве (3:217), некоторое время проживание в одном доме — осуществлялись с постоянно и совершенно необъяснимой секретностью. Джеймс также, похоже, приложил все усилия к тому, чтобы уничтожить все свидетельства переписки с Вулсон. Эдель, однако, не представляет себе эти отношения кроме как «продолжительную и целомудренную привязанность»: «То, что эта милая педантичная старая дева могла питать надежды на более близкую связь, похоже, тогда не приходило ему в голову. Если бы это случилось, можно предположить, что он немедленно установил бы дистанцию между собой и ею» (3:217). Однако гипотеза Эделя, безусловно, не объясняет секретность этих и других встреч.

²⁶ Edel, *Life of James, vol. 4, The Master: 1910–1916* (1972), pp. 132–40.

²⁷ «The Best in the Jungle», in *The Complete Tales of Henry James*, ed. Leon Edel (London: Rupert Hart-Davis 1964). Цитаты приводятся из русского перевода: Джеймс Г. Зверь в чаше // Избранные произведения в двух томах. Т. 2. — Л.: «Художественная литература», 1979. С. 431. В скобках к цитатам приведены номера страниц.

²⁸ Любопытно, что в 1895 году, в зародыше (того, что материализовалось в) «Зверя в чаше», в «Дневнике» Джеймса (James, *Notebooks*, p. 184) женщина переживает мужчину. «Именно женщина понимает, что растет (росло) и зреет в нем... Она его Мертвая Сущность: он живет в ней и мертв в себе самом — что-то вроде маленькой формулы, которую я предугадываю. Он, мужчина, должен умереть, и материально тоже, в рассказе — умереть во плоти, как давно уже умер его дух, истинный дух. И так его утраченное сокровище оживает легче всего — не противопоставленное более его материальной сущности, существованию в его лживой, неправильной оболочке».

²⁹ Цит. по Boswell, *Christianity*, p. 349 (из юридического документа, датированного 533 г.) и p. 380 (из письма Папы Онориуса III, 1227 г.).

³⁰ Цит. по Bray, *Homosexuality* — первые два фрагмента p. 61 (из Edward Coke's *Institutes* и Sir David Lindsay's *Works*), следующие два p. 62 (из William Bradford's *Plimouth Plantation* и Gillaume Du Barras's *Divine Weeks*), последние два p. 22, также из Du Barras.

³¹ Douglas, «Two Loves».

³² См. поразительно анекдотичный пример на эту тему у Beverly Nichols, *Father Figure* (New York: Simon & Schuster, 1972), pp. 92–99.

³³ К известным мне исключениям относятся дискуссия о Джеймсе в: George-Michel Sarrotte *Like a Brother, Like a Lover: Male Homosexuality in the American Novel and Theater from Herman Melville to James Baldwin*, trans. Richard Miller (New York: Doubleday/Anchor, 1978); Richard Hall, «Henry James: Interpreting and Obsessive Memory», *Journal of Homosexuality* 8, No. 3–4 (Spring-Summer 1983): 83–97; Robert K. Martin, «The 'High Felicity' of Comradeship: A

radeship: A New Reading of Roderick Hudson», *American Literary Realism 11* (Spring 1978): 100–108; and Michael Moon, «Sexuality and Visual Terrorism in The Wings of Dove», *Criticism* 28 (Fall 1986): 427–43.

³⁴ Восхитительный пассаж из «Дневника» Джеймса (James, *Notebooks*, p. 318), написанный в 1905 году в Калифорнии, показывает, как растущее само-сознание Джеймса через возросшее принятие и *специфичность* гомосексуального желания трансформирует эту полусознанную натужную риторику об анальности, бесчувственности и молчании в более полное, насыщенное обращение к мужской музе Джеймса, призыв к фистингу-как-écriture:

«Я сижу здесь по меньшей мере несколько недель, весь в долгах, с накопившимся внутри материалом, богатство которого я ощущаю, и, значит, мне нужно воззвать к старому знакомому демону терпения, который всегда приходит — не так ли? — когда я позову. Он здесь, рядом со мной, перед нами прохладный зеленый Тихий Океан — он сидит близко, и я чувствую его мягкое дыхание, которое холодит, успокаивает и вдохновляет, на своей щеке. Все тонет внутри, ничто не утрачено; все остается, зреет и возрождает светлые надежды, и я думаю с закрытыми глазами о глубоком и страстном желании, когда в жаркие летние дни в Л(эмб) Х(аусе), по окончании моего пыльного приключения, я смогу [погрузить] ладонь, руку внутрь, глубоко и далеко, вверх до самых плеч — в глубокий мешок воспоминаний — идей — воображения — творчества — и выуживать каждый маленький образ и блаженство, каждый маленький факт и причуду, которые могут мне пригодиться. Это все сейчас плотно уложено в недостижимости, слишком плотно, чтобы я мог проникнуть, глубже, чем я могу достать, и пусть они лежат там пока, в священной прохладной темноте, пока я не освещу их мягким спокойным светом Л(эмб) Х(ауса) — в котором они начнут светиться, и блестеть, и принимать форму золота и драгоценностей, выкопанных из недр».

³⁵ *Collected Poems of Emily Dickinson*, ed. Thomas H. Johnson (Boston: Little Brown, 1960), p. 406.

³⁶ Lytton Strachey, цит. по Michael Holroyd, *Lytton Strachey: A Critical Biography* (London: W.H. Heinemann, 1968), 2:179.

³⁷ Ruth Bernard Yeazel указывает на странность того факта, что Марчер поворачивается спиной к Зверю в тот момент, когда как будто бы репрезентирует узнавание самого себя (*In Language and Knowledge in the Late Novels of Henry James* [Chicago: University of Chicago Press, 1976], pp. 37–38).

ПРУСТ, или ЧУЛАН КАК СПЕКТАКЛЬ

«Vous devez vous y entendre mieux que moi, M. de Charlus, à faire marcher des petits marins... Tenez, voici un livre que j'ai reçu, je pense qu'il vous intéressera... Le titre est joli: *Parmi les hommes*».¹

Proust, *A la recherche*

Вопросы, которые мы рассматривали вплоть до этого момента, были вопросами об изначальных структурирующих невозможностях в современном гомо/гетеросексуальном определении, не о том, как это некогерентное распределение можно пропорционализировать или исправить, не о том, что оно значит или даже каким образом оно значимо, но о том, что и как вызвало его к жизни. *A la recherche du temps perdu* просто напрашивается на роль знаменательного для такого изыскания текста. Тогда как фигура Уайльда оказала наиболее формативное влияние на гомосексуальное определение и гомосексуальную идентичность англо-европейских гомосексуалов на рубеже веков (включая прустовские), *A la recherche* и сейчас так и остается самым важным центром жизненной энергии высокой литературной гей-культуры, так же как и многих проявлений современной высокой литературной культуры в целом. Эпопея предлагает то, что выглядит определяющей сценической постановкой ведущих некогерентностей современной геевской (а отсюда и негеевской) сексуальной спецификации и геевского (а отсюда и негеевского) гендера: то есть определяющей в установлении позиций и линий зрения, но не в смысле препятствования дальнейшему исполнению, а даже наоборот — поскольку, видимо, чуланная драма *A la recherche* до сих пор на сцене, разыгрываемая непреходящими и меняющимися обращениями к ее скрывающимся и вновь открывающимся: ярости, волнению, сопротивлению, удовольствию, необходимости, проекции и исключению.

Два развернутых недавно прогеевских критических подхода к некогерентностям гомосексуальности у Пруста, противоположных по тону и методологии и во многом противоположных в своей интенции, похоже, находят одинаково необходимым совершить сходные жесты разъяснения прустовской трактовки сексуальной спецификации, не признавая одну ее сторону и идентифицируясь с другой и ее лелея. Книга Дж. Риверса 1980 года «Пруст и искусство любви», посвященная трактовке центральности гомосексуальной «темы» у Пруста и отличающаяся интересными научными находками и ужасным стилем, в основном пытается исправить Пруста в том, что касается геевской проблематики, в особенности его «негативных стереотипов» в этом отношении, — в соответ-

вии с последними эмпирическими исследованиями. Результат этих исследований, как его воспроизводит Риверс, заключается в доказательстве полнейшей *нормальности* гомосексуальной ориентации — то есть, в конечном итоге, отсутствия в ней эвристического интереса. Книга написана в монотонной манере, призванной отбить охоту к дальнейшему текстуальному производству:

«Является установленным фактом, что гомосексуальность — это извечная сторона сексуальности млекопитающих, не патологическое состояние и не биологическая перверсия. Она существовала всегда, как среди людей, так и среди животных».²

«Эти два вида любви {гомосексуальная и гетеросексуальная} могут включать в себя и часто действительно включают в себя сопоставимые чувства нежности, сопоставимые проблемы [взаимного] приспособления и сопоставимый потенциал взаимного уважения и обогащения» (4).

Риверс цитирует лабораторные эксперименты, демонстрирующие, что на самом деле гомосексуалы *не* более творческие люди, чем гетеросексуалы (181–82); он считает, обращаясь к теме взаимного признания геев, что «для всякого, кто задумается хоть на минуту, должно стать очевидным... что гомосексуально ориентированные люди не организуются и не коммуницируют друг с другом сколько-нибудь более систематически или сколько-нибудь более умело, чем другие классы людей» (172);³ и, поскольку он славит идеал андрогинии, он отделяет ее от гомосексуальности и со всей возможной твердостью осуждает любой резонанс или какой бы то ни было культурный катексис между гомосексуальной и гендерной идентификацией. В своем рвении откорректировать прустовские «негативные стереотипы» и взрастить компенсирующее, нормализующее позитивное (позитивистское) знание Риверс выбирает одну часть книги, вступительную часть «Содома и Гоморры», «Введение к мужеженщинам Содома» — эту часть нередко называют «*La Race maudite*»⁴ — и прустовскую трактовку барона де Шарлю, столь выпукло здесь выступающего, в качестве воплощающей прустовские «искажения, полуправды, старомодные идеи и постоянные прорывы... интернализированной гомофобии» (205); тогда как последующая трактовка сексуально неопределенной Альбертины — это (видимо, поскольку она *не* касается в точности гомосексуальности) объект повторяющейся Риверсовой хвалы.

В своей недавней радикально антипозитивистской работе о Прусте и Мелани Кляйн, настолько же чуткой к прустовским тонам, насколько книга Риверса к ним глуха, Лео Берзани тем не менее разыгрывает тот же самый акт разведения последних книг *A la recherche* и производит в отношении их такую же двойную оценку. Берзани, так же как Риверс, выбирает для хулы «Введение к мужеженщинам», «банальную тематизацию гомосексуальности... тематизацию разом сентиментальную и редуци-

ную». В этой части в наибольшей степени Берзани возражает против самого факта отчетливой кристаллизации «вторичного и в некотором смысле разве что анекдотического вопроса о “сексуальном предпочтении”». ⁵ Подобно Риверсу, Берзани приходит к заключению, что от этой части *A la recherche* должно и можно «безоговорочно отмахнуться», опять же в свете последующих раздумий, связанных с Альбертиной, — раздумий над тем, как желание способно сохранять свою исходную подвижность, свои антисимволические «поисковые [appetitive] метонимии» (414).

Берзани связывает свое прочтение Пруста с тем доводом, что ранние работы Мелани Кляйн сходным образом говорят о возможности не сопровождающейся тревогой мобильности желания у ребенка, «первичного удовольствия» (407), предшествующего и противостоящего детскому фантазматическому, фетишизирующему символическому насилию, направленному на расчленение и возмещение (репарацию) материнского тела. Берзани дает самую высокую оценку этой возможности «первичного удовольствия» как противоположной агрессии дефиниционного увечья [наносимого материнскому телу]. Итак, благодаря этому доводу в случае Берзани еще более, чем в случае Риверса, заметно то, что верно для обоих: что каждый из этих двух читателей Пруста будет спровоцирован развернуть драмы расчленения и последующей репарации текстуального тела самой *A la recherche*: ⁶ «мужеженин Содома» как отравляющей груди, которую необходимо отсечь; метафорической Альбертины со щеками цвета герани как кормящей груди, которую, в свою очередь, необходимо насытить интерпретативной ценностью.

Кажется, что Риверс в своей почти героически неколебимой банализации вопроса сексуального выбора и Берзани в своем желании предусмотреть для Пруста «модус возбуждения, который... должен усиливать специфичность {объектов} и тем самым укреплять их сопротивление насилию символического намерения» (420), возможно, мотивированы каждый различным образом произведенным сопротивлением интерпретации гомосексуальной идентичности. Риверс сопротивляется этой интерпретации на основаниях нормализующей миноритарной политики [защиты] прав гомосексуалов, Берзани — исходя из видения бесконечного «феноменального разнообразия мира» (419) и, потенциально, — желания, справедливости слишком дисперсной, чтобы ее достичь с помощью «сентиментальной и редуکتивной тематизации» гомосексуальной идентичности. Я не вижу повода спорить с таким интерпретативным сопротивлением ни в случае Риверсова миноритизирующего, ни в случае Берзаниевского универсализующего подхода к вопросу об определении гомосексуальности (или этого вопроса неприятия). Некоторая форма такого сопротивления интерпретации — это, возможно, единственно правильная реакция на исторический факт чрезвычайного угнетения,

ния, что на протяжении почти всего века оказывалось как раз путем гиперстимуляции однонаправленных капилляров интерпретации. ⁷ И в то же время этот жест, которым каждый из читателей категорически отвергает одну ось поляризации текста, захватывая и присваивая противоположную ей, — в этом двойном ударе отрицания и приближения, — это единственный знаменательно эффективный способ привести в движение всю обширную машинерию текста. Представьте себе мобиль Колдера ⁸ монументальных размеров, и чего стоит заставить его двигаться. Этот мощный ход, однако, уже перенимает свои перформативные очертания у происходившего на рубеже веков кризиса некогерентности гомосексуального определения.

Предположим, что мы согласны — и я буду среди многих таких читателей — с восприятием главы о *la race maudite* у Пруста, в ее прямой тематизации гей-идентичности как сентиментальной и редуکتивной. Но предположим, что мы также следуем изысканиям Риверса, обнаружившего (как это сделал и Морис Бардеш), что именно возникшая в 1909 г. у Пруста концепция начала «*La Race maudite*» — возникшая в ответ на громкий гомосексуальный скандал в Германии — совершенно внезапно катализировала слияние в единый обширный литературный проект совершенно нового типа того, что ранее было просто собранием разнородных, плохо группирующихся фрагментов и идей. До 1908 года, как показывает Бардеш, у Пруста было два главных параллельных проекта, неудавшийся роман и работа о Сент-Беве:

«Но внезапно мы наталкиваемся, в середине Тетради 6 и в середине Тетради 7... на две серии разработок, чуждых как роману 1908 года, так и работе о Сент-Беве: разрозненные фрагменты, чье объединение [позднее] сформирует главу, озаглавленную «*La Race maudite*»... и первые отрывки, посвященные «ядрышку» Вердюренов. Наконец в середине Тетради 7 мы можем вычитать решающий признак — возникновение барона де Шарлю, представленного здесь под именем де Герси [M. de Guercy]; и в этот же момент мы открываем для себя безымянный пляж».

Как подытоживает Риверс, «Бардеш показывает, что эти эксперименты с гомосексуальностью как литературной темой придали работе Пруста «новую ориентацию». И он приходит к выводу, что именно в это время Пруст «начинает понимать, что из этих фрагментов он может сделать книгу»». ⁹

Если «*La Race maudite*» редуکتивна и сентиментальна, с одной стороны, и все же, с другой стороны, стала центром катализации — единственным, как мы видим, — для большого труда, к которому такие эпитеты обычно не применяются, то стоит присмотреться, а что же на самом деле мы говорим и делаем, когда ими пользуемся. «Редуکتивная» наводит на мысль об отношении части к целому, где часть как будто бы претендует на адекватную репрезентацию целого через простую количест-

венную конденсацию (как густая подливка к жаркому); однако несколько негативная форма прилагательного в то же время как бы уличает эту часть в однобокости или *качественном* отличии [от целого]. Как описание «Введения к мужеженщинам» в отношении к целому *A la recherche*, [такая характеристика] примечательным образом соответствует тому, что я описывала ранее как нерасторжимое и некогерентное сочетание в этом веке концептуальных неконгруэнтностей между миноритизирующим и универсализующим взглядами на гомосексуальное определение. То есть глава, что материализует и кристаллизует как принцип [построения] персонажей («вторичный и, в некотором смысле, разве что анекдотический вопрос о “сексуальном предпочтении»»), по необходимости репрезентирует неправильно, все ж таки репрезентируя (всякая тематизация здесь «банальная тематизация») то, что более универсальным и потому *иным* образом рассеяно повсюду как нарративный потенциал. Однако особенность, характерная черта и действующий импульс этого диффузного рассеяния неявным образом, но *зависит от* базового для него потенциала банальной тематизации, тогда как сама банальная тематизация (как в форме главы о «мужеженщинах», так и в теле де Шарлю) демонстрирует — тогда, когда она это неконтролируемо *передает*, — чистую репрезентационную тревогу своей редуцированной компактификации.

Однако же, несмотря на то, что «*La Race maudite*» почти всегда и всюду воспринимается как дистилляция определенной миноритизирующей, гендерно-транзитивной парадигмы извращения в его чистейшей форме, тем не менее она кишит разными версиями тех же противоречий, что ее окружают. Например, она чувствительна к различию между целью и объектом: «Одни из них {извращенцев}... равнодушны к чувственной стороне наслаждения: им важно соотносить получаемое ими наслаждение с лицом мужчины. Другим... непременно требуется локализация чувственного наслаждения» (С 645/СГ 35).¹⁰ И снова, в том же предложении, в котором рассказчик описывает извращенцев как таких, у которых вырабатываются — хотя и *вследствие гонений* — «физические и моральные особенности *расы*», он также предлагает некоторые элементы историзирующего конструктивистского подхода к гомосексуальной идентичности. Извращенцам, говорит он,

«доставляет удовольствие напомнить, что и Сократ был один из них... забывая о том, что понятие ненормальности не существовало в те времена, когда гомосексуальность являлась нормой... что только позор рождает преступление, ибо благодаря ему выживают только те, в ком никакая проповедь, никакие примеры, никакие кары не могли побороть врожденной наклонности, которая из-за своей необычности {*tellement spéciale*} сильнее отталкивает других людей... чем... пороки более понятные... с точки зрения обыкновенного человека» (С 639/СГ 30–31).

Однако к концу главы нам дают понять, что, несмотря на всю необычность, *tellement spéciale*, эти «исключительные» существа «весьма многочисленны» — «Если кто может сосчитать песок морской, то и потомство {их} сочтено будет» (С 654–55/СГ 42). Более того, рассказчик чуть ли не осмеливается открыть читателю, что его миноритизирующий подход объясняет также «нахальные» мотивы и чувства самозащиты, именно вследствие которых рассказчик (сам?) может предлагать и *фальшиво* миноритизирующий взгляд на сексуально извращенных:

«Эти изгои, составляющие... мощную силу, присутствие которой подозревают там, где ее нет, но которая нахально и безнаказанно действует у всех на виду {*étalée*: разворачивается, раскрывается, разоблачается} там, где о ее присутствии никто не догадывается, — они находят себе единомышленников всюду: среди простонародья, в армии, в храмах, на каторге, на троне; они живут (по крайней мере, громадное их большинство) в обвораживающем и опасном соседстве с людьми другой расы, заигрывают с ними, в шутовском тоне заговаривают с ними о своем пороке, как будто сами они им не страдают, и эту игру им облегчают ослепление или криводушие других...». (С 640/СГ 31)

Из такого пассажа можно заключить, что в конечном итоге «другой расы» оказывается не кто другой, как читатель, к которому пассаж обращен! Но, разумеется, его «обвораживающая и опасная» агрессия включает в себя также, в последних пяти словах, намек на то, что даже читатель, скорее всего, имеет свои собственные идентичные мотивы тайного соучастия в дефиниционной сегрегации *la race maudite*.

И в терминах гендера также то, что выглядит как общеизвестный тезис прадоктрины сексуального извращения, *anime muliebris in corpore virili inclusa* [женская душа, заключенная в мужском теле], на самом деле представляет куда более сложный и противоречивый кластер метафорических моделей. Даже если рассуждать крайне грубо, [мы обнаружим, что] объяснение, что Шарлю желает мужчин, поскольку глубоко внутри он женщина, объяснение, которое в этой главе, да и во всей книге предлагается вновь и вновь, серьезным образом расшатывается даже на протяжении короткого промежутка между моментом, когда рассказчик впервые понимает, что Шарлю напоминает ему женщину (С 626/СГ 20), и той последующей эпифанией,¹¹ что он походил на женщину, потому что «он в самом деле был женщиной!» (С 637/СГ 28). Однако то, чему рассказчик был свидетелем в этом промежутке, — далеко не завоевание этого «я» с женским гендером другим «я», контрастно изображенным как мужское. Отнюдь, и осторожный флирт Шарлю и Жюльена представлен в двух других ракурсах. Сперва он выглядит как зеркальный танец двойников, [движущихся] «в полном соответствии [друг другу]» (С 626/СГ 21), исподволь подтачивая решение рассказчика отвергнуть термин «гомосексуальность» по причине его принадлежности модели подобия. В то же время — действительно потрясающе, и потря-

сающе не менее от того, что эта апория проходит неотмеченной, — их взаимодействие изображается как ухаживание изображаемого *самцом* Шарлю за изображаемым *самкой* Жюльеном. «[М]ожно было бы сказать, что это две птицы, самец и самка, и что самцу хочется подойти поближе, а что самка — Жюльен — хотя и никак не отвечает на его заигрывания, однако смотрит на своего нового друга без всякого удивления...» (С 628/СГ 22).

Эта гендерная система образов дестабилизируется еще больше надстраиваемой над ней ботанической метафорой, в которой различие пол/гендер и различие видовое удерживаются почти репрезентирующими и потому почти перекрывающимися одно другое. Обрамление «*La Race maudite*» включает в себя демонстрацию на окне, выходящем на внутренний дворик Германтов, редкой орхидеи («они все — дамы»), что может быть опылена только с помощью счастливого вмешательства пчелы одного-единственного вида. Как говорит герцогиня, «Они из породы растений, у которых дамы и джентльмены растут на разных стеблях... Есть насекомые, которые берутся устраивать им браки, как для монархов, по доверенности, так что жених и невеста до свадьбы даже не видятся... Но на это так мало надежды! Только подумайте: нужно, чтобы насекомое сначала увидело цветок того же вида, но другого пола и чтобы ему пришла мысль занести в наш дом визитную карточку. Пока оно не прилетало» (G 535–36/Г 441). И в последней фразе «*La Race maudite*» рассказчик «досадует на то, что внимание мое приковал к себе союз Жюльен — Шарлю и что из-за этого я, может быть, пропустил оплодотворение цветка шмелем» (С 656/СГ 42).

То, что постоянно подчеркивается в этой аналогии между ситуациями Шарлю и орхидей, — это пафос маловероятности осуществления, пафос абсурдности и невозможной специализированности, сложности в реализации потребности каждого. И этот момент явным образом нивелируется универсализующим ходом в конце главы («После того, как мне... открылось столь редкое соединение, я преувеличивал его необычность» (С 654/СГ 41)). Более того, потихоньку он нивелируется на всем протяжении остальных томов *A la recherche*, где любовные отношения, которые установились в этом случае между Шарлю и Жюльеном, демонстрируются как (хотя нигде об этом не говорится прямо) единственное исключение из каждого Прустового закона любви, ревности, триангуляции и радикальной эпистемологической нестабильности; без всяких комментариев или рационализаций любовь Жюльена к Шарлю показывается непоколебимой на протяжении десятилетий и основывающейся на совершенно надежном знании своего ближнего, который не является ни твоей противоположностью, ни твоим симулякр.

Даже если не придирается к пафосу редкости и хрупкости брака орхидей, эта аналогия тем не менее открывается зияющим концептуаль-

ным провалом, если попытаться — как это постоянно происходит на протяжении главы — сравнить любую модель однополого желания с помолвкой девственных орхидей. В конце концов различие между ситуацией растущих вдаль друг от друга орхидей и ситуацией любой нормативной гетеросексуальной людской пары не в том, что орхидей-партнеры одного и того же пола, и не в том, что одной из них или обоим приписывается или придается не тот пол: одна из орхидей все так же — обычная мужская особь, а другая — обычная женская. Скорее необычность их ситуации в том, что, будучи неподвижными, они должны обращаться к третьей стороне — другого вида, неважно какого пола — как к посреднику. Никакое картографирование Жюльена или Шарлю как насекомого или другой орхидеи ничего не проясняет в модели сексуального извращения и никак ее не углубляет; отвлекающий маневр рассказчика в сторону ботанического гермафродитизма (ради наслаждения другим межвидовым сочетанием) превращает возможное декодирование метафоры во все более головокружительно невозможное. И после всего этого такое наслоение «природных» образов, каждого со своим собственным кластером противоречивости, морализующе-научными обращениями к тому, что в конце концов «природно», может дать разве что эффект денатурализации самой природы как ресурса для объяснений, превращения ее вместо этого во всего лишь имя для пространства или даже для принципа своевольного потока определений. Вот лишь один пример, далеко не атипичный:

«Законы растительного мира подчиняются высшим законам. Для оплодотворения цветка необходим прилет насекомого, иными словами — занос семени с другого цветка необходим потому, что самооплодотворение, оплодотворение цветка самим собой, — подобно тому, как если бы в пределах одной семьи родственники женились только на родственниках, — привело бы к вырождению и к бесплодию, а от скрещивания, производимого насекомыми, новые поколения этого вида обретают такую силу жизни, какой не отличались старшие в их роде. Однако рост может оказаться слишком бурным, вид может слишком широко распространиться; тогда, подобно тому как антитоксин предохраняет от заболевания, подобно тому как щитовидная железа не дает нам разболеться, подобно тому как неудача карает нас за спесивость, усталость — за наслаждение и подобно тому как сон, во время которого мы отдыхаем, восстанавливает наши силы, совершающийся в исключительных случаях акт самооплодотворения в определенное время дает поворот винта, тормозит, вводит цветок в норму, от которой он слишком далеко отступил» (С 624–25/СГ 19–20).

Действует ли природа на уровне выживания индивидуума, вида или какой-то нависающей над ними «нормы» или «пропорции»; является ли, с другой стороны, наказание за моральные дефекты или, в альтернативном случае, смягчение их наказания телосом природы; следует ли «скрещивание, производимое насекомыми», понимать как пересечение

границ индивидуума, гендеров или форм жизни; почему природа приходит к решению избавить де Шарлю от своего режима гомеостаза щитовидной железы — вот лишь некоторые вопросы, которые нарратив провоцирует и тут же затирает.

Но этот треугольник орхидея—насекомое—орхидея, как настойчиво выдвигаемая на первый план аналогия для встречи на внутреннем дворе, наводит вот на какую мысль: на мысль о возможной зависимости этого как будто бы двустороннего эроса от наделенной высокой значимостью занятости некоторой мобильной, услужливой, энергичной, склонной к идентификациям третьей фигуры, что одновременно и является в нем посредником. Короче говоря, от рассказчика и/или того разнообразно неопределенного, акробатически шпионящего мальчика, каким он перед нами предстает; и возможно также — о зависимости от нас, поскольку мы приглашены скрупулезно изучать его заместительские телорасположения — и вместе с тем их занимать. Как обсуждалось в главе 3, такое выдвижение на первый план читателя-вуайериста как подразумеваемого заместителя также может привлечь здесь наше внимание к другой проклятой категории, выслеженной Берзани в этой главе [эпопеи] Пруста: к категории «сентиментального».

О феномене «сентиментальности», как мы говорили более определенно о таких субкатегориях заместительных отношений знания, как похоть, болезненность, пронизательность и снобизм, можно сказать две вещи. Во-первых, и это самое важное: *познавать захватывает*. Кажущаяся симметрия этого эпистемологического лозунга, где Тот, кто Познает, и Тот, кто Захвачен, выглядят взаимозаменяемыми, скрывает крайнюю асимметрию риторического позиционирования, присущего проективной действенности таких атрибуций. Баллистика «сентиментального» требует застывших рамок одной цели, одного воплощения сентиментальности, его представления *как спектакля* для будущей сентиментальности, чья собственная привилегированная развоплощенность и невидимость сохраняется и делается вновь и вновь возможной благодаря этому чрезвычайно отличительному акту постановки. Итак, во вторую очередь следует сказать, что сентиментальность *как спектакль* структурирована совершенно отлично от сентиментальности *как точки зрения* или обиталища; что это отличие риторично и что она несет самую большую ответственность за перформативную/сценическую силу текста.

Познавать захватывает: Стоит ли мне пояснять, что первое прибежище такой структуры у Пруста — это эпистемология чулана? Как заявляет Пруст во «Введении к мужеженщинам»,

«Двух ангелов, поставленных у врат Содома, чтобы узнать, как сказано в Книге Бытия, точно ли содомляне поступают так, каков вопль на них, восходящий к Предвечному, Господь — чему, впрочем, можно только порадоваться — выбрал опрометчиво, лучше бы он поручил это кому-нибудь из содомлян.

Такого рода оправдания: «Я отец шестерых детей, у меня две наложницы» и т. д. — не смягчили бы его и не заставили бы опустить пламенный меч... Эти потомки содомлян... распространились по всей земле, занимаются чем угодно, необычайно легко становятся членами клубов, доступ в которые вообще крайне ограничен, и, если кто-нибудь из содомлян туда все-таки не попадает, это значит, что черных шаров наложили ему главным образом такие же содомляне. мечущие на содомию громы и молнии, ибо они унаследовали от предков лживость, благодаря которой тем удалось покинуть богом проклятый город» (С 655/СГ 41–42).

Этот важный пассаж, безусловно, реализует, разыгрывает как раз тот самый процесс, который описывает: как биография Пруста, так и, что более важно, сам пассаж говорят нам о том, что та безаппелляционная мудрость мирская, которая одна лишь и может подписаться под столь огульными атрибутами, доступна только наблюдателю, кто сам из «потомков содомлян» и «унаследовал лживость» гомофобных отречения и проекции. Что приводит нас к заключению, что способность артикулировать мир как целое, как вселенную, что включает «мирское» (хотя может и превосходить его), может также ориентироваться вокруг атрибутивно напряженной зеркальной оси между двумя чуланами: от чулана наблюдаемого, *чулана как спектакля*, к его скрытому режиссеру и потребителю, к чулану обитаемому, к *чуланной точке зрения*.

Если это правда — или как минимум правда «мирская», как это мы находим у Пруста, — тогда весь ее смысл в том мире, где именно внедрение — для повествовательных целей — барона де Шарлю в повествовательную матрицу «La Race maudite» в 1909 году ретроактивно возымело силу, достаточную для того, чтобы в первый раз [успешно] выстроить как рассказчика для более чем фрагментарного и более чем сентиментального нарратива того таким образом бестелесного говорящего, чье имя, вероятно, не Марсель. «La Race maudite», может быть, наименее аппетитная область *A la recherche*, но ее *genius loci* [дух места] де Шарлю тем не менее в эпопею — наиболее восхитительным образом потребляемый продукт. И бесконечное, бесконечно щедрое производство де Шарлю — как спектакль, как, если быть точной, спектакль чулана — позволяет миру эпопеи обрести форму и провернуться вокруг стального стержня его, де Шарлю, дистанции от иначе структурированного чулана нарратива и нарратора.

Здесь следует себя успокоить: пока что аутентично банальное раскрытие Прустового рассказчика как гомосексуала в чулане не станет структурирующим жестом дальнейшего прочтения. Впрочем, я не вижу, как эта банальность может быть исключена из текста, хотя бы настолько, чтобы считаться обнаруживаемой по личному желанию. Кажется, эпопея и запрещает, и вымогает у своих читателей такое насилие интерпретативного разоблачения в отношении рассказчика, насилие тракто-

ки его чулана, в свою очередь, как спектакля. Наименее банальным вопросом здесь мог бы быть вопрос о том, как читательница, в свою очередь, конституируется в этом отношении: как, среди некогерентных конструкций сексуальности, гендера, приватности и миноритизации дающие опасные возможности поэтики и политики освобождения могут конструировать себя в ней и через нее.

* * *

Неотразимость барона де Шарлю: субъект как неисчерпаемый, как такой, к которому трудно приблизиться, то есть, отмечает Пруст, — как субъект профанации матери — к которой, мы вынуждены добавить, он совершенно никак не относится. Шарлю — это чудесный дар, что оставляет *себя открытым* любопытству и удовольствию читателя. По крайней мере таково ощущение читателя, согласного не слишком концентрироваться на механике этого сверхъестественного предложения. Как «верные» в дачном поезде, читатели некоторых долгих эпизодов *A la recherche* могут почувствовать, что

«не встретившись с де Шарлю, они испытывали некоторое разочарование, оттого что ехали с самыми обыкновенными людьми и рядом с ними не сидел этот таинственный накрашенный человек с брюшком, похожий на какую-то подозрительную экзотическую шкатулку, странно пахнущую плодами, *soulèverait le coeur* [позывающими на тошноту] при одной мысли, что вы их станете есть» (С 1074/СГ 398).¹²

(Я привожу в последней фразе французский текст, поскольку Скотт Монкриефф столь соблазнительно трактует его как «бередить сердце»;¹³ Килмартин бесстрашно поправляет — «вызывать тошноту»). Сходя по Шарлю с ума — якобы вопреки его гомосексуальности, но фактически «не отдавая себе отчета [практически бессознательно]» благодаря ей (С 1075/СГ 397), — кружок Вердюренов тем не менее непрерывно образует вокруг него пену гомофобического остроумия, разворачивающегося за пределами его восприятия, но деликатно воспроизводимого для своих. Осторожный или дерзкий узор запутанных периметров «тайны» Шарлю придает его присутствию бесконечно обновляемый трепет, ощущаемый «верными» и их читателями. Весь магнетизм каждого элемента нестабильности эпистемологии чулана в двадцатом веке излучается от барона и обратно к нему, даже если нельзя утверждать, что этот магнетизм ему и принадлежит.

Начнем с того, что он отчужден от полномочия описывать свою собственную сексуальность. Наиболее симптоматично это выглядит в той метафорике, в которой презентации рассказчиком Шарлю упорно стремятся воззвать к профессиональному медику и идентифицироваться с таким профессионалом:

«Врачу-клиницисту не нужно даже, чтобы больной, находящийся под его наблюдением, поднял рубашку, не нужно проверять, как он дышит, — ему важен голос больного. Сколько раз потом где-нибудь в гостиной меня поражали чьи-нибудь интонации или смех... по фальшивому тону этого человека мой слух, чуткий, точно камертон настройщика, мгновенно угадывал: “Это один из Шарлю”» (С 688/СГ 70).

Когда с ходом времени ранее гипервирильный Шарлю становится более женственным, рассказчик диагностирует:

«теперь у него произвольно вырывалось что-то вроде негромких вскриков — нечаянных, но тем более значительных, которыми сознательно обмениваются извращенцы, перекликающиеся, называя друг друга “милочка”: это нарочитое ломание [“camping”], которому Шарлю так долго не поддавался, представляло собой на самом деле искусное, гениальное воспроизведение такими, как де Шарлю, манер, которые были свойственны им всегда, но к которым они стали прибегать только теперь, вступив в определенную фазу их порока: так у паралитика или у страдающего атаксией в конце концов неизбежно появляются известные симптомы. В сущности, в этом изобличении внутреннего ломания между строгим Шарлю в черном костюме, Шарлю, подстриженным бобриком, Шарлю, которого я знал давно, и накрашенными молодыми людьми, увешанными драгоценностями, была та бьющая в глаза разница, какая существует между взволнованным человеком, говорящим быстро, которому не сидится на месте, и невропатом, цедящим слова сквозь зубы, всегда флегматичным, но страдающим той же формой невращения с точки зрения врача, знающего, что и тот и другой так же тоскуют и обнаруживают признаки одного и того же заболевания» (Сар 209/П 209).

Рассказчик чуть ли не заявляет, что медицина — это та дискурсивная система, в которой де Шарлю можно рассматривать наиболее адекватно. Врачи появляются в таких пассажах только метафорически, но они появляются в дверях снова и снова, со всей регулярностью прошлого времени.¹⁴ Их функция здесь — не творить правосудие над Шарлю и его собратьями. Но тот факт, что с конца девятнадцатого века именно медицинской наиболее надежным образом совершалась работа по таксономии, этиологии, диагнозу и *сертификации* феномена сексуального извращения, означает, что даже вестибюльный визит врача-консультанта ратифицирует изумительную и необратимую экспроприацию. Ибо, поскольку известно, что существует система, согласно которой полномочия классифицированного извращенца говорить, что в нем добровольное, а что вынужденное, что истинное, а что имитация, что сознательно и что бессознательно, не просто у него изымаются, но и помещаются в бронированный эпистемологический сундук его опекуна, результат этого таков, что не только профессиональный врач, но и *каждый*, кто видит и идентифицирует извращенца, чувствует себя уверенным, что знает о нем больше, чем тот знает о себе сам. Само существование экспертизы, в чьем бы

ведении она ни находилась, гарантирует каждому, кто не является ее объектом, наделяющее властью и волнуемое зеркальное отличие [от этого объекта] в знании, что как бы моментально изолируется от резкости «Познавать захватывает».

Итак, если пребывание Шарлю в чулане означает, что он обладает тайным знанием, это тем более означает, что тем же знанием обладает каждый из тех, кто его окружает; их непрерывное раскрытие интриги, с помощью которой он скрывает свою тайну от них, дает им возможность плести куда более богатую интригу, скрывающую его тайну от него же.¹⁵ Безусловно, упорство этой драмы есть знак того, насколько хищна и разрушительна сознательная воображаемая жизнь кружка Вердюренов. Однако рассказчик обращает ее и как свою, а тем самым как нашу воображаемую жизнь также. «Если, — недобро шепчет скульптор Ский в поезде, — барон начнет строить глазки кондуктору, то мы никогда не доедем до места, ведь поезд-то пойдет назад» (С 1075 / СГ 398); но именно голосом самого рассказчика [фигура] Шарлю, держащегося прямо «ради того, чтобы сохранять горделивую осанку, ради того, чтобы производить впечатление, ради того, чтобы оттенить свой дар красноречия», предлагается нам столь грубо наклепленной на ритуально высвобожденное телесное основание «*un derrière presque symbolique*» [зада, являвшего собой почти символ], отвернутого от него самого и тем самым выставленного для шпионского наблюдения и интерпретации кого угодно, но только не его самого (С 890 / СГ 239 / Pléiade II: 861).

Конечно, у Пруста это отнюдь не неслыханная вещь — а фактически закон, — что персонажи обретают жизненную энергию и импульс в той степени, в какой они мистифицированы относительно своих произвольных, неподлинных или бессознательных мотиваций. Шарлю — не исключение из этого закона, но его пылающее жертвенное воплощение, неопалимая купина, сама плоть этого слова. Давление *presque* в *presque symbolique*, сопротивление окончательному включению Шарлю в некоторую *адекватно* познаваемую интерпретативную систему говорят о том, что скандализующая материальность этого толстяка обладает слишком решающей производительностью в запускающих цепях некогерентности в тексте, чтобы было позволительно ее полностью сублимировать. Эти запускающие некогерентности включают в себя те нестабильные дихотомии, что мы обсуждали как спорные зоны, что были отмечены наиболее неизгладимо кризисом гомо/гетеросексуального определения на рубеже веков. Наиболее очевидные среди них — это дихотомии секретности/раскрытия и частного/публичного; маскулинное/феминное в случае Шарлю также оказывается слишком широкой и всепроникающей определительной и описательной проблематикой, чтобы требовать или допускать какое-либо резюме.¹⁶ Вызванная таксономическим взглядом передача полномочий обозначает, что является естественным/искусст-

ственным, здоровым/декадентским, что новым/старым (или молодым/старым), особенно ясна во фразе, откуда я уже цитировала отрывок:

«Сейчас, когда он в светлом дорожном костюме, в котором он казался толще, шел вразвалку, вихляя животиком и виляя задом, являвшим собой почти символ, беспощадный дневной свет, падая на его подкрашенные губы, на припудренный подбородок, где пудра держалась благодаря кольдкрему, на кончик носа, на черные-черные усы, никак не гармонировавшие с седеющей шевелюрой, разлагал то, что при свете искусственном создавало бы впечатлительные свежести и молоджавости» (С 1075/СГ 398).

Декаданс наружности (в свифтианской буквальности ее разложения на отдельные части), что выглядит тем же самым, что и демонстрация каждой из этих частей своей искусственности, раскрывается через хиазмическое отношение между объектом и обстоятельствами его наблюдения (поскольку то, что выглядит естественным в искусственном свете, выглядит искусственным в свете натуральном), которым наблюдающий высвобожден в восприятии из репрезентационных разломов, сформированных описанием.

Шарлю не только не одинок в своей самоидентификации в каждой из этих точек, но он вписан в текст, где каждая из них помещается в центр проблематизации. Что бы ни захотелось нам сказать о западной культуре модерна в целом, Пруст вряд ли будет главным экспонатом, если нам придет в голову демонстрировать, — даже только для того, чтобы немедленно деконструировать — нормативные привилегии, например мужского перед женским, большинства перед меньшинством, невинности перед инициацией, природности перед искусственностью, роста перед декадансом, здоровья перед болезнью, познания перед паранойей или воли перед невольностью. Но опять, кажется, что это сама обстановка дестабилизации делает столь центральной и столь (для процесса чтения) драгоценной непрерывность фронтального ликования, с которым стеклянный чулан Шарлю выставлен пред голодные очи созерцателя витрин. Каждая этическая оценка, каждый аналитический вывод имеют собственную летучую барометрическую карьеру, и не в последнюю очередь — в своих включениях в фигуру Шарлю. Но отношения «кто кого видит» — и кто кого, таким образом, описывает и потребляет, — гарантированные неудержимой тайной Шарлю, позволяют ему сиять и слепить со своих неколебимых, почти неподвижных высот нерационализируемой репрезентационной функции.

Возьмем тот известный момент в «*La Race maudite*», когда рассказчик, спрятавшись, наблюдает за внезапным и тайным переглядыванием Шарлю и Жюльена во дворе:

«Я хотел опять от него спрятаться, но не успел, да в этом и не было необходимости. Что же я увидел! В этом самом дворе, где они, конечно, до сих

пор ни разу не встречались... барон, вдруг широко раскрыв глаза, которые он только что жмурил, устремил до странности пристальный взгляд на бывшего жилетника, стоявшего в дверях своего заведения, а тот, пригвожденный взглядом де Шарлю, пустивший корни в порог, как растение, любовался полнотой стареющего барона. Но еще удивительнее было вот что: как только де Шарлю изменил позу, Жюльен, точно повинувшись закону некоего сокровенного искусства, точно так же изменил свою. Барон попытался сделать вид, будто эта встреча не произвела на него никакого впечатления, но сквозь притворное его равнодушие было заметно, что ему не хочется ухаживать: с фатоватым, небрежным и смешным видом¹⁷ он разгуливал по двору и смотрел в пространство, стараясь обратить внимание Жюльена на то, какие красивые у него глаза. А лицо Жюльена утратило скромное и доброе выражение, которое я так хорошо знал; он — в полном соответствии с повадкой барона — задрал нос, [привлекательным образом] приосанился, с уморительной молодцеватостью подбоченился, выставил зад, кокетничал, как орхидея с ниспосланным ей самой судьбою шмелем. Я никогда не думал, что он может быть таким отталкивающим...

Нельзя сказать, чтобы эта сцена была просто комичной; в ее необычности и, если хотите, естественности была своя красота, и красоты становилось все больше» (*Cities* 626–27/СГ 21).

«Еще удивительнее», «смешной вид», «привлекательным образом», «уморительная молодцеватость», «такой отталкивающий», «не просто комичная». Ощущаемые почти что кожей ветерки отклика и побуждения в этом пассаже веют от самоуверенности — то есть от явной произвольности, граничащей с самопротиворечивостью, — с которой расставляются эти прилагательные, каждое из которых намекает на предполагаемое отношение аудитории («удивительный», «смешной», «привлекательный», «уморительный», «отталкивающий», «комичный» — всякий раз для кого-то еще), отношение, которому шпионящий рассказчик в свою очередь готов воздушно и вязко потакать, его использовать — или замещать. В той степени, в которой способность каждого ребенка выживать в мире может быть схематически представлена через ее неравномерное владение последовательностью прилагательных-предикатов (важной вехой на каждом этапе здесь будет способность сформулировать следующее: «Я совсем устала», «X дерется», «Y умирает», «Z совсем тупой», «A и B ссорятся», «C прекрасна», «D пьян», «E беременна» [в английском языке все предикаты в этих конструкциях выражены прилагательными/причастиями. — Прим. перев.]), так что расстановка прилагательных и создание правдоподобных групп прилагательных становятся символами привязанности к мирскому, рамочное описание гомосексуальной сцены юным-старым рассказчиком Пруста должно как дезориентировать, так и уверять читательницу в ей уже известном, дезориентировать почти в той же пропорции, в которой она уже находит сцену знакомой; ликвидация тех связей, по которым она, как обычно, пробралась сквозь эту сцену, выглядит также обретением всеописывающей рукой рассказчика уверенности.¹⁸

Однако читательница становится причастной произвольной описательной власти рассказчика, только уступая его сокрытию себя и разделяя его, его необъяснимые и непредсказуемые порывы желания и презрения по отношению к напряженно вопрошающей сцене распознавания геев. Именно из этого позаимствованного убежища — чулана прилагательных — три абстрактных существительных («*temperiente d'une étrangeté, ou si l'on veut d'un naturel, dont la beauté allait croissant*» (Pléiade II: 605) [«в ее необычности и, если хотите, естественности была своя красота, и красоты становилось все больше» (СГ 21)]) могут излучаться со своей почти оперной определенностью. Приговор *un naturel* [естественности], будучи, по всему судя, заранее определенной задачей этой самой «гомосексуальной» главы у Пруста (как бы обрамленной Вопросом Орхидеи), маркированная этими существительными интенсификация дзэноподобной самовольности рассказчика в атрибуции в то же время раскрывает привязанность и презрение к терминам, в которых вопрос гомосексуального желания может с некоего расстояния не менее чем ставиться. Позволить *l'étrangeté* сравняться с *le naturel*, в конце концов, это не просто приравнять противоположности — но запустить всю домино-цепочку пар, в каждую из которых впутана гей-проблематика особым, исторически обусловленным образом: естественное/неестественное, естественное/искусственное, привычное/незнакомое, обычное/редкое, прирожденное/привнесенное. Здесь *bouleversement* [мешанина] различных систематизаций, в которых, как предполагалось, в этой главе будет анализироваться и измеряться гомосексуальность, не обладает равным счетом никакой властью вмешаться в арию, что продолжает распеваться в точно той же тональности и на тех же нотах еще две страницы.¹⁹ Было бы преуменьшением сказать, что когерентность аналитических категорий здесь подчинена непрерывности их высказывания; скорее полномочное позиционирование самого процесса высказывания обеспечивается той безапелляционностью, с которой этими категориями на наших глазах пренебрегают. «*Dont la beauté allait croissant*»: чего на самом деле все больше и больше в этих предложениях и что нас таким образом заставляют потребить (и мы потребляем) как красоту — это не внутреннее качество Шарлю, Жюльена или их встречи, но нарастающая, делящаяся, неистощимо впечатляющая художественная сила и убежденность описательного права рассказчика — права за их счет. Фактически, легко можно показать, как каждая аналитическая или этическая категория, на протяжении *A la recherche* применяемая к гомосексуальности де Шарлю, в каком-нибудь другом месте эпопеи ниспровергается или сталкивается со своей прямой противоположностью. Что эти разрастающиеся, пролиферирующие категории и особенно неотъемлемые противоречия в них действительно неослабевающе поддерживают — это учреждение спектакля гомосексуального чулана как главной гаран-

тии риторической общности, гарантии власти — власти кого-то еще — над дискурсивной территорией миротворения, широко раскинувшейся за служащим всего лишь предлогом вопросом гомосексуального.

* * *

Действенность Шарлю для эпопеи как целого столь сильно зависит от представления Прустом спектакля чулана как истины гомосексуального, и это выполнено со столь очевидной полнотой, что одной из наиболее сложных проблем чтения Пруста становится нахождение такого пространства в этом Шарлю-ориентированном мире, где другие гомосексуальные желания в книге можно хотя бы сделать видимыми. И особенно пытаться поместить окружающий рассказчика и Альбертину эрос в какой-то бинокулярный фокус с представлением в эпопее Шарлю — непосильно трудная задача. Но этой непосильности есть простое объяснение: эти два эротических локуса столь упорно несопоставимы в точности в их отношении к видимости как таковой. Вероятно, чулан Шарлю спектаклеризуется таким образом, чтобы эротика, окружающая Альбертину (и, так сказать, окружающая рассказчика), могла продолжать сопротивляться визуализации; именно из того зачаточного пространства, что позже захватит Альбертину, обеспечивая привилегию этого пространства быть неподвластным взгляду, рассказчик занимается постановкой представления Шарлю; именно вокруг перцептуальной оси, связывающей чулан наблюдаемый с чуланом обитаемым, обретает форму дискурс о мире.

Это достаточно простой способ сформулировать, в чем сложность, и, я думаю, это нужно сделать; но, если бы все было настолько просто, со сложностью было бы легко справиться аналитически. Однако сложность видимости реализует себя по всем каналам тех обширных и неподатливых некогерентностей в гомо/гетеросексуальном определении и гендерном определении, что укрепились на кризисе дискурса сексуальности на рубеже веков.

Начнем с того, что, в то время как спектакль Шарлю совершенно неприкрыто — спектакль чулана с затаившимся в его предполагаемой глубине любопытно бездеятельным гомосексуалом, с другой стороны хорошо известно, как трудно отыскать гомосексуала в неустойчивой, колышущейся приватности, окружающей Альбертину. При всем разнообразии интерпретативных стратегий в них невозможно читать посвященные Альбертине тома, не находя где-то однополого желаний; и в то же время эта особенность желаний — в сюжете Альбертины — примечательным образом отказывается оставаться зафиксированной за единственным типом персонажа, за единственным персонажем или даже за единственным онтологическим уровнем текста. Поскольку рассказчик (мужчина) одержим интерпретацией Альбертины (женщины), которая, в

свою очередь, имеет, или имела, или могла бы иметь сексуальные связи со многими другими женщинами, мы могли бы ожидать, что рассказчик воспользуется при «объяснении» или «понимании» ее всеми теми *idées reçues* [общепринятыми идеями] об экзотическом субъекте извращения вообще и Гоморре в частности, что были столь трудолюбиво сконструированы им в «*La Race maudite*». Однако этого почти никогда не происходит. На Альбертину обрушивается со всей неудержимой силой чудовищное усиление интерпретативного давления, и она подпадает не под категорию «извращенки», но под категорию «возлюбленного объекта», или, если это слово может служить здесь синонимом, просто «женщины».²⁰ И, разумеется, тогда как «извращенец» у Пруста определен как такое существо, по отношению к которому все остальные в мире потенциально эпистемологически привилегированы — и причем привилегированы абсолютно, «возлюбленный объект» и «женщина» определяют, наоборот, полным параличом власти познания их со стороны одного человека, любящего, того, кто в этом больше всего нуждается. Шарлю, образцовый «извращенец», почти не представлен как объект любви в прустинском смысле — хотя, как мы отметили, он любим, любим Жюльеном, чье аномально совершенное понимание своего возлюбленного, возможно, чем-то обязано сверхотчетливости Шарлю-как-Образцового-Извращенца. А вот Морель, который-то и является объектом Шарлю в прустинском смысле, не представлен как извращенец (и потому может оказаться действительно непостижимым). Только для принцессы Германтской Шарлю является классическим объектом, т.е. тем, по отношению к которому она может быть, в существенных аспектах, слепа. Но слепа она вовсе не к его гомосексуальности; исключение она составляет только в том, что не считает его отношение к его сексуальности унизительным спектаклем и потому оказывается в эпопее смертельно перед ним уязвимой. (Отметим, однако, что «быть смертельно уязвимым», по Прусту, означает просто «любить»; ее уязвимость не исключительна ничем — только объектом, который она избрала.)

Итак, в то время как Шарлю, любящий мужчин, описывается как типичный представитель «извращенцев» как вида, Альбертина, любящая женщин, навряд ли на этом основании подпадет под определенную таксономическую рубрику; похоже на то, что в Альбертине и Шарлю сосуществуют во взаимной анахронической слепоте две последовательные стадии гомосексуального определения, премедикализационное — однополых актов, и постмедикализационное — гомосексуальных типов. Или иначе — для некоторых читателей Альбертина может выглядеть воплощением утопической реализации универсализующего подхода к гомо/гетеросексуальному определению, тогда как несравненный Шарлю (то есть несравнимый с Альбертиной) дистопически воплощает миноритизирующий подход.

Но, возможно, не к «самой» Альбертине или ее подружкам — в клубке взаимоотношений, ее окружающих, — нужно обращаться в первую очередь, отыскивая фигуру гомосексуала. Как указывает Риверс, шквал перечтений, поднявшихся после 1949 года и основанных на предположении, что Альбертина «на самом деле была» мужчиной — т. е. [как персонаж] она базировалась, согласно намекам Пруста в общении с Жидом и другими, на портрете шофера Пруста, Альфреда Агостинелли, или какого-то другого мужчины — перечтений пусть вульгаризирующих, путаных и гомофобных, пусть непохожих на литературную критику или неприемлемых в своих предпосылках о письме и любви, но все же — этот шквал столь мощно отреагировал на множество безошибочных провокаций текста, что возможность прочтений Альбертины «как» мужчины — а в каком именно смысле, каждый раз уточнялось по-разному, — эта возможность привилась и сейчас как минимум неотъемлемо присутствует в наборе допускаемых текстом интерпретаций.²¹ Однако в той степени, в которой Альбертина — это мужчина, вопрос, остающийся без ответа, заключается не столько в том, почему *он* [Альбертина] не подпадает под таксономическую рубрику «извращенца», сколько в том, почему не подпадает под нее мужчина-рассказчик, который его алчет, — а он-то и не подпадает. Но вместе с этой возможностью «транспозиций» немало других противоречий также выходит на поверхность. Например, если Альбертина и рассказчик одного гендера, то должны ли предполагаемые «внешние» любви Альбертины, которые маниакально воображаются рассказчиком как воображаемо ему недоступные, любви, удерживающие за их любовным объектом женский *гендер*, должны ли они тогда транспонироваться *по ориентации* в гетеросексуальные желания? Или же, удерживая трансгрессивную однополую *ориентацию*, они должны сменить *гендер* своего любовного объекта и транспонироваться в мужские гомосексуальные желания? Или же, в рамках гомосексуальности, после всего этого не становится ли гетеросексуальная ориентация более трансгрессивной? Или — как говорит «народ Долины»²² — что?

Итак, и весь спектр противоречий вокруг гомо/гетеросексуального определения, и его пересечение со всем спектром противоречий вокруг гендерного определения, все это задействуется — в той степени, в которой не поддается проблематизации, — в сюжетной линии Альбертины и в ее несопоставимости с представлением Шарлю. Вдобавок вопрос о гендере здесь сам по себе опутан противоречиями. Разумеется, ни на чем в изображении Шарлю не сделан упор больший, чем на том моменте, что его желание к мужчинам есть с необходимостью результат сексуального *извращения*, плененности и сокрытости истинного женского «я» за его обманчиво и даже камуфляжно маскулинным фасадом. Как мы уже говорили, эта модель требует приписывания каждому человеку его «истинного» внутреннего гендера и разделения людей на гетероген-

дерные пары согласно их «истинным» гендерам. Мы показали, как настоящее нарратива на таком «извращенном» прочтении гомосексуального желания перекрывает даже примечательные примеры головокружительной путаницы и очевидных нарушений в тех разделах, которые, группируясь вокруг фигуры Шарлю, претендуют на роль определяющих представлений гомосексуальности как феномена. И тем более странно, что в посвященных Альбертине томах, наполненных непомерно раздутыми медитациями на тему того, что эта женщина могла чувствовать к другим женщинам и что с ними проигрывать (или же, в транспонированном прочтении, что этот мужчина мог чувствовать к мужчине-рассказчику и другим мужчинам и что проигрывать с ними), *эта* цепочка умозаключений или потенциальных улик практически выпадает. Потому ли, что, в некотором онтологически ином смысле, «Альбертина» «глубоко внутри» «на самом деле» *«есть»* мужчина, которого нам столь редко представляют с помощью языка, что пытается объяснить сексуальность Альбертины, утверждая, что на самом деле, глубоко внутри, она мужчина? Но подобные транссексуальные объяснения не применяются ни к рассказчику, ни — сколь-нибудь часто — к Андре, Эстер, Леа, прачкам и продавщицам, с которыми связана — или предполагается, что связана, — Альбертина. Где бы в водовороте вокруг Альбертины ни разыскивалась однополая сексуальность, приписывание «истинного» «внутреннего» гетерогендера не является существенной частью этого процесса восприятия. Или, может быть, лучше сказать, что стремительное размывание и растворение в этом водовороте *объектов восприятия* требует забвения метафоры «извращения», чье удержание столь долго было предметом тщательной и очень трудоемкой работы. Вместо нее, хотя и вне сравнения с ней, видимо, возникает гендерно-сепарационный акцент на женских связях Альбертины с женщинами и не как переходящими границы гендера, и не как застывшими на границе между гендерами, женщинами не омужествляемыми — женщинами в самом их лезбийстве, в самой сущности женского — определенно зафиксированными в самом центре женственности. Действительно, если и могут эти две версии гомосексуального желания иметь что-то общее, так только асимметричный список женственностей: Шарлю феминизируется его гомосексуальным желанием, но так же, в той степени, в которой гендер вообще задействован в ее сексуальности, Альбертина еще чаще феминизируется желаниями своими.²³

Если гомосексуальность, привязанная к фигуре Шарлю, и гомосексуальность, рассеянная в окрестности Альбертины, не могут одновременно сопоставляться ни в каком непротиворечивом прочтении сексуальной ли *ориентации*, *гендера* ли, остается только рассчитывать на то, что практика однополых сексуальных *актов* покажет путь их описания в некоторой конгруэнтности одна другой. В конце концов, именно через

акты — и акты, не определяемые ни структурой личности, ни в обязательном порядке гендером исполнявших их людей — категория «содомии» определялась в предсовременной Европе и до сих пор определяется в предсовременном штате Джорджия. Но даже отклассифицированные по сексуальным актам, Шарлю и Альбертина, похоже, упорствуют во взаимной несопоставимости, хотя, вероятно, только в такой классификации какой-либо вразумительный *нарратив изменения* может быть различим. Мы уже отмечали «*derrière presque symbolique*», выставляемый Шарлю. Ский, фантазирующий о том, что предпочтения Шарлю могут повернуть поезд назад, и Жюпьер, вознамерившийся за ним приударить (что прошло успешно), с помощью «различных не слишком уточненных замечаний вроде “*Vous avez un gros pètarde*”» (С 632; Pléiade II: 610; СГ 25 [у Любимова иначе. — Прим. перев.]), по-видимому, согласны с рассказчиком, уверенно атрибутирующим Шарлю пассивную [гесертиве] анальную сексуальность, что чересчур точно рифмуется с «истиной» его укрытой глубоко внутри женственности, а также с последующей трактовкой его сексуальности как вырождающейся в мазохизм, что, как оказывается при таком подходе, с самого начала был ее скрытой сущностью. (Здесь позвольте мне остановиться на мгновение, чтобы слегка просветить приятелей-англофонов: если вы один из тех, для кого французский — это греческий, и если ваш доступ к Прусту долгие годы зависит от Скотта Монкриеффа, вы, возможно, не распознали «*Vous avez un gros pètarde*», загадочно им переведенное как «Ну разве не пошляк!» (Cities, 9). Вас ожидают и другие подобные сюрпризы.)

Для Альбертины, как обычно, та же самая концептуальная сетка недостаточна для получения карты. Если с ней необходимо ассоциировать определенную эротическую локализацию, то таковая будет оральной. «Что касается мороженого, — говорит она, —

то каждый раз, когда я его ем, я сначала рассматриваю храмы, церкви, обелиски, скалы, целую живописную географию, а затем малиновые или ванильные монументы превращаются в холодок у меня в глотке... Еще они делают обелиски из малины, которые будут воздвигаться то здесь, то там в жгучей пустыне моей жажды, и у меня в горле я расплавию их розовый гранит, так что они утолят мне жажду лучше, чем оазисы. (Здесь снова послышался громкий смех — то ли от удовлетворения своим красноречием, то ли это был смех над самой собой, употребляющей столь изощренно хитросплетенные образы, то ли — улы! — это был смех, вызванный сладострастным ощущением чего-то такого вкусного, такого свежего, равного по силе наслаждению сексуальному)» (Сар 125–6/П 134).

Она также ассоциируется с той едой, что поглощает рассказчик, с

«той жарой, когда чувственность, испаряясь, охотнее устремляется к органам вкуса, — испытывая прежде всего потребность в прохладе. Сильнее, чем

о поцелуе девушки, она мечтает об оранжаде, о купании, ее тянет смотреть на очищенную от кожуры, сочную луну, утоляющую жажду неба» (С 669/СГ 54).

Но как явствует даже из этих коротких цитат, если зернистый от увеличения снимок сексуальности Альбертины и может начинаться с вида на ее железы, основной эффект этой эротической локализации — аннулирование, причем аннулирование чрезмерностью, — самой возможности эротической локализации. Чистой дихотомии «активного» и «пассивного» (не касаясь соответствующей им ассоциации с «маскулинным» и «феминным»), очевидно привязанной к анальной сексуальности Шарлю, определено не существует в этой мускульной пещере, где так свободно играют наслаждения сосания, поедания, произношения, хихиканья; но акцент на «прохладе», например, в дальнейшем приводит к трактовке в качестве органа этой сексуальности всей кожной оболочки тела, и внешней и внутренней, которая затем как бы продолжается эластическим покровом самого видения, тянущегося до самой очищенной и сочной луны и разжевывающего ее.

«Я опять увидел, как Альбертина садится за фортепиано, темноволосяя, розовошечкая, чувствовал на губах ее язык, который пытался их раздвинуть, такой материнский, несъедобный, но питательный, священный язык, таивший в себе огонь и росу, и, когда она только проводила им по моей шее, по животу, эти пусть поверхностные, но все же порожденные изнутри ее плоти ласки, представлявшие собой как бы изнанку ее ткани, создавали иллюзию таинственной сладости проникновения» (F 507–8/Б 76).

Неважно, что Альбертина и рассказчик демонстрируют некоторую путаницу в том, надо ли их считать любовниками («в полном смысле этого слова» (Сар 125–6/П 134): хотя она, по крайней мере для рассказчика, и оргазмична, эта сексуальность, «французскость» которой всего лишь метонимия, обширна почти настолько, чтобы фигурировать как сексуальность в том же регистре, что и плотная, сжатая, «тучная»²⁴ «греческость» Шарлю.

И в то же время именно на этой арене, грубо говоря, сексуальных актов легче всего сконструировать ценностно-нагруженный, утопический нарратив сравнения Шарлю с Альбертиной. Сексуальность Альбертины может расцениваться как представляющая бесконечность, неопределенность, непредвиденность, игру и т. д. и т. п., — по контрасту с сексуальностью Шарлю, обозначение границ которой можно проделать так, что она будет выглядеть работой, но это не все; существует даже эволюционный нарратив, к которому могут прилагаться эти атрибуты: дело выглядит так, что историки сексуальности должны приучаться думать о чем-то вроде всемирно-исторической популяризации орального секса — где-то в конце девятнадцатого века.²⁵ Это, в свою очередь, наводит на мысль, что относительно стабильное уравнение, согласно которому

анальный секс был основным публично означивающим актом сношений между мужчинами, было дополнено на рубеже веков возрастающей видимостью орального секса между мужчинами. (Судебные процессы над Уайльдом, в ходе которых были представлены общественности намеки, касающиеся актов анального секса, что в результате, как оказалось, не было характерно для сексуальности Уайльда вообще, могут считаться удобной вехой в этой трансформации.)²⁶ То, что оральный секс относительно сложно, в противоположность анальному, схематизировать в биполярных терминах активного/пассивного, и, аналогично, мужского/женского, также может выглядеть конгруэнтным процессу, в котором тропу гендерного извращения-инверсии был открыт путь к *гомо*-тропу гендерного тождества. С этой точки зрения выглядящую отсталой сексуальность барона де Шарлю можно рассматривать как связанную столь же эмблематическим и дискредитирующим образом с его реакционными политическими взглядами, сколь показным образом связана она с его унижительной женственностью; Альбертина, соответственно, может выглядеть воплощением более современной, менее уродующей и иерархической сексуальности, когда она (или он) представляет собой наделенную большими возможностями и силой «Новую Женщину».²⁷

Такое утопическое прочтение Альбертины привлекательно не только потому, что определенно выглядит относительно устойчивой опорой для визионарных политик, но и потому, что как будто бы предоставляет концептуальный диапазон частот (шкала в герцах от «плотного» до «обширного», от «отсталого» до «современного»), в пределах которого трансляции Шарлю и Альбертины на очевидно несопоставимых частотах может ловить один радиоприемник. При таком подходе, однако, необходимо признать, что этот радиоприемник периодически ломается, и частоты дрейфуют и интерферируют. Например, Альбертина: для нее, столь явно одаренной в том, что касается ее родного языка, как внезапно нам намекают, французский, в сущности, тоже самое, что греческий. В кульминационный момент трений и взаимных претензий между ней и рассказчиком он предлагает ей устроить роскошный званый обед. «Покорно благодарю!», — отвечает она «с выражением отвращения»,

«“Лучше бы вы меня хоть раз отпустили, чтобы меня через (*me faire casser*)...” Тут она покраснела, вид у нее был взволнованный, рот она прикрыла рукой, как бы стараясь втолкнуть обратно слова, которые она только что сказала и которые я почти не понял» (Сар 343/П 325).

Несколькими маниакальными абзацами ниже рассказчик догадывается, что было вырезано из фразы Альбертины: в восстановленном виде она выглядит как *me faire casser le pot*, чему Килмартин дает следующий комментарий: «непристойное жаргонное выражение, обозначающее пассивную роль в анальном сношении» (Сар 1110). Дело тут не только в

том, что сексуальность Альбертины включает в себя анальный компонент; нет никакой очевидной причины, почему бы такому компоненту не фигурировать под протейческим и полиморфным знаком малинового обелиска: в качестве просто другого густонаселенного нервного центра в вывернутой наизнанку перчатке эпидермальной чувствительности, все же лучше символизируемой как оральная. (Скотт Монкриефф, например, восстанавливает этот момент в смысле кулинарном, предлагая некомментируемый перевод «чтобы мне продырявили кастрюлю»;²⁸ да и сама Альбертина продолжает впоследствии пытаться настаивать, что на самом деле она просила позволить ей устроить званый обед (Сар 343/П 325)). Но ни Альбертина, ни рассказчик не находят такую классификацию возможной, метонимической, правдоподобной или стабильной. Отчаянная попытка Альбертины съесть свои слова («...багровая от стыда, — повторяет рассказчик, — [она] силилась затолкать обратно в рот слова, которые уже почти произнесла, в полном отчаянии» (Сар 346/П 327).) регистрирует не наслаждение от поедания лакомств, но необходимость уничтожить улики происшествия другого типа. Здесь рот призывается на службу анальному — анальному в качестве *не* другой зоны желания, но определяющего разрыва в непрерывности желания, от возбуждения и по требованию которого — требованию еще большего — протейческая или диффузная чувственность возвращается в архитектуру ванильного мороженого.

«Требование»: единственный способ интерпретации замечания Альбертины, к которому рассказчик *не* прибегает (явным образом) в своих размышлениях, это потребность в определенном сексуальном акте, таком, который вполне могли бы совершить они сами. Вместо этого — только «ужас!», «отчаяние», «ярость» и «слезы» (Сар 345–6; П 327); уровень его параноидальной шарады и забегающего вперед неприятия катапультируется на критическую, пожалуй, максимальную высоту внешней дистанцированностью Альбертины от загадочного словозвержения. Это совершенно необъяснимо. Примечательным образом он пытается интерпретировать ее сформулированное желание подставить зад как знак ее сущностного *лесбийства*, то есть знак ее недостижимости для него:

«Двойной позор! Последняя из проституток, согласная на это или даже этого желающая, не употребляет при удовлетворяющемся ею мужчине такое отвратительное выражение. Она почувствовала бы, что это ее унижает. Только в разговоре с женщиной, если она любит женщин, она могла бы произнести это слово, чтобы извиниться за то, что отдалась мужчине. Альбертина не лгала, уверяя меня, что ее клонило ко сну. По рассеянности уйдя в себя, забыв о моем присутствии, вскинув плечами, она начала говорить так, как говорила бы с одной из таких женщин, быть может, с одной из моих девушек в цвету» (Сар 345–6/П 327).

Все эти надуманные терзания наводят на мысль, что рассказчик действительно мог ужаснуться желанию Альбертины, но не потому, что оно не направлено на него, а, наоборот, потому что оно на него направлено, оно воспринято им как требование представления-перформанса, которое, он боится, он исполнить не в силах.²⁹ Однако же, как это столь часто происходит в *A la recherche* на сюжетной линии Альбертины, самый ощутимый эффект пересечения оси сексуального желания с осью гендерного определения заключается в обеспечении, в некогерентности таким образом артикулируемого концептуального пространства, неограниченного количества пазов для укрытия смысла, намерения и отношения. Если вы не согласны с читателями-утопистами в том, что внутри или вокруг Альбертины сосредоточены эротические возможности, отмечающие потенциально регенеративное отличие от спектаклеризованной линии Шарлю, то невозможно позволить визуализироваться и какому-либо постижимому *сходству* с Шарлю — в этом пугающем темном пятне желания слишком многого, желания слишком малого, желания всегда неправильного всегда не от того человека. Меловая тряпка гендера прогуливается по классной доске сексуальности, тряпка сексуальности — по доске гендера: максимум, что возникает при этом, — облака меловой пыли, откуда можно расслышать скрытый голос, повторяющий слова современного манифеста мужской гомосексуальной паники: «Я вообще не это имела в виду. Вообще не это».³⁰

* * *

Мне интересно, другие литературоведы, пишущие о Прусте, чувствуют ли они, что задача эта более неподатливая, чем остальные, и причём не потому, что она сложнее по уровню, а потому, что почти запрительно отлична по типу: проблема не в том, что «В поисках утраченного времени» столь тяжела и столь хороша, но в том, что «все это истина». Я могу отчитаться здесь только о моей собственной читательской жизни, но что я больше всего чувствую, глядя на книги Пруста и на экран монитора перед собой, — это талмудические желания воспроизвести и развернуть текст — и захихикать. Кто не мечтал о том, чтобы *A la recherche* оставалась непереуверенной, просто для того, чтобы (хотя бы в том случае, если ты знаешь французский) проделанной работой оправдаться за растрату своей собственной производительной способности в плавании в этой блаженной и веселой атмосфере рассказывания истины.

И этот Прустов эффект истины, коль на то пошло, не прикован к эфирному пространству приватного. Наоборот: полностью конкурентоспособный, в жанре поучительной литературы, с современными воплощениями, предлагающими не столь хорошие советы об [устройстве] внутренних пространств, галантерее «успеха» или развлечениях «власти», «Управляющий за шестьдесят лет»³¹ скромно предоставляет свою

социологическую точность к услугам читателей в самых бесславных, наименее признаваемых обычае наших проектах. Первый раз я читала Пруста в течение тех недолгих лет, когда мне случилось возыметь амбиции, связанные не исключительно с аспектом вечности: желание печататься и получить этим известность, желание узнать людей, научиться справляться с ситуациями, добиваться своего.³² Странно, конечно, что именно чтение Пруста побудило меня стремиться к этим приключениям и думать, что я могу в них преуспеть. Бесконечные медитации о тщете человеческих желаний потерпели неудачу в отношении как минимум одной читательницы, но неудачу с гальванизирующим эффектом: если хотите, именно ощущение прозрачности и предсказуемости мирских амбиций дало мне силу и умение для мирских амбиций моих собственных. Как, я думаю, большинство молодых женщин, я раньше никогда ни в малейшей степени не идентифицировалась с Жюльеном Сорелем или французским мужским сюжетом девятнадцатого века, сюжетом завоевания города,³³ — это произошло только после тех лет чтения Пруста, когда и легкомысленные амбиции героя, и попутное некритическое усвоение образцового текста становятся чертами понятными и очаровательными. Теперь я могу, как доктор, прописывать Пруста моим друзьям в ситуациях эротического или профессионального кризиса или, раз уж на то пошло, личного горя с той же слепой уверенностью, с которой протягиваю ложку сахара (проглоти быстро!) страдающему от икоты.

Но труднее сказать, в чем же заключается этот эффект истины у Пруста. Все парадоксы понимаемой более традиционно *vraisemblance* [правдоподобности] здесь особенно обостряются: молекулярно, таких отдельных утверждений в самой книге или выводимых из нее, которые бы имело смысл рассматривать как истинные, относительно немного; и даже на уровне молярном утверждения, или «оценки», или «отношения» (эротический или политический пессимизм, например), которые можно из Пруста извлечь, не обязательно кажутся истинными, допустим, мне, которой тем не менее «Пруст» кажется «истинным». Просто и классически можно сказать, что когерентность и достоверность произведения, ее *vraisemblance* в обычных смыслах зависят от внутреннего структурирования материала и кодов, что только как отношение, как структура может интегрироваться с реляционными структурами «реальности» или на них проверяться, «реальности», что окружает произведение, прославляет его и тем самым его конституирует (а произведение конституирует «реальность»). Однако эффект истины, который описываю я, не касается вопросов когерентности и достоверности произведения. Он касается *использования* литературного произведения, его (выражаясь сурово) экспроприальности для читателей, его (выражаясь, согласно другому словарю, торжественно) потенциала наделения их новыми возможностями.

Поскольку, несомненно, та автобиографическая притча о «годах чтения Пруста», которую я привела абзацем выше, представляет как затянувшийся пример злоупотребления текстом, так и историю о новых возможностях (empowerment).³⁴ Ценность, если вернуться к этому примеру, практической мудрости, поучительности книги в управлении сердечными делами должна, очевидно, зависеть от читательской готовности подписаться под ее неколебимым эротическим пессимизмом: Это здоровое «должна» годами скрывало от меня очень простой факт обо мне самой: мой собственный эротический оптимизм, будь то в смысле жизнерадостности моего темперамента, будь то в смысле когнитивном, — эротический оптимизм какой угодно, кроме теоретического. Но ни до, ни после того, как этот оптимизм был все же мною распознан и признан, мне не казалось, как то и «должно» было случиться, что он, в конце концов, абсолютно противоречит всякому прустизианствованию. Зато очевидным стало разнообразие техник «вероломства» или творческого перемешивания ярлыков, посредством которого пессимистические эвристики желания тихой сапой впрягаются в ярмо сангвинических манипулятивных проектов, или удручающие эротические формулы мощно воспроизводятся с единственной крошечной модификацией своей единичной и загадочной неприменимости и всегда в первом лице. (Кстати, читатель, не обладающий врожденным даром к этим техникам, может поучиться им у бесконечно бесчестного главного персонажа «Поисков утраченного времени».) И если злоупотребление текстом и этические двусмысленности не препятствуют такому отношению к Прусту в то же время действительно выводить читателя на новые возможности, еще менее препятствует этому известное двойное значение «новых возможностей» («empowerment») индивидуума в социальной системе, неизбежно включающих в себя также ее подчинение циркуляторной экономике власти; встроиться в эту циркуляцию, обладая несколькими дополнительными квантами позаимствованной энергии («Пруст») и предрасположенностью к путешествиям, — это всегда шанс, достаточно постоянный, ощутить свою власть. И вовсе не обязательно, что последствия этой иллюзии или ее деструкции не будут достаточно устойчивыми или разрушительными для того, чтобы фактически, хотя и непредсказуемо, изменить маршруты потоков и распределений.

Я думаю, я не единственный читатель, на кого Пруст оказал почти дисконфортно энергетизирующее воздействие, которое трудно объяснить на каких-то чисто кошерных основаниях. Я принуждена любопытствовать, что же происходит, когда мы как читатели Пруста формируем для собственного пользования объяснение мира (ознаменованного этим романом миром), структурированное вокруг театрализации чулана-изображенного-как-спектакль ради сохранения приватности чьего-то чулана-заслоненного-как-точка-зрения. Мы уже видели, насколько

сильно ощущения творчества и власти вовлечены в читательскую идентификацию с производимым рассказчиком скрытым, винительным выстраиванием чулана другого. Однако наша собственная придающая власти попытка вновь столкнуть два чулана друг с другом как симметричные объекты нашего анализа — разве ее обвинительная сила меньше? В какой степени мы сами, принимая такой подход, черпаем себе прибавочную стоимость интерпретативных энергий из гомофобического общего места, что относит давление гетеросексистских норм — безапелляционно и дважды убийственно — на счет самого гомосексуала?

И кроме того, как мы отмечали, это целиком гомосексуальный опыт — обнаруживать, что гомофобная фигура у власти как-то диспропорционально похожа, пожалуй, на гомосексуала в чулане. Этот факт, если это факт, или это впечатление — вещь слишком важная и слишком легко используемая превратно, чтобы обсуждать ее второпях. Как сила такого впечатления, так и его пригодность для злоупотреблений были очевидны в ядовитых комментариях в прессе по поводу недавней смерти ядовитого Роя Кона.³⁵ Смерть Роя Кона вновь вызвала к жизни бесконечные спекуляции на тему того, что многие главные фигуры, стоявшие за травлей гомосексуалов в 1950-х, в годы антикоммунистской паранойи маккартизма (Кон, МакКарти, Дж. Дэвид Шайн, Дж. Эдгар Хувер), возможно, сами были «активно практикующими» гомосексуалами. «Нью Йорк Таймс» в длинном некрологе на смерть Кона отмечала:

«Перепахивая расследования Государственного департамента и “Голоса Америки”, безустанно вынюхивая коммунистов или симпатизирующих им, г-н. Кон, г-н. Шайн и сенатор МакКарти, все в то время холостяки, сами оказались мишенью того, что некоторые называли “обратным маккартизмом”. Были и сопровождающиеся хихиканьем намеки на то, что они гомосексуалы, и открытые атаки, как та, что предприняла драматург Лилиан Хеллман, назвавшая их “Бонни, Бонни и Клайд”».³⁶

Интересный вопрос — откуда именно разносится хихиканье в некрологе, посвященном тому, кто в заголовке на первой странице назван «пламенным адвокатом», а на внутренней — «пламенеющим адвокатом» — почему бы не сказать «пылкий» и на этом остановиться? — в некрологе, скучно описывающем, как «его родители, особенно его мать, горячо любили свое единственное дитя», а также «его кабинет, украшенный внушительной коллекцией чучел»; в некрологе, чей ритм останавливается его постоянными отказами признать то, что он болен СПИДом, с любовью приготовленными вкупе с тем откровением, что он от СПИДа умер, не касаясь проблем с конфиденциальностью со стороны государства, решающе важных для десятков тысяч гомосексуалов и прочих, проблем, вызванных полуофициальными утечками из якобы секретных донесений при его жизни; в некрологе, чью гомофобную кульминацию позволено пропеть не голосом «Таймс», решившей ее воспроизвести, но

женским голосом ультралевой жертвы маккартизма, вместе с которой Кон теперь может представляться вошедшей в роль судьи «Таймс» вовлеченным в симметричную («обратный маккартизм») ожесточенную перебранку со взаимным выдиранием волос. Так же как черный антисемитизм и еврейский расизм — это любимые объекты шумихи и возмущения в прессе, поскольку они помогают прикрыть привилегии белых протестантов и позволить этим привилегиям функционировать в обычном режиме, так и разоблачение гомофобного давления, оказываемого скрытыми в чулане гомосексуалами, с изумительно сладким вкусом растворяется во рту предположительно строго гетеросексуальной публики.

Однако воодушевлять такое разоблачение может людей и не только гетеросексуально-идентифицированных или патентованно гомофобных. То, на что в 1903 году ссылался Научно-гуманитарный комитет Магнуса Хиршфельда, «часто рекомендуемый “путь по трупам”» — «донос на гомосексуалов, занимающих высокое положение в обществе», как поясняет Джеймс Стейкли, — это тактика, чей потенциал, а иногда и реализация, пленяет гей-движение с самого его начала.³⁷ От стремления Хиршфельда и Адольфа Бранда свидетельствовать, что принц и канцлер были людьми «гомосексуальной ориентации», в том деле Эйленберга 1907–1909 годов, что так гальванизировало Пруста,³⁸ через появление Хиршфельда в качестве свидетеля-эксперта на процессе 1924 года над полицейским информатором и массовым убийцей Фрицем Хаарманном,³⁹ и до традиционного геевского эпитета «Алисо-голубое платье»⁴⁰ для полицейских и особенно вице-полицейских, до недавнего удовольствия от информации о причине смерти Терри Долана, вундеркинда новых правых, до тонизирующей враждебности, с которой, например, гей-журналист Бойд МакДональд пишет о сексуальности таких порочных людей, как Уильям Ф. Бакли мл.,⁴¹ — в разное время и по разным причинам, но гомосексуалам казалось, что артикулирование предполагаемых гомосексуальных секретов мужчин у власти, зачастую гомофобов, обладает каким-то освободительным потенциалом. Это выборочное оглашение тайн, умолчание о которых структурирует иерархическое давление, может быть трагически неверным ходом для гей-политиков, как это было с вмешательством в дела Эйленберга и Хаарманна. Это ход всегда чрезвычайно неустойчивый, зависящий от того, насколько срывается удар полемической силы по фобической оценке гомосексуального выбора (и уступке гетеросексуальной свободе действий), что лежит в основании культуры (но которым говорящий не подвластен). И все же там, где эта гомофобия всего окружения выглядит, как она действительно может выглядеть, и основой, и утком полагания себя в средоточии самых важных артерий культуры, конструирование такого вмешательства, чья сила от этой гомофобии не должна бы зависеть, может выглядеть задачей невозможной или невозможно изолирующей; в то время

как от энергии и сообщества, что обретаются, как кажется, вследствие вплетения этих омытых гомофобией нитей в собственную дискурсивную материю, невозможно решиться отказать, если вообще можно сказать, что их использование необязательно.

Шарлю привычно прётся от называния вещей своими именами:

«Я хорошо знал Константина Греческого в ту пору, когда он был диадохом, — он был просто прелестен. Я всегда думал, что император Николай пытал к нему сильное чувство. В самом лучшем смысле, разумеется. Принцесса Христина распространялась об этом открыто, но она злючка. Что до царя Болгарии, то это просто плут, у него на лбу написано, но он умен — замечательный человек. Он меня очень любил».

Г-н де Шарлю был необычайно обаятелен, но становился просто невыносим, когда обращался к подобным темам. Он привносил в эти рассказы довольство, раздражающее в больном, постоянно бравярующем своим добрым здравием. И я часто думал, что в пригородном бальбекском поезде верные, столь желавшие услышать признания, от которых он уклонялся, по-видимому, не смогли спокойно вынести этого своего рода маниакального, болезненного хвастовства, с трудом переводя дух, словно в комнате больного или глядя на морфиниста, доставшего свой шприц, так что именно они положили конец тайнам, которые представлялись им захватывающими... Так столь величественный, благородный барон распылялся в дебильной улыбке, высказывая что-нибудь в таком роде: «так как имеются основательные подозрения насчет Фердинанда Кобургского в отношении императора Вильгельма, это могло стать еще одной причиной, из-за которой Фердинанд стал на сторону ‘жестоким империй’. В конце концов, это так понятно, ведь к *сестре* принято относиться снисходительно, ни в чем ей не отказывать» (Т 813–14/В 96–97).

Но не только Шарлю называет вещи своими именами. Нет ничего очевиднее того, что рассказчик, маниакально диагностирующий у себя эту и другие привычки, называя Шарлю его именем и многих-многих других — их именами, получает доступ к неисчерпаемому и даже возрастающему избытку энергии и художественных мотивов. В итоге открыто, и десятилетие за десятилетием все менее открыто, читатели-геи формировали неустойчивый, конфликтный и феноменально живучий союз с читателями-натуралами и откровенными гомофобами, соучаствуя как в многоуровневой шантажно-гомосексуальной идентификации в эпопее, так и в еще более потенциально гомофобной шантажно-гомосексуальной идентификации *эпопеи*. Сегодня, с ветшающим вдвоём наследством миноритизирующих и универсализующих тропов мужского сексуального определения, мы должны не предполагать, но знать, что в каждом из чуланов, выстраивающих современный режим чулана и выстроенных им, ждет своего освобождения *гомосексуальный мужчина*; но и что энергия их строительства и эксплуатации продолжает маркироваться *вопросом гомосексуальности*, никогда по сей день не терявшего своих гомофобных импульсов.

* * *

Если бы распространение концентрическими волнами того, что все-таки является сущностно присущим Шарлю пониманием мира, составленным из гомофобного гомосексуального признания, было единственным законом *A la recherche*, это была бы сильная книга, но не та, которая есть. Столь много других, некоторым образом даже более наэлектризованных нитей смысла сплетены вокруг знаменательной жилы сексуального субъекта. В частности, паттерн *исключения и освобождения*, проективная поэтика, которой власть зрителя выстраивается через чрезвычайно летучую категоризацию того, что попадает в неустойчивый кадр как объекты зрения, структурирует исполнение книгой [тем] класса и призвания художника (так же — что еще более очевидно — как и определения еврейства). Позвольте рассказать вам, почему я столь долго не подходила к этой плюрализации субъекта эпопеи, и даже сейчас едва лишь упоминаю об этом, и то с серьезными опасениями. Из некоторого опыта общения с людьми по этому и схожим вопросам я знаю, насколько хорошо накатан в современной критической практике, и особенно критической практике гетеросексуальных читателей, лыжный спуск от некоторой специфичности дискурса вокруг гей-проблематики и гомофобии, через моментально специфичную плюрализацию этих проблем, к — со вздохом облегчения и на высокой скорости — конечному пункту магнетического, почти религиозно сверхъестественного настояния на значимой «неразрешимости» или «бесконечной плюральности» «различия», на чьих широких и темных просторах машинерия гетеросексистской презумпции и гомофобной проекции уж всегда получит — необнаруженная — достаточное для раскошегаривания время. Номинально плюралистическое прочтение часто становится исполнением в отношении Пруста ритуала упрятывания номеров «Новостей гей-сообщества» и отсылания любовника в библиотеку перед тем, как мама вернется к полднику: это может просто дегезировать эпопею. Так что я должна подчеркнуть, что, например, даже чрезвычайные привилегии, которыми в *A la recherche* наделена конкретная версия авторского призвания — между прочим, одна из тех вещей в эпопее, что позволяет ее захватывающей поэтике освобождения внедряться столь глубоко в сознание юного автора-женщины, для которой мужская гомосексуальная паника ни в каком очевидном смысле не входит в число актуальных проблем выстраивания себя, — даже эта версия авторского призвания (во всем ее богатстве напряжения ей современных нестабильностей секретности/разоблачения, приватного/публичного, маскулинного/феминного, большинства/меньшинства, невинности/инициации, естественного/искусственного, роста/декаданса, обходительности/провинциальности, здоровья/болезни, тождественного/различного, познания/паранойи, искренности/сентиментальности, произвольности/зависимости) в своих терминах и структуре

столь интимно маркирована спецификой сексуального кризиса на рубеже веков, что воображать свободную подвижность этих терминов или бесконечное количество негомосексуально-маркированных им альтернатив — это уже само по себе фобическая форма восприятия.

Однако, возможно, я и могу жестами показать другой, хотя и не альтернативный, угол чтения, под которым можно взглянуть на эпопею.⁴² Он связан с постановкой специфичности мужского гомо/гетеросексуального кризиса, что так оживляет книгу, в несколько более прямое отношение со специфичностью — не читателя-мужчины или мужски идентифицированного, кто может потреблять ее через прямую, миметическую цепь квазифобического самовыстраивания, — но читателя-женщины или женски идентифицированного, чей статус потребителя должен маркироваться особенным отличием. Я бы хотела показать, что в некотором смысле читатель-женщина как раз и есть тот потребитель *A la recherche*, которому эпопея предназначена: не в качестве просто читателя-женщины, но в качестве именно того, кто находится в позиции матери, матери рассказчика или автора. Если *A la recherche* — основополагающий текст в наиболее интригующем из всех жанров, история раскрытия [coming-out, самораскрытия гомосексуала. — Прим. перев.], которая не раскрывается, сберегаются этой упорной прозрачностью, или прозрачным упорством, два следующих различных эффекта. Первый, как мы видели, — это неисчерпаемая свежесть высокозаразных энергий мужской параноидной театрализации мужского чулана. Однако вторая вещь, сохраняемая в незавершенной адресации фигуре матери, — это атрибуция чрезвычайной или даже наивысшей власти аудитору, который в то же время определяется как человек, который *не может знать*.

Разве не матери адресованы и завет самораскрытия гомосексуала, и постоянное избегание этого самораскрытия? И разве не подобная сцена дает неизменную силу этому тропу эпопеи, «профанации матери»? То, что эта женщина, с любовью и страхом исследующая нарратора и нарратив, *не может знать*, — это и аналитическое умозаключение (она никогда не действует так, как будто знает, да и вообще, как она могла бы знать?), и пустой императив — она *не должна* знать. Легко вообразить, как подсказывают два ранних рассказа Пруста, что либо гомосексуальное признание убило бы признающего (как в «*Avant la Nuit*»), либо обнаружение скрытой сексуальности убило бы саму мать (как в «*La Confession d'une jeune fille*»).⁴³ Смысл противоречивого анализа или императива — «Она *должна* знать» — по-видимому, приводит нарративный импульс к *не должна* в *A la recherche*; но самым поразительным противовесом, *если* это противовес, абсолютной неосведомленности, всегда приписываемой (или предписываемой) матери, служит приписываемая ей абсолютность ее власти над якобы непостижимым сыном. В результате мать обладает *властью*, над применением которой у нее нет когнитивного *контроля*.

Этот топос всеильной и незнающей матери глубоко укоренен в высокой мужской гомосексуальной культуре двадцатого века, во всем ее спектре от Пазолини до Дэвида Левитта,⁴⁴ включая, например, Джеймса Меррилла,⁴⁵ чья мать фигурирует в «Божественных комедиях» в качестве всемогущего пустого места в алфавите спиритического блюда,⁴⁶ как «тот выдох — без него в конце строки / Строка бы не сошла с моей руки».⁴⁷ В рассказе Форстера⁴⁸ «Другая лодка» гомосексуальная паника главного персонажа распалется буквально до степени безумия видением «его матери, глядящей слепыми глазами из середины громадной паутины, что она сплела, — всюду разбросанное вервие, уловляющие нити. Вне всяких рассуждений и доказательств, она ничего не понимала и контролировала все».⁴⁹ И если этот топос не обогатил мужскую гей-критику и теорию, в отличие от литературного производства, к которому был столь щедрым, — то лишь по такой слишком убедительной причине: ведь может показаться, что он ведет к укреплению легкомысленных связей между (гомо) сексуальностью и (женским) гендером, а также — что он в высокой степени конгруэнтен гомофобному настоянию, в пятидесятых и шестидесятых выведенному из Фрейда и с поразительным эффектом популяризованному Ирвингом Бибером и другими,⁵⁰ на «ответственности» матерей за то, что они — всегда неосознанно — привели своих сыновей к гомосексуальности.

Еще только одним, наглядным примером в цепи примеров гомофобного конструирования — мужчинами — фигуры женщины, которая не может знать, в качестве предполагаемого предельного потребителя презентаций мужской сексуальности, стала вопиюще подстрекательская статья на первой странице «Таймс» от 3 апреля 1987 года: «Угроза СПИДа для женщин: бисексуальный мужчина». Писавший эту статью в тот момент, когда дискурс СПИДа смещался с поразительной скоростью со своего исходного — исключаяющего и самодовольного (миноритизирующего) — фокуса на опасности для отдельных «групп риска» к более обширному, уже не столь самоуверенному (универсализующему) фокусу на опасности для «широкой общественности», журналист «Таймс» Йон Нордхаймер отреагировал на внутренний кризис определения попыткой интерполировать весьма аморфную категорию бисексуальных мужчин в новую миноритарную группу риска — такую, однако, что обладает потенциалом наведения смертоносного «моста», по которому болезнь может перескочить с меньшинств на так называемую широкую общественность.

Написанная мужчиной, эта статья мобилизует и ферментирует тревогу и сомнения женщин, чьи реальные голоса себе присваивает, женщин, которые предположительно *должны знать* все секреты мужской сексуальности — для того, по-видимому, чтобы избегать секса с бисексуальными мужчинами и без оглядки и опаски заниматься им с мужчинами,

чья гетеросексуальность может быть сертифицирована. Это «*должны знать*» искусственно выстраивается в статье, что тщательно рассчитана так, чтобы упустить очевидный и эпистемологически успокоительный вариант: ведь женщины могут просто быть осторожными и использовать кондомы при всех своих сексуальных контактах. Но стимулируемый императив знания — это только фон или предлог: *должны знать* неотвратимо порождает *не могут знать*, а *не могут знать* с той же уверенностью порождает, в главном перформативном акте статьи, ее объект: самого Сумеречного Бисексуала. Вот что, как говорит статья, «говорят специалисты» воображаемой женщине из среднего класса:

«Фигура бисексуального мужчины, окутанная мифом и его собственной скрытностью, стала жупелом 1980-х, приводя [женщину] в ужас при мысли как о прошлых, так и о будущих сексуальных контактах.

Ее также может неприятно поразить то, что бисексуалы — зачастую скрытые и сложные мужчины, которые, как говорят специалисты, скорее всего не будут признавать свой гомосексуальный опыт даже при прямом вопросе. Некоторые из них не могут допустить даже мысли о том, что они этим занимаются».

Под именем неосведомленности и несогласия женщины, не могущей знать, под иконой женщины-специалиста, говорящей, что она *не знает*, в назидание нам со скрежетом разворачивается вся дискурсивная машинерия, которой конструируются новые сексуальные идентичности. Мы узнаем, что надо говорить бисексуальному мужчине («Ты не мужчина!») — так сказала одна женщина своему мужу, раскрыв «истину»; по крайней мере, об этом нас информирует «один психотерапевт».) Мы узнаем, что их ухаживания оставляют у женщин «чувство глубокого унижения». Мы узнаем, что у бисексуалов (например, у «Стюарта»), в отличие от специалистов по ним («доктора Альфреда Кинзи», «доктора Брюса Фёллера», «доктора Терезы Криншоу»), нет фамилий. Мы узнаем, что изучение их имеет свою историю. Что самое важное, мы узнаем, что бисексуалы разделяются на пять категорий: «женатые мужчины... живущие потайной гомосексуальной жизнью и в гетеросексуальных отношениях состоящие практически только со своими женами»; «открыто гомосексуальные мужчины, промискуитетные только в своей гомосексуальной ориентации и взаимодействующие с женщинами только в хаотической, импульсивной манере, возвращаясь в компанию мужчин, когда отношения с женщиной заканчиваются»; «мужчины, дестабилизированные проблемной идентичностью, которые, по словам одного из специалистов, “прыгают туда и сюда и возвращаются обратно”»; «четвертая группа, юноши, экспериментирующие с сексуальностью в колледже или в другом окружении, где к этому относятся терпимо или где легко это скрыть»; и, в конце концов, «амбисексуалы», небольшая, но “опасная” группа мужчин, имеющих

очень частые сексуальные контакты как с мужчинами, так и с женщинами». Последняя из этих категорий выглядит менее социопатично, чем остальные; однако их и вообще как-то трудно разделить. Однако это неважно: ведь это чистое существование множества категорий, что гарантирует легитимность процесса классификации. В этом сертифицирующем процессе мы, как женщины, узнаем еще об одном аспекте своего бессилия — разве что мы в конце концов постигнем непостижимую карту мужской сексуальности.

Но мы, как читатели исторически грамотные, отмечаем, что это уверенное предложение «новой» экспертизы не знаменует никакого продвижения в двух аналитических блокировках — ровесниках [двадцатого] века: ни в вопросе транзитивности/сепаратности гендерной идентичности, ни в вопросе миноритизации/универсализации сексуального определения. Эти мужчины, характеризуются ли они «некоторой женоподобностью» или, наоборот, «очень маскулинны»? Далее, составляют ли они крошечное замкнутое на себе меньшинство, как считает доктор Ричард А. Айсей из Корнелльского медицинского центра? Или же они скорее представляют, как уверяет доктор Фриц Кляйн, «самый авторитетный в Калифорнии специалист по бисексуальности», обширный потенциал «многих мужчин» «вокруг нас» «практиковать сексуальную активность как с мужчинами, так и с женщинами».

«Число бисексуалов, — дважды цитируется в статье высказывание доктора Джун Райниш, — всегда было проблемой». Проблема «числа бисексуалов» — это что угодно, только не проблема числа *бисексуалов*. Статья направлена на конвертацию признания доктором Райниш концептуального тупика в обоснование некоего окончательного решения, проецируя на женщин собственное закоренелое невежество тем же жестом, которым вся совокупность лицемерия мужчин и угрозы с их стороны проецируются на наскорю сформированную группу мужчин, что сами подвергаются серьезной опасности.

В общем, что я хочу сказать: то, как женские фигуры неслышно или псевдо-неслышно как будто контролируют как гомосексуальную, так и гомофобную конструкции мужской гендерной идентичности и тайны, — входит в набор фатальных отношений, драматизированных в *A la recherche* и вокруг нее. Я не считаю (и хочу это подчеркнуть), что попытка со стороны женщин достичь манящего пространства и занять его — со всем вдохновением наших знаний и желаний, пространства, которое мы уже занимаем, — пассивно, фантазматично, но тем не менее, подавляя все вокруг, не считаю, что это процесс более безобидный — со стороны ли читателя-женщины или со стороны текста Пруста, — чем опасная энергетизация читательских отношений мужской направленности, которые мы здесь обсуждали. Волей-неволей, однако, я, конечно же, такой оккупацией занималась все время; борьба в *таком* движении этого бу-

доражающего могущественного текстуального мира, вероятно, не может быть предметом моего рассмотрения в этом тексте — как была она моим проектом.

¹ «Вы, барон, лучше меня умеете общаться с морячками... Вот книга, которую я только что получила, — по-моему, она должна вас заинтересовать... Заглавие прелестное: «Среди мужчин»». — Пруст М. Содом и Гоморра / Пер. Н. М. Любимова — М.: Республика, 1993, стр. 401. — *Прим. перев.*

² J. E. Rivers, *Proust and the Art of Love: The Aesthetics of Sexuality in the Life, Times, & Art of Marcel Proust* (New York: Columbia University Press, 1980), p. 14. Дальнейшие цитаты из этого тома будут снабжены указаниями на номера страниц непосредственно в тексте.

³ Я вот подумала над этим несколько больше минуты и, должна признать, все же не понимаю, почему это должно быть очевидным.

⁴ Т. е. «проклятое племя». — *Прим. перев.*

⁵ Leo Bersani, «‘The Culture of Redemption’: Marcel Proust and Melanie Klein,» *Critical Inquiry* 12, no. 2 (Winter 1986): 399—421; цит. по стр. 416. Дальнейшие цитаты из этой работы будут снабжены указаниями на номера страниц непосредственно в тексте.

⁶ Жест Берзани по расчленению и обратному восполнению этого текста также рифмуется с дихотомизацией и двойной оценкой *race maudite*, проделанной Делезом и Гваттари: «Пруст... противопоставляет два типа гомосексуальности, или, скорее, две области, лишь одна из которых эдипальна, исключаящая и депрессивная, другая же — анэдипально шизоидна, включенная и включающая» (*Anti-Oedipus*, p. 70).

⁷ Поучительно, например, что поспешная и практически единодушная культивация напускного общественного агностицизма в отношении «случаев гомосексуальности» превратилась в чреватый столь большими возможностями момент в развитии ориентированных на гражданские права гей-политик. Риторический эффект такого стабильного агностицизма носит типически двойственный характер: во-первых, нивелирование исторического отчуждения определенными толковательными дисциплинами и экспертами в этих дисциплинах прав гомосексуалов на самописание; во-вторых, оттеснение вопроса о причинно-следственной связи, с сопутствующей ему мобилизацией аналитической очевидности и уязвимости, обратно в направлении гетеросексуального объектного выбора.

⁸ Александр Колдер (Alexander Calder, 1898–1976), американский художник и скульптор-абстракционист, придумавший «моби́ли» — подвижные скульптуры из металлических пластин на проволочных каркасах и подобные им, но неподвижные «стабили́», где господствовал «объем без массы»; от комбинаций этих объектов перешел к монументальным конструкциям в том же стиле. Одним из первых ввел в скульптуру время и движение. — *Прим. перев.*

⁹ Цитируется (первая часть) и пересказывается (вторая часть) Риверсом, стр. 150–151, по Maurice Bardèche, *Marcel Proust, romancier*, 2 vols. (Paris: Sept Couleurs, 1971), pp. 216–217.

¹⁰ Везде, где не указан другой источник, я цитирую Пруста по изданию *Remembrance of Things Past*, trans. C. K. Scott Moncrieff and Terence Kilmartin, 3 vols. (New York: Random House/Vintage, 1982). [Мы пользуемся переводом первых шести томов, выполненным Н. М. Любимовым: первыми четырьмя томами в издании «Республики» 1992–1993 годов; «Пленницей» в издании «Художественной литературы» 1992 года; «Беглянкой» в издании «Крус» 1993 года; источник цитат из последней книги — Пруст М. Обретенное время / Пер. А. И. Кондратьева — М.: «Наталис», 1999. — Прим. перев.]. Цитаты в тексте маркируются сокращением от названия соответствующей книги и номером страницы в этой книге, а именно: *Swann's Way* — S [По направлению к Свану — С], *Within a Budding Grove* — W [Под сенью девушки в цвету — Ц], *The Guermantes Way* — G [У Германтов — Г], *Cities of the Plain* — C [Содом и Гоморра — СГ], *The Captive* — Cap [Пленница — П], *The Fugitive* — F [Беглянка — Б] и *Time Regained* — T [Обретенное время — В].

¹¹ См. сноску 2 к главе 2. — Прим. перев.

¹² Французский текст цитируется по трехтомнику Пляеды. (Paris: Gallimard, 1954), 2:1043. Дальнейшие цитаты из этого издания будут снабжены указаниями на номера страниц непосредственно в тексте.

¹³ Marcel Proust, *Cities of the Pain*, trans. C. K. Scott Moncrieff (New York: Random House/Vintage, 1970), p. 314. Дальнейшие цитаты из этого перевода будут снабжены указаниями на номера страниц и пометкой *Cities* непосредственно в тексте.

¹⁴ Например, когда Шарлю обменивается гей-слухами с некоторыми другими гостями на вечер: «Каждый многолюдный вечер в светском обществе, если только сделать разрез на достаточной глубине, похож на те вечера, когда врачи принимают больных и те ведут рассудительные речи, прекрасно себя держат и обнаруживают свое помешательство не прежде, чем шепнут вам на ухо, показывая на проходящего старика: “Вот Жанна д’Арк”» (Cap 245 / П 238). Еще примеры: С 1083 / СГ 407; Т 868–69.

¹⁵ В пассаже С 1075–88 / СГ 398–412 находим немало примеров действия такого эффекта.

¹⁶ Если необходимо выбрать один пассаж, вот этот может подойти:

«Г-жа Вердюрен обратилась к нему с вопросом: “Вы пробовали мой оранжад?” Де Шарлю, подойдя к креслу, очаровательно улыбнулся, поиграл губами и, покачивая бедрами, ответил звонким голосом, каким говорил редко: “Нет, я предпочел его соседку, земляничную; по-моему, это земляничная; какая прелесть!” Странное дело: некоторые внутренние переживания выявляются в манере говорить или в жестике. Если какой-нибудь мужчина верит или не верит в непорочное зачатие, или в невинность Дрейфуса, или в множественность миров, но хочет об этом умолчать, то ни его голос, ни его телодвижения не выдадут его мыслей. Но вот, послушав, как де Шарлю с улыбочкой, жестикую, произнес тонким голосом: “Нет, я предпочел его соседку, земляничную”, — можно было предположить: “Эге, да он любит сильный пол!” — предположить с такой же уверенностью, с какой судья не колеблясь выносит обвинительный приговор ни в чем не сознавшему подсудимому, с какой врач приговаривает к смерти паралитика, который, может быть, даже и не подозре-

ревает, что он болен, но который допускает ошибку в произношении, дающую возможность определить, что он умрет через три года. Быть может, людям, угадывающим по тому, как мужчина говорит “Нет, я предпочел его соседку, земляничную”, что тут скрывается так называемая неестественная любовь, не требуется научных познаний. Тут есть более непосредственная связь между внешним признаком и тайной. Не отдавая себе ясного отчета, человек чувствует, что ему отвечает милая улыбающаяся дама, которая выглядит аффектированной, поскольку притворяется мужчиной, а видеть мужчину манерничавшим в таком духе, — непривычно. [Здесь сильное расхождение между английским переводом и версией Любимова. — Прим. перев.] Если б мы хотели облагородить подобного рода мужчин, то могли бы, пожалуй, нарисовать себе такую картину: будто во времена незапамятные некое число ангело-подобных женщин по ошибке было отнесено к мужскому полу, пребывая же в изгнании, вотще простирая крылья к мужчинам, которым они внушают физическое отвращение, они постигают искусство устраивать салоны, создавать “интерьеры”» (С 999/СГ 333–4).

¹⁷ Килмартин переводит «ridicule» как «fatuous» [англ. дурацкий, у Любимова — смешной], что усиливает эффект «fat»=«smug» [англ. чопорный, у Любимова — фатоватый], но не воспроизводит особый акцент на прилагательных во французском тексте, на который я хочу указать [апелляцию к аудитории, см. далее. — Прим. перев.].

¹⁸ Еще прустовские утверждения и примеры мощи прилагательных-прикритиков: «безумный» (G 394), «беременная» (С 636/СГ 27–28).

¹⁹ Попытаюсь объяснить, что значит в той же тональности и на тех же нотах: например, на протяжении длинного абзаца нам рассказывают, что мужчины говорят друг с другом, но мы не слышим ничего из их речи; вместо этого мы слышим речь рассказчика о том, о чем примерно они бы говорили, так что все более невозможно представить, что же они могли бы говорить на самом деле. В результате мы убеждаемся, что мужчины практически молчат (добавляя сцене ощущение магии, красоты, потусторонней вневременности, но также и театральной пантомимы), в то время как все кругом залито голосом спрятавшегося рассказчика. И снова речь, посвященная якобы двум мужчинам, все-таки еще лучше описывает все длящийся шедевральный образец дескриптивной постановки, сверхъестественно разглагольствующую — саму тишину: «ощущение того, что все в жизни мимолетно... вот почему нас так волнует спектакль всякой любви» (СГ 21):

«Вот так через каждые две минуты, казалось, упорно возникал один и тот же вопрос... и напоминало это вопросительные музыкальные фразы Бетховена, без конца повторяющиеся через одинаковые промежутки и служившие для того, чтобы — после чересчур пышных приготовлений — ввести новый мотив, подготовить переход из одной тональности в другую, возврат к основной теме. Но только взглядам де Шарлю и Жюльена придавало особую красоту то, что они — по крайней мере в данное время, — казалось, не стремились к чему-либо привести. Такого рода красоту я впервые уловил именно в том, как смотрели друг на друга де Шарлю и Жюльен» (СГ 22).

Настойчивое прикосновение к одной и той же струне, «красоте», производит как раз эффект, описанный выше, зависание между стазисом и инициацией, организованное на базе действующих законов визуального потребления.

²⁰ Примеры: Cap 74, F 512.

²¹ Rivers, *Proust*, pp. 2–9, 247–54 (где он настаивает на прочтении Альбертины как полностью андрогинной).

²² Речь идет о сленге субкультуры «девушек Долины» (т. е. богатых предместий, например долины Сан-Фернандо под Лос-Анджелесом), проводящих свое время в рейдах по магазинам и общении в «стильной» и «прикольной» манере; одна из особенностей их речи — использование таких усилительных конструкций, как «ог what» или «whatever». — *Прим. перев.*

²³ Эту формулировку мне подсказал Стивен Шавиро. Разумеется, здесь под «женственностью» я подразумеваю не сцепление стереотипных гендерных ролей (слабость, пассивность, миловидность), но некую *женскость*, сконфигурированную как форма власти — и, в частности, власти того, что иное, чем сам (сконфигурированный по-мужскому) субъект. Эта атрибуция восходит к Прустовому специфично эпистемологическому и специфично мужскому определению женщины как *того, что невозможно познать* (через гетеросексистскую петлю определения женщины как, по определению, *объекта любви* и потому — объекта незнания). Насколько «женственность» или «женскость» у Пруста может рассматриваться как синтаксическое позиционирование (что примечательно, в падеже винительном как противоположном именительному) и насколько далеко оно заходит в захвате семантики — остается для дальнейшего обсуждения, возможно, опирающегося не только на Барта, но и на замечательный абзац в эссе Берзани, посвященный «онтологической необходимости гомосексуальности [у другого пола] в некоем универсальном гетеросексуальном отношении всех человеческих субъектов к их собственным желаниям» (416).

²⁴ Так Скотт Монкриефф переводит прилагательное «bedonnant», столь часто применяемое по отношению к Шарлю; например, *Cities*, 4.

²⁵ Эту мысль мне подсказали два историка сексуальности, Генри Эйблав и Кент Жерар.

²⁶ Richard Ellmann, *Oscar Wilde* (New York: Random House / Vintage, 1988), pp. 460–61.

²⁷ Г-жа Вердюрен в конце концов относит Шарлю к избочивающей и очерняющей категории «довоенного» (Т 787; В 76).

²⁸ Marcel Proust, *The Captive*, trans. C. K. Scott Moncrieff (New York: Random House / Vintage, 1970), 238–39.

²⁹ И в то же время этот сигнал крайнего неприятия Альбертиной той диффузной сексуальности, что они до сих пор практиковали, позволяет ретроспективно расслышать, насколько полно требование рассказчика и ее нахождение в его плену оформили ее артикуляцию этой сверкающей оральности. И он так и говорит — в то время, когда эта артикуляция происходит:

«Я был, несмотря ни на что, растроган; я думал: “Конечно, я не буду так говорить, как она, но все-таки без меня она бы так не говорила, она находится

под сильным моим влиянием, значит, она не может не любить меня, она — мое творение”» (Cap 125/П 133–134).

³⁰ T. S. Eliot, «The love song of J. Alfred Prufrock,» in *The Completed Poems and Plays 1909–1950* (New York: Harcourt, Brace and World, 1952), p. 6. Я использую выражение «мужская гомосексуальная паника» в смысле, объясненном в главе 4: для обозначения панического ответа на шантаж, осязаемый в гомо/гетеросексуальном определении всеми *кроме* мужчин, гомосексуально идентифицированных. [Все доступные нам русские переводы этого стихотворения далеки от буквальности, потому не цитируются. — *Прим. перев.*]

³¹ Параллель к популярному в 1980-х годах деловому пособию для бизнесменов, которое называлось «Управляющий за шестьдесят минут». И. К. С. намекает на то, что советы Пруста не менее практичны, но на их усвоение потребуется не час, а целая жизнь. — *Прим. перев.*

³² Бодрящая рыцарская бесшабашность самого слова «карьера» (*career*), что я могу проассоциировать только со словом «крен» (*carren*), дает пищу моему воображению, и я вижу себя одной из тех мосластых и шатких повозок, чья чересчур быстрая езда по плохим дорогам всегда заканчивается (в романах восемнадцатого века) шумным превращением в кучу обломков, и единственное, что с очаровательной расточительностью извлекается из останков катастрофы, — это начало романтического эпизода.

³³ Жюльен Сорель — герой романа Стендаля «Красное и черное»; другой, российский исследователь Пруста, Мераб Мамардашвили, часто вспоминает о другом подобном персонаже, балзаковском Растиньяке, смотрящем на Париж с холма. — *Прим. перев.*

³⁴ Конкретно в данном случае — [историю] о новых возможностях для женщины — т. е. для той, которая в свои 20 лет может выбирать, *стоит или не стоит* инвестировать жизненную энергию в карьеру. Еще более конкретно — для женщины из класса профессионалов [professional-class female, наиболее близким русским словом будет «интеллигентка», — если лишить его всех внепрофессиональных коннотаций, что невозможно. — *Прим. перев.*], для которой избираемым катексисом будет не торговля или работа как таковая (job), но *карьера*.

³⁵ Например, Энди Руни в своей авторской колонке, расходящейся по многим изданиям США, 9 августа 1986 года дал список тех «мерзостей», которые Кон отрицал, но в которых тем не менее был виновен: Кон «отрицал свое участие в охоте на ведьм, которой несправедливо были разрушены карьеры сотен (!) добрых американцев»; он «отрицал, что задолжал невыплаченными налогами миллионы долларов»; он «отрицал, что надул престарелого мультимиллионера на его смертном одре»; и наконец, разумеется, он «отрицал, что был гомосексуалом и был болен СПИДом. Смерть стала решающим контраргументом этому последнему отпирательству».

³⁶ Albin Krebs, «Roy Cohn, Aide to McCarthy and Fiery Lawyer, Dies at 59.» *New York Times*, August 3, 1986, pp. 1, 33.

³⁷ Это обсуждается в Steakley, *The Homosexual Emancipation Movement in Germany*, pp. 32–40; цит. стр. 33.

³⁸ О дискурсивных сложностях этого случая см. James Steakley, «Iconography of a Scandal: Political Cartoons and the Eulenburg Affair,» *Studies in Visual Communication* 9, no. 2 (Spring 1983): 20–49; о мотивах и последствиях участия Хиршфельда см. стр. 30, 32, 42–44; о деле «Бранд против Бюлова» стр. 30–32. Шарлю следит за делом внимательно и, восхищаясь волей Эйленбурга и других обвиненных дворян не впутывать в него императора (С 979; СГ 317), сам, по-видимому, проявлять таковую не заинтересован.

³⁹ Об этом см. Richard Plant, *The Pink Triangle: The Nazi War against Homosexuals* (New York: Henry Holt, 1986), pp. 45–49.

⁴⁰ За этим эпитетом, «Alice Blue Gown», длинная история. Сам цвет, «Алисо-голубой», обязан своим обозначением дочери Теодора Рузвельта, Алисе, всенародной любимице, носившей платья светлого серо-голубого цвета в тон своим глазам, каковой цвет немедленно вошел в моду. В 20-е годы прошлого века была чрезвычайно популярна песенка «Alice Blue Gown», и тогда же в гей-барах и кафе это был условный знак вокалиста клиентам, означающий приход полиции. Сами полицейские заработали эту кличку, вероятно, за серо-голубой цвет своей униформы. — *Прим. перев.*

⁴¹ Вот показательный абзац из МакДональда, который вел постоянные колонки в *Christopher Street* и *Native*, автора книг о кино и вдохновляющих подборок сексуальных анекдотов:

«Эти губы, эти бедра»

В новостях Пятого канала гомосексуалы, протестующие против приезда 11 августа судьи Бюргера, выглядели отлично. Единственным вопиющим гей-стереотипом в репортаже был, как это иногда случается, предполагаемый гетеросексуал да вдобавок антигомосексуал: сам судья Бюргер. Он не приближался к демонстрантам, но показали, как он семенит по коридору бабьей походочкой, вразвалку, выхляя задом. Он выглядел как надменная старая королева. Он был окружен четырьмя телохранителями. Хорошо бы было всегда пользоваться им как защитой от “мочителей голубых”, которые могут не знать, кто он такой» (*New York Native*, no. 175 {August 25, 1986}: 17).

А вот его же данное ранее объяснение тому, как он предпочитает распределять эпитеты:

«Слово “сука” столь радиоактивно и заразно, что возвращается бумерангом и инфицирует всех, кто им пользуется... В крайнем случае я бы предпочел называть человека существительным, связанным с противоположным полом; такие «охотники за голубыми», как Эдди Мерфи, Кардинал О’Коннор, Уильям Ф. Бакли мл., не отличающиеся особой маскулинностью, были бы, может, и рады услышать в свой адрес “вот чертов хер!”, но я сомневаюсь, чтобы кому-нибудь из них понравилось быть названным “сукой”. Поэтому-то я их так и называю».

Если бы действительно была такая вещь на свете, как настоящий охотник за голубыми, не думаю, что это меня беспокоило бы; но все такие охотники, о которых я знаю, похоже, имеют личные причины для своих атак — причины тайные, унижительные и подсудные, связанные с их реальным отношением к мужчинам — а в некоторых случаях и с соответствующим опытом.

Увы, я не всегда действую согласно своему высокому идеалу не давать женщинам женских обозначений. Я называл Бэбс Буш старой кошечкой, хотя это обозначение больше подошло бы Бобу Хоупу, и Нэнси Рейган я называл старой каргой, хотя это больше пристало бы Дику Кейветту» (*New York Native*, no. 163 {June 2, 1986}: 18).

Неудивительно, что МакДональд живо и радостно ухватился за утечку медицинских сведений о Рое Коне («Охотник за голубыми болен СПИДом», — гласил заголовок его статьи в *New York Native*, no. 173 {August 11, 1986}: 16), с тем же равнодушием к конфиденциальности относящихся к заболеванию СПИДом сведений, что и в «Таймс», но с поправкой на гей-аудиторию гей-позитивной газеты.

⁴² Разработкой этой связки мыслей я обязана содержательной дискуссии с Джекком Камероном.

⁴³ «Before Nightfall» [«Перед наступлением ночи»], переведено в качестве приложения к *Rivers, Proust*, pp. 267–71; «A Young Girl’s Confession» [«Признание девушки»], *Pleasures and Regrets* [«Утехи и дни»], trans. Louise Varèse (New York: Ecco press, 1984), pp. 31–47. Хотя последняя из этих историй посвящена взаимоотношениям с мужчиной юной женщины, она чаще и правдоподобнее прочитывается как рассказ Пруста о своем страхе, связанном с ранним периодом его гомосексуальных отношений, — страхе того, что мать их обнаружит.

⁴⁴ Дэвид Левитт (David Leavitt, 1961), современный американский писатель-гомосексуал, заметная фигура в американской художественной гей-литературе. — *Прим. перев.*

⁴⁵ Джеймс Инграм Меррилл (James Ingram Merrill, 1926–1995), один из наиболее признанных американских поэтов 20-го века, гомосексуал. Основатель фонда «Инграм Меррилл Фаундейшн», награждающего грантами художников и писателей. — *Прим. перев.*

⁴⁶ С помощью которого (а также Дэвида Джексона, постоянного друга Меррилла) и был написан сборник (а также два последующих); само это блюдо называется Оуија, то есть «да (фр.) — да (нем.)», что особенно знаменательно для Меррилла, знавшего оба языка с детства. — *Прим. перев.*

⁴⁷ James Merrill, «The Book of Ephraim,» *Divine Comedies* (New York: Atheneum, 1976), p. 128.

⁴⁸ См. сноску 1 к главе 2.— *Прим. перев.*

⁴⁹ E. M. Forster, *The Life to Come and Other Short Stories* (New York: Avon / Bard, 1976), p. 206.

⁵⁰ Ирвинг Бибер (Irving Bieber, 1911–1991), американский психоаналитик, в 1952 году начавший длившийся 9 лет проект, в котором участвовало 77 аналитиков, работавших со 106 гомосексуалами-мужчинами и контрольной группой из 100 мужчин-гетеросексуалов. В результате проекта почти 30% процентов гомосексуалов «излечилось». Бибер однозначно связывал мужской гомосексуализм с нарушением семейных отношений (мать-соблазнительница и враждебный отец) в детстве; его имя часто упоминается в связи с представлением о том, что гомосексуализм — это болезнь, подлежащая излечению. — *Прим. перев.*